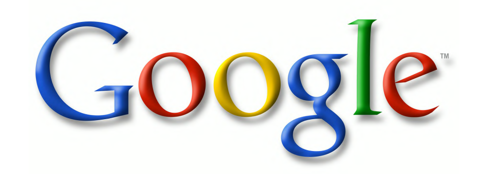
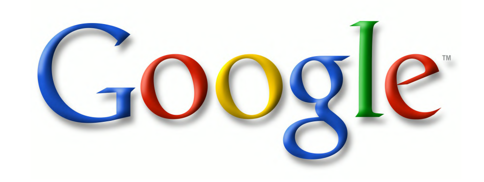
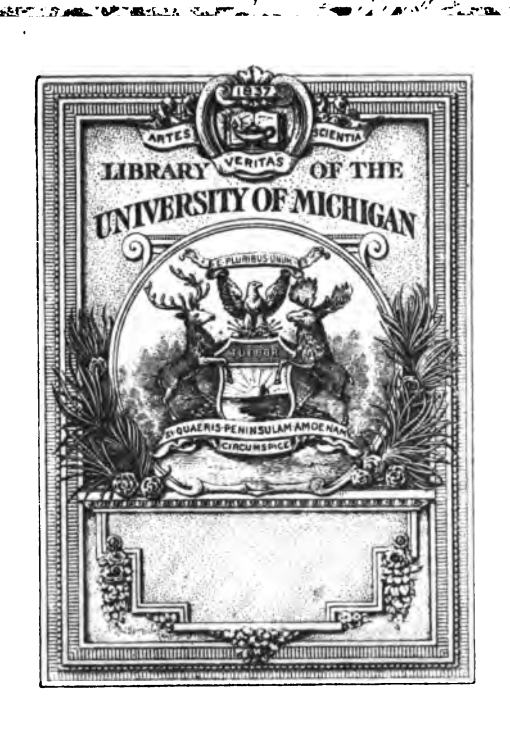
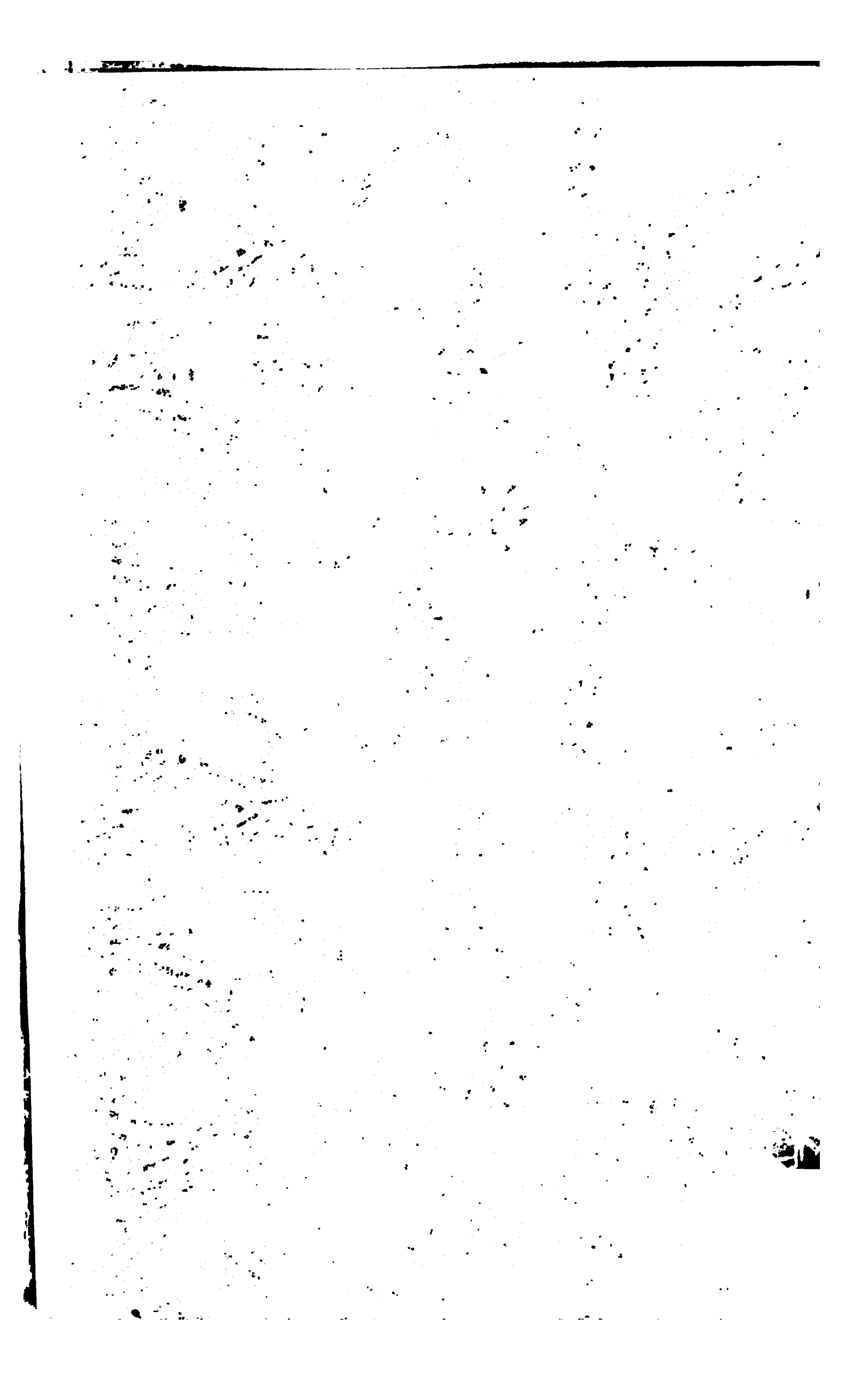






1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



Д. Маминъ-Сибирякъ.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ

ПЕПКО.

РОМАНЪ.

Изданіе второе.



МОСКВА.
Тип. Борисенко и Бреслинъ, Б. Дмитровка, д. Двор. Собранія.
1901.

I.

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провелъ скверную ночь и на лекціи не пошелъ. Во-первыхъ, опоздалъ, а во-вторыхъ, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части перваго моего романа. Кто пробовалъ писать романъ, тотъ пойметъ, насколько послѣдняя причина была уважительна. Прежде чѣмъ приняться за работу, я долго ходилъ по комнатѣ, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственнаго окна, выходившаго на улицу. Это окно было моимъ пробнымъ пунктомъ, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Можетъ-быть, это было инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ свѣту, котораго такъ мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшійся изъ него видъ не представлялъ собой ничего интереснаго. Просто пустырь, занятый безконечными грядами капусты. Такихъ пустырей въ глубинѣ Петербургской стороны и сейчасъ достаточно, а двадцать лѣтъ тому назадъ ихъ было еще больше. Мой пустырь до нѣкоторой степени оживлялся только канатчикомъ, кото-

рый, какъ паукъ паутину, цѣлые дни вытягивалъ свои веревки. Я уже привыкъ къ этому неизвѣстному мнѣ человѣку и, подходя къ окну, прежде всего отыскивалъ его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него—своя.

Обыкновенно моя улица цѣлый день оставалась пустынной—въ этомъ заключалось ея главное достоинство. Но въ описываемое утро я былъ удивленъ поднявшимся въ ней движеніемъ. Подъ моимъ окномъ раздавался торопливый топотъ невидимыхъ ногъ, громкій говоръ—вообще, происходила какая-то суматоха. Дѣло разъяснилось, когда въ дверяхъ моей комнаты показалась голова чухонской дѣвицы Лизы, отвѣчавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

— Она повѣсилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и дѣлалось изъ вѣжливости къ жильцу. Затѣмъ, она была такъ счастлива, что успѣла первой сообщить мнѣ взволновавшую всю улицу новость.

— Кто повѣсился?

— Вировка вѣсилась...

Репертуаръ русскихъ словъ у Лизы находился въ несоотвѣтствіи съ пожиравшей ее жаждой разсказать мнѣ новость, и свое объясненіе она закончила при помощи рукъ. Я понялъ, наконецъ, кто повѣсился, и успокоенная чухонская дѣвица скрылась. Впрочемъ, теперь я и безъ нея могъ увидѣть собственными глазами эту новость, т. е. грязныя босыя ноги, выставлявшіяся изъ-подъ ветхаго навѣса, въ которомъ канатчикъ складывалъ свою паклю и веревки. Толпа прибывала съ удивительной быстротой,—откуда только бралось столько народа въ пустынной улицѣ. Стремглавъ летѣли босоногіе «са-

пожные» мальчишки, портняжки, горничныя, какія-то подозрительныя бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жильцы». Сначала толпа хлынула было въ огородъ, но явившіеся на мѣсто дѣйствія два городовыхъ выгнали любопытныхъ обратно на улицу, и, благодаря этому обстоятельству, я изъ своего бельэтажа могъ отлично видѣть нижнюю часть неподвижно висѣвшаго въ сарайчикѣ мертваго тѣла канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихремъ пронеслась по улицѣ взадъ и впередъ, собирая на лету послѣднія извѣстія, чтобы сейчасъ же разнести ихъ съ проворствомъ обезъяны по всѣмъ тремъ этажамъ нашего деревяннаго домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы въ такихъ случахъ, а теперь въ особенности, потому что мнѣ казалось, что канатчикъ почти принадлежалъ мнѣ, какъ собратъ по профессіи.

Главнымъ неудобствомъ моей комнаты было то, что она отдѣлялась отъ хозяйской половины очень тонкой дощатой стѣнкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обѣ ея стороны. Благодаря этому обстоятельству, я въ теченіе какого-нибудь мѣсяца до тонкости узналъ всю жизнь моихъ хозяевъ, до малѣйшихъ подробностей. Во-первыхъ, они были люди одинокіе—мужъ и жена, можетъ-быть, даже и не мужъ, и не жена, а я хочу сказать, что у нихъ не было дѣтей; во-вторыхъ, они были люди очень небогатые, часто ссорились и, вообще, вели жизнь мелкаго служилаго петербургскаго класса. Онъ уходилъ въ какую-то канцелярію ровно въ одиннадцать часовъ и возвращался обыкновенно къ обѣду. Если онъ запаздывалъ или приходилъ навеселѣ, жена начинала на него ворчать, постепенно

усиливая тонъ. Видимо, у него былъ прекрасный характеръ, потому что въ такихъ случаяхъ онъ начиналъ оправдываться виноватымъ голосомъ, просилъ прощенія и, вообще, употреблялъ всѣ средства, чтобы потушить бѣду домашними средствами. Но все-таки онъ былъ большой хитрецъ. Я это зналъ по тѣмъ пустымъ словамъ, какими онъ старался заговорить жену. Онъ десятки разъ коснѣвшимъ языкомъ повторялъ самыя нелѣпыя объясненія своего поведенія, пока женѣ не надоѣдало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась въ томъ, чтобы выиграть время и не дать женѣ войти въ ражъ. Впрочемъ, эти опыты гипнотизма не всегда удавались, и дѣло доходило до очень громкихъ словъ, взаимныхъ укоровъ, подавленной ругани, швырянія разныхъ предметовъ домашняго обихода и какихъ-то подозрительныхъ паузъ, которыя разрѣшались сдержанными рыданіями жены. Въ такихъ исключительныхъ случаяхъ я считалъ своимъ долгомъ издавать предупредительный кашель, ронялъ на полъ книгу или начиналъ ходить по комнатѣ, стуча каблуками. Этотъ маневръ моментально производилъ желанное дѣйствіе, и сцена заканчивалась сердитымъ шопотомъ, тяжелымъ молчаніемъ и такими движеніями, точно кто-то кого-то отталкивалъ и не могъ оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблялъ своимъ вліяніемъ, потому что мое вмѣшательство, очевидно, шло въ пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда мужъ, а я не хотѣлъ быть его тайнымъ сообщникомъ. Наканунѣ разыгралась именно одна изъ такихъ семейныхъ бурныхъ сценъ, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, какъ сегодня вывернется мой легкомысленный хозяинъ, который какъ мнѣ было извѣстно до-

подлинно, именно по утрамъ мучился угрызеніями совѣсти. И представьте себѣ, этотъ хитрецъ воспользовался смертью несчастнаго канатчика, чтобы помириться съ женой! Онъ такъ громко его жалѣлъ, такъ вздыхалъ, высказалъ столько хорошихъ чувствъ и даже самъ сбѣгалъ посмотрѣть на покойника, чтобы удовлетворить разгорѣвшееся любопытство жены въ качествѣ очевидца. По тону ея голоса я уже слышалъ, что ей просто лѣнь сердиться и что ради повѣсившагося канатчика она готова совсѣмъ простить своего тирана. Мое предположеніе скоро подтвердилось: послышался съ его стороны ласковый шопотъ и уговариванье, а потомъ поцѣлуй. Однимъ словомъ, канатчикъ точно нарочно повѣсился именно въ это утро, чтобы поссорившіеся наканунѣ супруги помирились...

— И хорошо сдѣлалъ этотъ канатчикъ, чортъ возьми!— слышался голосъ мужа.

— А если у него маленькія дѣти остались?—слезливо отвѣчала жена.

— Почему непремѣнно дѣти, и почему непремѣнно маленькія?

Меня всегда удивлялъ тотъ быстрый переходъ, который совершался вслѣдъ за такимъ примиреніемъ. Мужъ сразу дѣлался другимъ человѣкомъ—увѣренный тонъ, отвѣты полусловами, даже походка другая. Такъ было и теперь. Прощенный грѣшникъ, видимо, чувствовалъ себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнулъ жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмѣялась, но въ этотъ трогательный моментъ появилось третье лицо, которое вошло въ комнату, не раздѣваясь въ передней. По первымъ фразамъ можно было заключить, что это третье лицо было своимъ человѣ-

Д. Маминъ-Сибирякъ.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ

ПЕПКО.

РОМАНЪ.

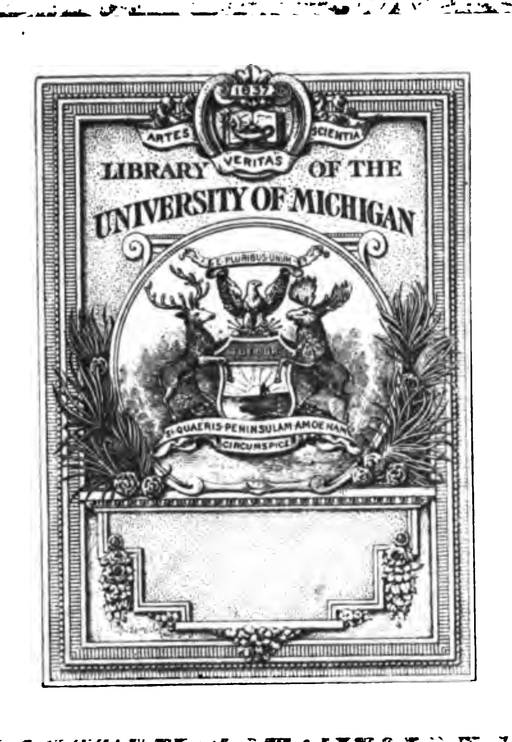
Изданіе второе.

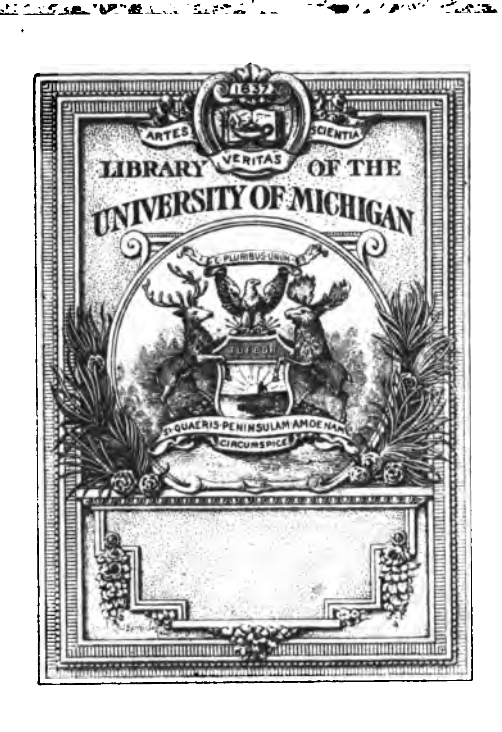


Тип. Борисенко и

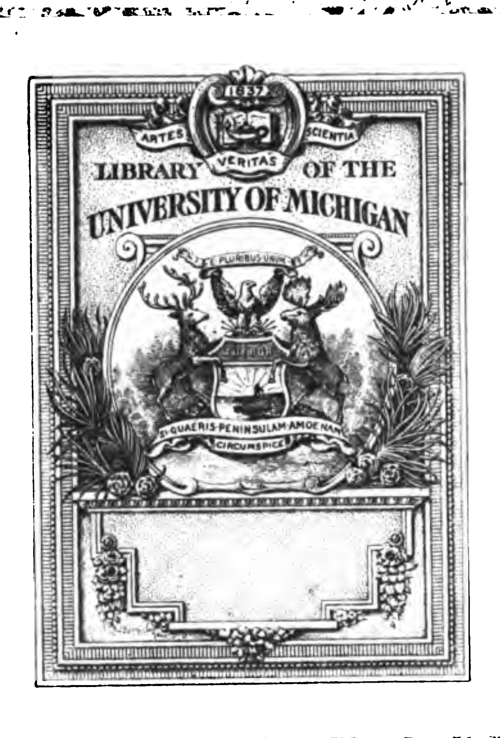
I.

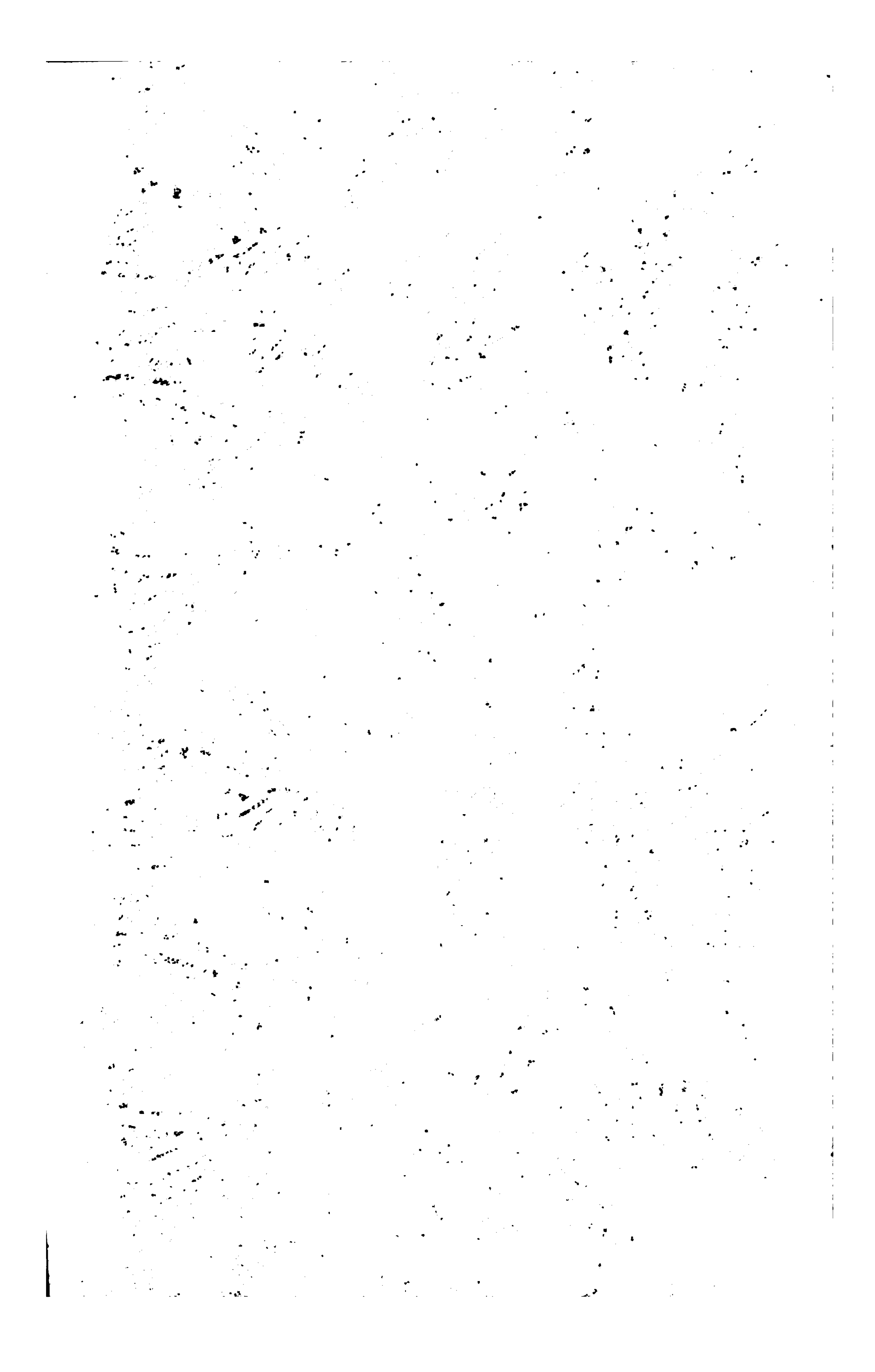
Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провелъ скверную ночь и на лекціи не пошелъ. Во-первыхъ, опоздалъ, а во-вторыхъ, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части перваго моего романа. Кто пробовалъ писать романъ, тотъ пойметъ, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чѣмъ приняться за работу, я долго ходилъ по комнатѣ, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственнаго окна, выходившаго на улицу. Это окно было моимъ пробнымъ пунктомъ, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Можетъ-быть, это было инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ свѣту, котораго такъ мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшійся изъ него видъ не представлялъ собой ничего интереснаго. Просто пустырь, занятый безконечными грядами капусты. Такихъ пустырей въ глубинѣ Петербургской стороны и сейчасъ достаточно, а двадцать лѣтъ тому назадъ ихъ было еще больше. Мой пустырь до нѣкоторой степени оживлялся только канатчикомъ, кото-


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE




1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE



Д. Маминъ-Сибирякъ.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ

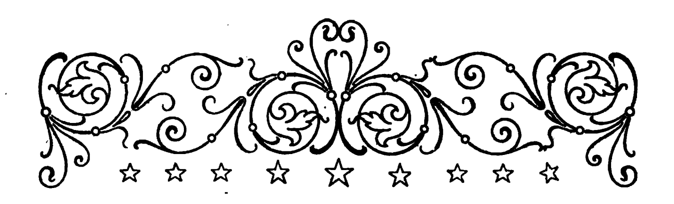
ПЕПКО.

РОМАНЪ.

Изданіе второе.



МОСКВА.
Тип. Борисенко и Бреслинъ, Б. Дмитровка, д. Двор. Собранія.
1901.



I.

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провелъ скверную ночь и на лекціи не пошелъ. Во-первыхъ, опоздалъ, а во-вторыхъ, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части перваго моего романа. Кто пробовалъ писать романъ, тотъ пойметъ, насколько послѣдняя причина была уважительна. Прежде чѣмъ приняться за работу, я долго ходилъ по комнатѣ, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственнаго окна, выходившаго на улицу. Это окно было моимъ пробнымъ пунктомъ, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Можетъ-быть, это было инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ свѣту, котораго такъ мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшійся изъ него видъ не представлялъ собой ничего интереснаго. Просто пустырь, занятый безконечными грядами капусты. Такихъ пустырей въ глубинѣ Петербургской стороны и сейчасъ достаточно, а двадцать лѣтъ тому назадъ ихъ было еще больше. Мой пустырь до нѣкоторой степени оживлялся только канатчикомъ, кото-

рый, какъ паукъ паутину, цѣлые дни вытягивалъ свои веревки. Я уже привыкъ къ этому неизвѣстному мнѣ человѣку и, подходя къ окну, прежде всего отыскивалъ его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него—своя.

Обыкновенно моя улица цѣлый день оставалась пустынной—въ этомъ заключалось ея главное достоинство. Но въ описываемое утро я былъ удивленъ поднявшимся въ ней движеніемъ. Подъ моимъ окномъ раздавался торопливый топотъ невидимыхъ ногъ, громкій говоръ—вообще, происходила какая-то суматоха. Дѣло разъяснилось, когда въ дверяхъ моей комнаты показалась голова чухонской дѣвицы Лизы, отвѣчавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

— Она повѣсилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и дѣлалось изъ вѣжливости къ жильцу. Затѣмъ, она была такъ счастлива, что успѣла первой сообщить мнѣ взволновавшую всю улицу новость.

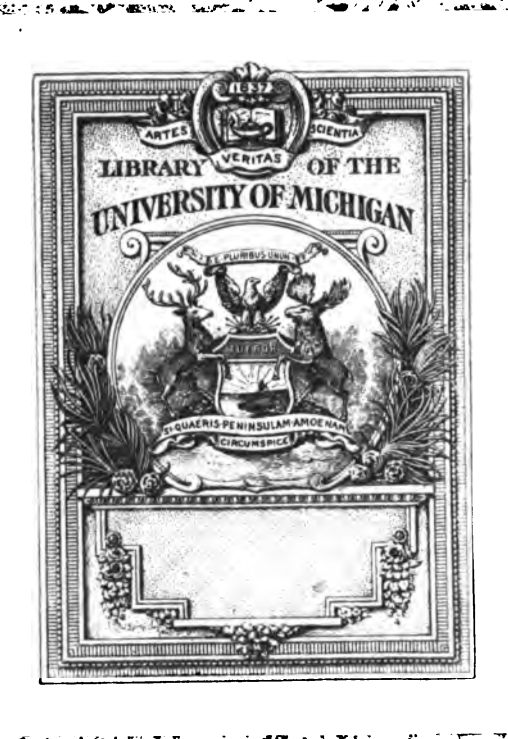
— Кто повѣсился?

— Вировка вѣсилась...

Репертуаръ русскихъ словъ у Лизы находился въ несоотвѣтствіи съ пожиравшей ее жаждой разсказать мнѣ новость, и свое объясненіе она закончила при помощи рукъ. Я понялъ, наконецъ, кто повѣсился, и успокоенная чухонская дѣвица скрылась. Впрочемъ, теперь я и безъ нея могъ увидѣть собственными глазами эту новость, т. е. грязныя босыя ноги, выставлявшіяся изъ-подъ ветхаго навѣса, въ которомъ канатчикъ складывалъ свою паклю и веревки. Толпа прибывала съ удивительной быстротой,—откуда только бралось столько народа въ пустынной улицѣ. Стремглавъ летѣли босоногіе «са-

пожные» мальчишки, портняжки, горничныя, какія-то подозрительныя бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жильцы». Сначала толпа хлынула было въ огородъ, но явившіеся на мѣсто дѣйствія два городовыхъ выгнали любопытныхъ обратно на улицу, и, благодаря этому обстоятельству, я изъ своего бельэтажа могъ отлично видѣть нижнюю часть неподвижно висѣвшаго въ сарайчикѣ мертваго тѣла канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихремъ пронеслась по улицѣ взадъ и впередъ, собирая на лету послѣднія извѣстія, чтобы сейчасъ же разнести ихъ съ проворствомъ обезъяны по всѣмъ тремъ этажамъ нашего деревяннаго домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы въ такихъ случахъ, а теперь въ особенности, потому что мнѣ казалось, что канатчикъ почти принадлежалъ мнѣ, какъ собратъ по профессіи.

Главнымъ неудобствомъ моей комнаты было то, что она отдѣлялась отъ хозяйской половины очень тонкой дощатой стѣнкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обѣ ея стороны. Благодаря этому обстоятельству, я въ теченіе какого-нибудь мѣсяца до тонкости узналъ всю жизнь моихъ хозяевъ, до малѣйшихъ подробностей. Во-первыхъ, они были люди одинокіе—мужъ и жена, можетъ-быть, даже и не мужъ, и не жена, а я хочу сказать, что у нихъ не было дѣтей; во-вторыхъ, они были люди очень небогатые, часто ссорились и, вообще, вели жизнь мелкаго служилаго петербургскаго класса. Онъ уходилъ въ какую-то канцелярію ровно въ одиннадцать часовъ и возвращался обыкновенно къ обѣду. Если онъ запаздывалъ или приходилъ навеселѣ, жена начинала на него ворчать, постепенно



1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Д. Маминъ-Сибирякъ.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ

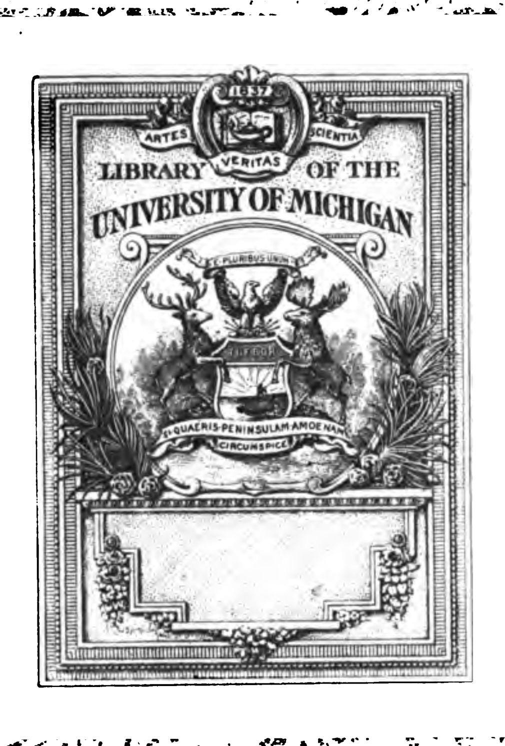
ПЕПКО.

РОМАНЪ.

Изданіе второе.



МОСКВА.
Тип. Борисенко и Бреслинъ, Б. Дмитровка, д. Двор. Собранія.
1901.


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Д. Маминъ-Сибирякъ.

ЧЕРТЫ ИЗЪ ЖИЗНИ

ПЕПКО.

РОМАНЪ.

Изданіе второе.

МОСКВА.
Тип. Борисенко и Бреслинъ, Б. Дмитровка, д. Двор. Собранія.
1901.


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

комъ и притомъ, не смотря на сравнительно ранній часъ, было уже сильно навеселѣ и плохо владѣло заплетавшимся языкомъ. По тону хозяина можно было заключить, что онъ не былъ радъ неожиданному появленію гостя, который въ другое время могъ бы явиться спасителемъ семейнаго счастья, а сейчасъ просто не далъ довести до конца счастливый моментъ. Самъ гость упорно не желалъ замѣчать ничего и добродушнѣйшимъ образомъ что-то сюсюкалъ, причмокивалъ языкомъ и топтался на одномъ мѣстѣ, какъ привязанная къ столбу лошадь.

Всѣ эти событія совершенно вышибли меня изъ рабочей колеи, и я, вмѣсто того, чтобы дописывать свою седьмую главу, глядѣлъ въ окно и прислушивался ко всему, что дѣлалось на хозяйской половинѣ, совсѣмъ не желая этого дѣлать, какъ это иногда случается.

Дальше я услышалъ, какъ хозяинъ что-то принялся разсказывать гостю, а тотъ одобрительно мычалъ.

— Отлично... Одобряю!—повторялъ пьяный голосъ.— А я сейчасъ къ нему пойду познакомлюсь... да.

— Пожалуйста, оставьте, Порфиръ Порфирычъ,— проговорила хозяйка.—Какое намъ дѣло до другихъ и какое мы имѣемъ право мѣшать человѣку?.. Наконецъ, я васъ прошу, Порфиръ Порфирычъ... Человѣкъ пишетъ, а вдругъ вы ввалитесь,—кому же пріятно въ самомъ дѣлѣ?

— Пишетъ? Та-акъ...—тянулъ гость и съ упрямствомъ пьянаго человѣка добавилъ:—А я все-таки пойду и познакомлюсь, чортъ возьми... Что же тутъ особеннаго? Вѣдь я не съѣмъ.

Я понялъ, что разговоръ шелъ обо мнѣ и что хозяинъ своимъ молчаніемъ поощряетъ намѣреніе гостя, —

проклятый плутъ за мой счетъ хотѣлъ выдворить непрошеннаго гостя, докончить прерванную сцену супружескаго примиренія въ окончательной формѣ. Это меня, наконецъ, взбѣсило... Что имъ нужно отъ меня? Вотъ тебѣ и седьмая глава третьей части! Я приготовился такъ принять незванаго гостя, что онъ въ слѣдующій разъ позабудетъ мой адресъ. А тутъ чухонка Лиза заглянула въ мою дверь безъ всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, какъ крыса, укравшая кусокъ сала. Какъ хотите, это было уже слишкомъ: за мой счетъ готовилось какое-то очень глупое представленіе.

— Она дома...—послышался предупреждавшій шопотъ Лизы, когда въ коридорчикѣ, отдѣлявшемъ мою комнату отъ кухни, послышались какіе-то шмыгающіе шаги, точно чьи-то ноги прилипали къ полу.

II.

— Можно войти-съ? послышался голосъ за моей дверью, сопровождаемый пьянымъ причмокиваньемъ и сдержаннымъ хихиканьемъ Лизы.

— Войдите...

Въ дверяхъ показался лысый низенькій старичокъ, одѣтый въ старое, потертое осеннее пальто; на ногахъ были резиновыя калоши, одѣтыя прямо на голую ногу. Обросшіе бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополненіемъ остального костюма, который, говоря откровенно, произвелъ на меня совсѣмъ невыгодное впечатлѣніе, и я даже подумалъ одно мгновеніе, что это какой-нибудь благородный отецъ, собирающій пятачки. Но старичокъ улыбнулся самымъ ве-

селымъ образомъ и даже лукаво подмигнулъ мнѣ, когда, какъ-то по-театральному, прочиталъ мнѣ свою рекомендацію:

— Порфиръ Порфирычъ Селезневъ, литераторъ изъ мелкотравчатыхъ... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите насъ черненькими... хе-хе!.. А впрочемъ, не въ этомъ дѣло-съ... ибо я пришелъ познакомиться съ молодымъ человѣкомъ. Вашу руку...

Бываютъ такіе особенные люди, которые однимъ видомъ уничтожаютъ даже приготовленное заранѣе настроеніе. Такъ было и здѣсь. Развѣ можно было сердиться на этого пьянаго старика? Пока я это думалъ, мелкотравчатый литераторъ успѣлъ пожать мою руку, сдѣлалъ преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. Въ слѣдующій моментъ онъ указалъ глазами на свою отставленную съ сжатымъ кулакомъ лѣвую руку (я подумалъ, что она у него болитъ) и проговорилъ:

— Я—рабъ, я—царь, я—червь, я—Богъ...

При послѣднемъ словѣ кулакъ разжался, и въ немъ оказалось нѣсколько смятыхъ кредитокъ.

— Это мой несгораемый шкапъ, молодой человѣкъ... Хе-хе!.. Сколько вамъ нужно? Берите десять, пятнадцать...

— Позвольте, мнѣ кажется страннымъ... Однимъ словомъ, что вамъ угодно отъ меня?..

Порфиръ Порфирычъ посмотрѣлъ на меня непонимающимъ взглядомъ, быстро опустился на мой стулъ у письменнаго стола и торопливо забормоталъ:

— Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: такъ и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сдѣлать то же, что устроилъ вашъ канатчикъ. А вѣдь какой хитрецъ... а? Я про канатчика...

Вы только подумайте: у человѣка работишка совсѣмъ плохая, притомъ онъ долженъ кругомъ—хозяину за квартиру, въ мелочную лавку, въ кабакъ... да. Наконецъ, бѣднягу постоянно сосалъ червячокъ: эхъ, опохмѣлиться бы!.. Ну, и представьте себѣ, долженъ онъ цѣлые дни тянуть эти проклятыя веревки, цѣлые дни думать, какъ ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочникъ повѣрилъ въ долгъ... И вотъ присмотрѣлъ онъ этакій гвоздь въ своемъ сарайчикѣ, приспособилъ веревочку и—готовъ. Это, скажу я вамъ, былъ истинный философъ, который перехитрилъ все и всѣхъ. Понимаете: трахъ!—и ни долга въ лавочку, ни платы за квартиру, ни похмѣлья, ни этихъ проклятыхъ веревокъ, которыя ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурнымъ способомъ «раскланяться съ здѣшнимъ міромъ», какъ говорятъ китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человѣка: вилъ-вилъ свои безконечныя веревки, ну, наконецъ, и соблазнился. На его мѣстѣ всякій порядочный человѣкъ давно бы сдѣлалъ то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я разсматривалъ физіономію Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесятъ лѣтъ. Жиденькіе, мягкіе, сѣдые, слегка вившіеся волосики оставались только на вискахъ и на затылкѣ; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты сѣдиной. Когда-то это лицо было очень красиво—и большой умный лобъ, и живые темные большіе глаза, и правильный носъ, и весь профиль. Теперь это лицо отъ великаго пьянства и другихъ причинъ было обложено густой сѣтью глубокихъ морщинъ, вѣки опухли, глаза смотрѣли воспаленнымъ взглядомъ, губы блестѣли тѣмъ синеватымъ отливомъ, какой бываетъ только у за-

писныхъ пьяницъ. Наконецъ, эти гримасы, причмокиванья и подмигиванья тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное рѣшеніе выпроводить гостя безъ церемоній смѣнилось раздумьемъ: зачѣмъ гнать пьянаго старика—поболтаетъ и самъ уйдетъ.

— Такъ вы, молодой человѣкъ, неужели никогда и ничего не слыхали про Порфира Порфирова Селезнева?—спрашивалъ старикъ, доставая берестяную тавлинку и дѣлая самую аппетитную понюшку.

— Ничего не слыхалъ.

— Значитъ и моего «Яблока раздора» не читали?

— Нѣтъ...

Старикъ вытащилъ изъ бокового кармана смятый листъ уличной газетки и ткнулъ пальцемъ на фельетонъ, гдѣ дѣйствительно былъ напечатанъ разсказъ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезневымъ.

— Да-съ, а теперь я напишу другой разсказъ...—заговорилъ старикъ, пряча свой номеръ въ карманъ. — Опишу молодого человѣка, который, сидя вотъ въ такой конуркѣ, думалъ о далекой родинѣ, о своихъ надеждахъ и прочее, и прочее. Молодому человѣку частенько нечѣмъ платить за квартиру, и онъ по-ночамъ пишетъ, пишетъ, пишетъ. Прекрасное средство, которымъ за разъ достигаются двѣ цѣли: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма въ стихахъ? трагедія? романъ?

Я сдѣлалъ невольное движеніе, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфиръ Порфирычъ поймалъ мою руку и неожиданно поцѣловалъ ее.

— Люблю, — шепталъ пьяный старикъ, не выпуская моей руки.—Ахъ, люблю... Именно хорошъ этотъ молодой стыдъ... эта невиность и дѣвственность просыпаю-

щейся мысли. Голубчикъ, пьяница Селезневъ всё понимаетъ... да! А только не забудьте, что канатчикъ-то всетаки повѣсился. И какая хитрая штука: тутъ бытіе, вившее свою веревку нѣсколько лѣтъ, и тутъ же небытіе, повѣшенное на этой самой веревкѣ. И притомъ какая деликатность: пусть теперь другіе вьютъ эту проклятую веревку... хе-хе!..

Порфиръ Порфирычъ тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустилъ изъ кулака деньги. Я подалъ ему стаканъ воды, и пьяница поблагодарилъ меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собравъ деньги съ пола, старикъ разложилъ ихъ на моемъ столѣ, пересчиталъ и съ глубокимъ вздохомъ проговорилъ:

— Двадцать-семь рубликовъ, двадцать-семь соколиковъ... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапалъ. Да... Хо-хо! Намъ тоже пальца въ ротъ не клади... Такъ вы не желаете взять ничего изъ сихъ динаріевъ?

— Нѣтъ.

— Все равно, пропью.

— Зачѣмъ пропивать?.. Вотъ у васъ пальто холодное, а скоро наступитъ зима. Мало ли что можно пріобрѣсти на эти деньги.

— Вотъ вы говорите одно, а думаете другое: пропьетъ старый чортъ. Такъ? Ну, да не въ этомъ дѣло-съ... Все равно, пропью, а потомъ зубы на полку. Къ вамъ же приду двугривенный на похмѣлье просить... хе-е!.. Дадите?

— Если у самого будутъ...

— О, юноша, юноша... Ну, да не въ этомъ дѣло. Д-да... А слыхали вы, юноша, нѣчто о волчьемъ хлѣбѣ?

— Нѣтъ.

— Та-акъ-съ... А это вотъ какая исторія-съ, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящаго лѣсного волка, который по лѣсу бѣгаетъ и этакъ зубами съ голоду щелкаетъ. Жалованья ему не полагается, опредѣленныхъ занятій ие имѣетъ, ну, однимъ словомъ, настоящій волкъ, которому на роду написано голодать. И вдобавокъ волкъ-то еще состарѣлся: шерсть у него вылиняла, глазъ притупился, на ухо тугъ, носъ заржавѣлъ, зубы съѣлъ,— ну, ему вдвойнѣ приходится голодать супротивъ молодыхъ волковъ. Не идти же ему къ дантисту: вставьте, молъ, новые зубы и при этомъ позвольте-съ очки... Такъ? И вдругъ этому облѣзлому, беззубому волчищу этакій кусъ попадаетъ?.. Хамъ! Неужели онъ по частямъ будетъ добычу размѣривать? Сразу голубчикъ слопаетъ, а потомъ опять голодать. Такъ и въ нашемъ дѣлѣ... Теперь поняли?.. Вѣдь это надо на своей кожѣ испытать. А кстати, вотъ что, пойдемте въ одно мѣсто злачное?

— Куда?

— Да попросту въ трактирное заведеніе... Чайку напьемся, машину послушаемъ, ибо душа требуетъ простора, трубныхъ звуковъ и сладкаго забвенія. Вы газеты почитаете, а я просіяю божественной теплотой. Знаете, какъ сказано у Гафиза: «пустыня льву, лѣсъ птицѣ и кабакъ Гафизу»... хе-хе!.. Тамъ ужъ всѣ наши въ сборѣ. Вѣдь вы Гришука знаете? Нѣтъ? Ну какъ вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да вѣдь это такіе праведники, безъ которыхъ нѣсть граду стоянія... Одѣвайтесь и идемте. Все равно, сегодня ничего писать не будете... Канатчикъ-то вѣдь повѣсился—вы и будете думать о немъ. Вонъ и ножки болтаются.

На лекціи итти было поздно, работа расклеилась, настроеніе было испорчено, и я согласился. Да и старикъ все равно не уйдетъ. Лучше пройтись, а тамъ можно будетъ всегда бросить компанію. Пока я одѣвался, Порфиръ Порфирычъ присѣлъ на мою кровать, заложилъ ногу на ногу и старчески дребезжавшимъ теноркомъ пропѣлъ:

Надо мной пѣвала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастливъ, Калистратушка»...

Мы вышли. Порфиръ Порфирычъ въ порывѣ восторга ущипнулъ подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбленіе подарилъ двугривенный.

— На, чухоночка, гдѣ тебѣ взять...—бормоталъ старикъ, шлепая своими калошами.

Лиза проводила насъ улыбавшимися глазами и проговорила:

— У ней много денекъ... бокгатая!..

III.

На улицѣ Порфиръ Порфирычъ показался мнѣ такимъ маленькимъ и жалкимъ. Приподнявъ воротникъ своего пальто, онъ весь съежился, и я слышалъ, какъ у него начали стучать зубы.

— Мы автомедона возьмемъ... —рѣшилъ онъ, изнемогая окончательно.— Эй, извозецъ, на Симеоніевскую, четвертакъ!

Мы поѣхали.

— Вы не думайте, юноша, что я везу васъ куда-нибудь,--объяснялъ Порфиръ Порфирычъ, еще сильнѣе

съеживаясь. — Самое избранное общество, и почти всѣ съ высшимъ образованіемъ. Однимъ словомъ, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишетъ... день пишетъ и ночь пишетъ». Э, думаю, нашего поля ягода... И потомъ жаль мнѣ васъ стало. Навѣрно, думаю, этакой романище закатилъ въ пяти частяхъ, а самому жрать нечего. Помереть вѣдь можно надъ романищемъ-то. Вы въ газетномъ борзописаніи не искушались? Э, батенька, сіе не обогатитъ, а кусочекъ хлѣба съ масломъ дастъ... Да вотъ я васъ привезу прямо въ академію, а тамъ ужъ научатъ. Тамъ собаку съѣли... Научатъ, какъ волчій хлѣбъ добывать.

На Троицкомъ мосту насъ пронялъ довольно свѣжій вѣтеръ, и Порфиръ Порфирычъ малодушно спрятался за меня.

— У меня личныя непріятности съ этимъ проклятымъ мостомъ,—объяснялъ онъ.—Сколько флюсовъ я износилъ изъ-за него... И всегда здѣсь проклятый вѣтеръ, точно въ форточкѣ. Изнемогаю въ непосильной борьбѣ съ враждебными стихіями...

Мы едва дотащились до Симеоніевской улицы. Порфиръ Порфирычъ вздохнулъ свободнѣе, когда мы очутились за гостепріимной дверью. Трактиръ изъ приличныхъ, хотя и средней руки. Пившіе чай купцы подозрительно посмотрѣли на пальто моего спутника и его калоши. Но онъ удѣлилъ имъ нуль вниманія, потому что чувствовалъ себя здѣсь, какъ дома.

— Агапычу сто лѣтъ...— здоровался онъ съ буфетчикомъ, перекладывая деньги изъ правой руки въ лѣвую.

— Пожалуйте...—приглашалъ лакей, забѣгая передъ Порфиромъ Порфировичемъ пѣтушкомъ. — Тамъ ужъ компанія-съ...

Мы прошли общую залу и вошли въ отдѣльную комнату, гдѣ у окна за столикомъ размѣстилась компанія неизвѣстныхъ людей, встрѣтившая появленіе Порфира Порфирыча гуломъ одобрѣнія, какъ театральный народъ встрѣчаетъ короля.

— Отцы, позвольте презентовать прежде всего вамъ юношу,—бормоталъ Порфиръ Порфирычъ, указывая на меня.—Навозну кучу разрывая, пѣтухъ нашелъ жемчужное зерно... Не въ этомъ дѣло-съ. Василій Ивановичъ Поповъ... Кажется, такъ?

— Да...—подтвердилъ я, здороваясь съ новыми знакомыми.

Первое впечатлѣніе было не въ пользу академіи. Ближе всѣхъ сидѣлъ шестифутовый хохолъ Гришукъ, студентъ лѣсного института, рядомъ съ нимъ сѣдой старикъ съ военной выправкой — полковникъ Фрей, напротивъ него Молодинъ, юркій блондинъ съ окладистой бородкой и пенснэ. Четвертымъ оказался худенькій господинъ съ веснусчатымъ лицомъ и длиннымъ носомъ.

— Тоже Поповъ, а по просту—Пепко,—самъ отрекомендовался онъ, протягивая длинную, сырую руку.

Мнѣ почему-то показалось, что изъ всей академіи только этотъ Пепко отнесся ко мнѣ съ какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовалъ себя неловко. Бываютъ такія встрѣчи, когда по первому впечатлѣнію почему-то не взлюбишь человѣка. Какъ оказалось впослѣдствіи, я не ошибся: Пепко возненавидѣлъ меня съ перваго раза, потому что по природѣ былъ ревнивъ и относился къ каждому новому человѣку крайне подозрительно. Мнѣ лично онъ тоже не понравился, начиная съ его длиннаго носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лѣтъ съ этого момента, и изъ дѣйствую-

щихъ лицъ моего разсказа мало уже не осталось въ живыхъ, но я всѣхъ ихъ вижу, какъ сейчасъ. Вотъ молчаливый Фрей съ его англійской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топоромъ, сѣрые глаза на выкатѣ, опущенные книзу сѣрые усы, сѣрая тужурка; онъ не любилъ говорить и умѣлъ слушать. Кто онъ такой, какъ попалъ въ газетное колесо, почему полковникъ и почему Фрей—я такъ и не узналъ, хотя имѣлъ впослѣдствіи съ нимъ постоянно дѣло. Хохолъ Гришукъ былъ настоящій хохолъ—добродушный, лѣнивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодинъ скоро выбылъ изъ компаніи, пристроившись секретаремъ къ какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старыя коробки изъ-подъ сардинъ и всякую непутную дрянь. Его видали потомъ уже въ шинели съ настоящими бобрами, но онъ отвертывался, не узнавая членовъ академіи. Да, я смотрю черезъ призму двадцати лѣтъ на сидѣвшую за столикомъ компанію и могу только удивляться человѣческой непроницательности. Въ трактиръ на Симеоніевской меня привело простое любопытство, и я не подозрѣвалъ, что въ моей жизни это былъ самый рѣшительный шагъ. Бываютъ такіе роковые дни, когда жизнь поворачиваетъ въ новое русло, а человѣкъ этого не чувствуетъ, поддаваясь теченію. Такъ было и тутъ. Передо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присѣлъ къ общему столику съ скромною мыслью посидѣть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людяхъ. Если бы человѣкъ могъ провидѣть будущее хоть немного... Я сейчасъ смотрю на Пепко и вижу его совсѣмъ другимъ, чѣмъ онъ мнѣ показался съ перваго раза. Могъ я себѣ представить, что именно съ этимъ человѣкомъ бу-

деть связана цѣлая полоса моей жизни, больше — самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно съ Пепкой и иначе не могу думать. Это былъ мой двойникъ, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, гдѣ вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять продѣлываю тотъ тернистый путь, по которому мы шли рука объ руку, переживаю тѣ же молодыя надежды, испытываю тѣ же муки молодой совѣсти, неудачи и злоключенія... И мнѣ хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голосъ Пепки, странный смѣхъ — онъ смѣялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконецъ, видѣть себя опять молодымъ, съ единственнымъ капиталомъ своихъ двадцати лѣтъ. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступленіе, а Пепко ненавидѣлъ лиризмъ, и я не буду оскорблять его памяти. Въ обиходѣ нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко былъ самымъ сентиментальнымъ человѣкомъ, какого я только встрѣчалъ Но я забѣгаю впередъ.

Порфиръ Порфирычъ торжественно подошелъ къ столу и раскрылъ свой несгораемый шкафъ. Присутствующіе отнеслись къ скомканнымъ ассигнаціямъ довольно равнодушно, какъ люди, привыкшіе обращаться съ денежными знаками довольно фамильярно.

— Это твое «Яблоко раздора», Порфирычъ?—сдѣлалъ догадку одинъ Гришукъ.

— Не въ этомъ дѣло-съ,—бормоталъ Селезневъ, продолжая топтаться на мѣстѣ.—Господа, разгладимъ чело и предадимся веселію. Ахъ, да, какой случай сегодня...

Пока «человѣкъ» «соображалъ» водку и закуску, Се-

лезневъ разсказалъ о повѣсившемся канатчикѣ приблизительно въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ говорилъ у меня въ комнатѣ.

— Ну, что же изъ этого? — сурово спросилъ Фрей, посасывая свою трубочку.—У каждаго есть своя веревочка, а все дѣло только къ хронологіи...

Всѣхъ внимательнѣе отнесся къ судьбѣ канатчика Пепко. Когда Селезневъ кончилъ, онъ замѣтилъ:

— Что же, разсказецъ этотъ рублевиковъ на двѣнадцать можно будетъ вылѣпить... Главное названіе хорошее: «Петля».

— Нѣтъ, братъ, шалишь! — вступился Селезневъ. — Это моя тема... У меня уже все обдумано и названіе другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужія темы... Это уже не въ первый разъ.

— А не болтай...—сказалъ Пепко.— Никто за языкъ не тянетъ. Наконецъ, можно и на одну тему писать. Все дѣло въ обработкѣ сюжета, въ деталяхъ.

Когда была подана водка и закуска, Селезневъ обратился ко мнѣ:

— Ну, вотъ мы и дома... Выпьемъ, юноша.

— Я не пью.

Мой отвѣтъ, видимо, произвелъ неблагопріятное впечатлѣніе, а Пепко сдѣлалъ какую-то гримасу, отвернулся и фыркнулъ. Я чувствовалъ, что начинаю краснѣть. Зачѣмъ же тогда было итти въ трактиръ, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взялъ рюмку и выпилъ, при чемъ поперхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно глупо, и Пепко имѣлъ право расхохотаться, что онъ и сдѣлалъ. Мнѣ даже показалось, что онъ обругалъ меня телятиной или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Я почувствовалъ себя среди этихъ академиковъ

мальчишкой и готовъ былъ выпить керосинъ изъ лампы, чтобы показаться большимъ.

— Ничего, ничего, юноша...—успокоивалъ меня Селезневъ.—Всему свое время... А впрочемъ, не въ этомъ дѣло-съ!..

Поданная водка быстро оживила всю компанію, а Селезневъ захмѣлѣлъ быстрѣе всѣхъ. Въ общей залѣ давно уже была «поставлена машина», и подъ звуки этой трактирной музыки старикъ блаженно улыбался, причмокивалъ, въ тактъ раскачивалъ ногой и повторялъ:

— Да-съ, у каждаго есть своя веревочка... Вѣрно-съ!.. А канатчикъ-то все-таки повѣсился... Конечно... finita la comedia... Хе-хе!.. Теперь, братъ, шабашъ... Не съ кого взять. И жена, которая пилила бѣднягу съ утра до ночи, и хозяинъ изъ мелочной лавочки, и хозяинъ дома—всѣ съ носомъ остались. Былъ канатчикъ, и нѣтъ канатчика, а Порфиръ Порфирычъ напишетъ разсказъ «Веревочка» и получитъ за оный мзду...

Чтобы поправить свою неловкость съ первой рюмкой, я выпилъ залпомъ вторую и сразу почувствовалъ себя какъ-то необыкновенно легко и почувствовалъ, что люблю всю академію и что меня всѣ любятъ. Главное, всѣ такіе хорошіе... А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидѣлъ съ своей трубочкой на одномъ мѣстѣ, точно бронзовый памятникъ.

— Онъ пишетъ романъ...—рекомендовалъ меня Селезневъ.—Да, чортъ возьми! Этакой священный огонь въ нѣкоторомъ родѣ... Хе-хе!..

IV.

Дальнѣйшія событія слѣдовали въ такомъ порядкѣ, вѣрнѣе сказать—въ безпорядкѣ. На другой день я проснулся въ совершенно незнакомой мнѣ комнатѣ и долго не могъ сообразить, гдѣ я и какъ я могъ попасть сюда. Отвѣтомъ послужила только нестерпимая головная боль... Но и эта боль ничто по сравненію съ тѣмъ стыдомъ, который меня охватилъ. Боже мой, гдѣ я вчера былъ? какъ провелъ вечеръ?.. что дѣлалъ, что говорилъ? Въ головѣ проносились обрывки чего-то ужаснаго, безобразнаго, нелѣпаго... Мнѣ начинало казаться, что весь вчерашній день являлся однимъ сплошнымъ безобразіемъ. Нечего сказать, хорошъ будущій романистъ... Для начала даже совсѣмъ недурно.

Не мало меня смущало и то обстоятельство, что въ комнатѣ я былъ одинъ. Я лежалъ на какой-то твердой, какъ камень, клеенчатой кушеткѣ, а рядомъ у стѣны стояла кровать. По смятой подушкѣ и сбитому одѣялу я могъ сдѣлать предположеніе, что на ней кто-то спалъ и вышелъ, а, слѣдовательно, долженъ вернуться. Кстати у меня мелькнулъ обрывокъ вчерашнихъ воспоминаній. Мы вышли изъ трактира вмѣстѣ съ Пепкой, вышли подъ руку, какъ и слѣдуетъ друзьямъ. Потомъ Пепко остановился на углу улицы, взялъ меня за пуговицу и сообщилъ мнѣ трагическимъ шопотомъ:

— Знаете, Поповъ, я—великая свинья...

Онъ, очевидно, разсчитывалъ на эффектъ этого открытія, а такъ какъ таковаго не получилось, то неожиданно прибавилъ:

— И всѣ подлецы...

Послѣдняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счелъ неудобнымъ оспаривать ее, кажется, даже подтвердилъ ее, мысленно выдѣливъ только самого себя. Да, да, именно, такъ все было, и я отлично помнилъ, какъ Пепко держалъ меня за пуговицу.

На основаніи этого маленькаго эпизода я имѣлъ нѣкоторое право догадываться, что нахожусь въ квартирѣ Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылаго вида, вѣроятно, благодаря абсолютной пустотѣ, за исключеніемъ моей кушетки, кровати, ломбернаго стола, одного стула и этажерки съ книгами. Единственное окно упиралось куда-то въ стѣну. По разложеннымъ на столѣ литографированнымъ запискамъ я имѣлъ основаніе заключить, что хозяинъ — студентъ, и это значительно меня успокоило. Впрочемъ, скоро послышался довольно крупный разговоръ, который окончательно вернулъ меня къ дѣйствительности.

— Когда же вы мнѣ деньги-то за квартиру отдадите, Поповъ?—слышался сердитый женскій голосъ.

— Любезнѣйшая Ѳедосья Ниловна, какъ только получу, такъ и отдамъ,—увѣрялъ мужской голосъ, старавшійся быть любезнымъ.—Какъ только получу...

— Я ужъ это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денегъ за квартиру нѣтъ. Вчера вы въ какомъ видѣ пришли, да еще какого-то пьяницу съ собой привели...

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имѣла привычки церемониться съ своими жильцами.

— Любезнѣйшая Ѳедосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасныя женскія слова, потому что находитесь не въ курсѣ дѣла. Да, мы выпили, это вѣрно, но это еще не значитъ, что у насъ были свои деньги...

— Что же, васъ даромъ поили?..

— Не даромъ, но предположите, что деньги могли быть у третьяго лица, совершенно непричастнаго къ настоящему вопросу о квартирной платѣ. Конечно, нравственная сторона всего дѣла этимъ не устраняется: мы были нѣсколько навеселѣ, это вѣрно. Но міръ такъ прекрасенъ, Ѳедосья Ниловна, а человѣкъ такъ слабъ...

— Пожалуйста, не заговаривайте зубовъ... О, я васъ отлично знаю!..

Гдѣ-то послышался сдержанный смѣхъ, затѣмъ дверь отворилась, и я увидѣлъ длинный коридоръ, въ дальнемъ концѣ котораго стояла среднихъ лѣтъ некрасивая женщина, а въ ближнемъ отъ меня — Пепко. Въ коридоръ выходило нѣсколько дверей изъ другихъ комнатъ, и въ каждой торчало по любопытной головѣ,—очевидно, глупый смѣхъ принадлежалъ именно этимъ головамъ. Мнѣ лично не понравилась эта сцена, какъ и все поведеніе Пепки, разыгрывавшаго шута. Послѣднее сказывалось, главнымъ образомъ, въ тонѣ его голоса.

Онъ вошелъ въ комнату съ сердитымъ лицомъ, приперъ за собой дверь, оглядѣлся и поставилъ на столъ полбутылки водки, двѣ бутылки пива и досталъ изъ кармана что-то очень подозрительное, завернутое въ довольно грязную бумажку.

— А на закуску-то и не хватило... — резюмировалъ Пепко тайный ходъ своихъ мыслей.

Онъ еще разъ оглядѣлъ всю комнату, сердито сплюнулъ и швырнулъ свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мнѣ показалось, что сегодняшній Пепко былъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ, не походившимъ на вчерашняго.

— Главизна зѣло трещитъ? — обратился онъ ко мнѣ, глядя куда-то въ уголъ. — Нечего сказать, хороши мы были вчера... Однимъ словомъ, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу...

Онъ еще разъ оглядѣлъ всю комнату, еще разъ посмотрѣлъ на дверь и еще разъ плюнулъ.

— Проклятая баба... — ворчалъ Пепко, подходя къ письменному столу и вынимая изъ письменнаго прибора вторую, чистую чернильницу.—Вотъ изъ чего придется пить водку. Да... А что касается пива... Позвольте...

Пепко съ рѣшительнымъ видомъ отправился въ коридоръ, и я имѣлъ удовольствіе слышать, какъ онъ потребовалъ стаканъ отварной воды для полосканія горла. Очевидно, все дѣло было въ томъ, чтобы добыть этотъ стаканъ, не возбуждая подозрѣній.

Когда я наотрѣзъ отказался опохмѣляться, Пепко нѣсколько времени смотрѣлъ на меня съ недовѣрчивымъ изумленіемъ.

— Вообще ничего не пью...—виновато оправдывался я.—Вчерашній случай вышелъ какъ-то самъ собой, и я даже хорошенько не помню всѣхъ обстоятельствъ.

— И отлично!—согласился Пепко.—Кстати, вы, кажется, и не курите?

— Нѣтъ, не курю...

Пепко быстро окинулъ меня испытующимъ взоромъ а потомъ подошелъ и молча пожалъ руку.

— Я могу только позавидовать,—бормоталъ онъ, наливая водку въ чернильницу.—Да, я глубоко испорченный человѣкъ... За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноватъ старый чортъ Порфирычъ...

Двѣ выпитыхъ чернильницы сразу измѣнили настроеніе духа Пепки. Онъ какъ-то размякъ и осовѣлъ. Яви-

лась неудачная попытка спѣть куплетъ изъ «Прекрасной Елены»:

...но вѣдь бываютъ столкновенья,
Когда мы нехотя грѣшимъ.

Мнѣ нравилась въ Пепкѣ та рѣшительность, которой недоставало мнѣ. Онъ умѣлъ дѣлать съ рѣшительнымъ видомъ самыя обыкновенныя вещи. И какъ-то особенно вкусно дѣлалъ... Напримѣръ, какъ онъ развернулъ бумажку съ подозрительнымъ содержаніемъ, которое оказалось обыкновеннымъ рубцомъ.

— А знаете, Ѳедосья прекрасная женщина,—говорилъ онъ, прожевывая свою жесткую закуску.—Я ее очень люблю... Эхъ, какъ бы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу... Тридцать-пять съ половиной самыхъ лучшихъ египетскихъ фараоновъ за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, въ которыхъ мы сейчасъ имѣемъ честь разговаривать, называются «Ѳедосьиными покровами». Здѣсь прошелъ цѣлый рядъ поколѣній, вѣрнѣе сказать—здѣсь голодали поколѣнія... Но это вздоръ, потому что и голодъ понятіе относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я замѣтилъ, что онъ заподозрилъ во мнѣ барина и сбавилъ мнѣ цѣну. Размягченный водкой, онъ подсѣлъ ко мнѣ на кушетку и заговорилъ о литературѣ. Это былъ опять новый человѣкъ. Пепко, видимо, упорно слѣдилъ за литературой и говорилъ тономъ знатока. Излишняя самоувѣренность скрашивалась здѣсь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, какъ умѣютъ говорить въ двадцать лѣтъ. Я, несмотря на свой сдержанный характеръ, какъ-то невзначай разговорился и повѣрилъ

Пепкѣ свои самые задушевные планы. Дѣло въ томъ, что мной была задумана цѣлая серія романовъ, на манеръ Ругоновъ Золя. Пепко выслушалъ внимательно и покачалъ головой.

— Вздоръ!—убѣжденно проговорилъ онъ, встряхивая головой.—Предпріятіе почтенное по замыслу, но, какъ простое подражаніе, оно не имѣетъ смысла. Вѣдь Россія, голубчикъ, не Франція... Тамъ въ самомъ воздухѣ виситъ культура. А намъ приходится, т. е. каждому начинающему автору, проходить всю теорію словесности собственнымъ горбомъ, начиная съ поученія какого-нибудь Луки Жидяты. Да .. До сихъ поръ мы, русскіе, изобрѣтаемъ еще часы, швейныя машины и прочее, что давно извѣстно. То же самое и въ литературѣ. Прибавьте къ этому наше полное незнаніе жизни и, главное, отсутствіе этой жизни. Ну, гдѣ она? Всю жизнь мы просиживаемъ по своимъ норамъ и по норамъ помираемъ. Гдѣ-то тамъ, далеко, люди живутъ, а мы только облизываемся или носимъ платье съ чужого плеча. Непріятно, а правда... Если вы хотите узнать нѣсколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже былъ разговоръ объ этомъ.

— Припоминаю... Быть репортеромъ?

— Да... Досыта эта профессія не накормитъ, ну, и съ голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю съ Фреемъ, и онъ васъ устроитъ. Это «великій ловецъ передъ Господомъ»... А, кстати, переѣзжайте ко мнѣ въ комнату. Отлично бы устроились... Дѣло въ томъ, что я единолично плачу за свою персону 8 р., а вдвоемъ мы могли бы платить, ну, десять рублей, значитъ на каждаго пришлось бы по пяти. Подумайте... Я серьезно говорю. Я вѣдь тоже болтаюсь съ газетчиками, хотя и живу не этимъ... Такъ, между прочимъ...

Это предложеніе застало меня совершенно врасплохъ, такъ что я рѣшительно не могъ отвѣтить ни да ни нѣтъ. Пепко, видимо, огорчился и точно въ свое оправданіе прибавилъ:

— А какіе у меня сосѣди: рядомъ черкесъ, потомъ студентъ-медикъ, потомъ горнякъ... Все отличные ребята.

Въ этомъ предложеніи Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.

V.

Предложеніе Пепки переѣхать къ нему въ комнату вызвало во мнѣ какое-то смутное чувство нерѣшимости. Съ одной стороны, моя комната «очертѣла» мнѣ до невозможности, какъ пунктъ какого-то предварительнаго заключенія, и поэтому, естественно, меня тянуло раздѣлить свое одиночество съ другимъ, подобнымъ мнѣ существомъ,—это инстиктивное тяготѣніе къ дружбѣ и общенію лучшая характеристика юности; а съ другой—я такъ же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право—сидѣть одному въ четырехъ стѣнахъ. Я уже сказалъ, что мой характеръ отличался нѣкоторою скрытностью, и я почти не имѣлъ друзей, а затѣмъ у меня была какая-то непонятная косность, почти боязнь перемѣнить мѣсто. Являлся почти мистическій страхъ; а если тамъ будетъ хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мнѣ не мало вреда. Въ данномъ случаѣ рѣшающимъ обстоятельствомъ являлся все тотъ же повѣсившійся канатчикъ. Стоило мнѣ подойти къ окну и взглянуть на огородъ съ капустой, какъ сейчасъ же являлась мысль о канатчикѣ, и я не могъ отъ нея от-

вязаться. Мнѣ начинало казаться, что тѣнь несчастнаго канатчика бродитъ по огороду и все-таки вьетъ свои веревки, хотя это и происходило главнымъ образомъ въ сумерки. Однимъ словомъ, что-то было нарушено въ общемъ настроеніи, и меня неотступно преслѣдовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не рѣшился бы признаться самому близкому человѣку.

А тамъ, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило изъ головы высказанное Пепкой предложеніе заняться репортерствомъ, хотя я относительно этой спеціальности имѣлъ самыя смутныя представленія. Взвѣшивая за и противъ всѣ эти обстоятельства, я наконецъ рѣшился оставить свою одинокую комнату. Хозяева отнеслись къ моему рѣшенію совершенно индифферентно, какъ настоящіе петербургскіе хозяева, которымъ все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренно пожалѣла меня одна чухонка Лиза, которая крала мой сахаръ и чай самымъ добросовѣстнымъ образомъ.

— Порфиръ Порфирычъ ѣкалъ? — догадывалась она, помогая мнѣ вытащить мой тощій чемоданъ.

— Нѣтъ, къ товарищу...

— Пьяница?—еще разъ сдѣлала она попытку угадать.

— Вы говорите глупости, Лиза...

Я чувствовалъ, что начинаю краснѣть, и еще больше обозлился на проницательную чухонскую дѣвицу. Нечего сказать, недурное напутствіе...

Дальше опять слѣдовала непріятность, именно, что Ѳедосья встрѣтила меня почти враждебно. И самъ деревянный флигель, нижній этажъ котораго былъ занятъ «Ѳедосьиными покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно смотрѣлъ на новаго жильца своими слезив-

шимися окнами... Вообще хорошаго было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемоданъ очутился въ комнатѣ Пепки. Вѣдь этимъ простымъ актомъ, какъ переѣздъ на новую квартиру, я навсегда терялъ свою голодную свободу... Кто знаетъ, что было бы, если бы я остался на старой квартирѣ, и дѣлается обидно, изъ какихъ ничтожныхъ мелочей складывается то неизвѣстное, которое называется жизнью.

Пепко былъ дома и, какъ мнѣ показалось, тоже былъ не особенно радъ новому сожителю. Вѣрнѣе сказать, онъ отнесся ко мнѣ равнодушно, потому что былъ занятъ чтеніемъ письма. Я уже сказалъ, что онъ умѣлъ дѣлать все съ какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитавъ письмо, самымъ подробнымъ образомъ осмотрѣлъ конвертъ, почтовый штемпель, марку, сургучную печать,—конвертъ былъ домашней работы, и поэтому запечатанъ, что дало мнѣ полное основаніе предположить о его далекомъ провинціальномъ происхожденіи.

— Это прямо къ тебѣ относится,—проговорилъ Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо,—онъ перешелъ на «ты» безъ всякихъ предисловій.—Вотъ, слушай... Это пишетъ моя добрая мать... «А больше всего Агаѳоша, остерегайся дурныхъ товарищей»... Понимаешь, не въ бровь, а прямо тебѣ въ глазъ. Дальше: «...въ столицахъ очень много блеска, но еще больше дурныхъ примѣровъ и дурныхъ людей, которые совращаютъ неопытныхъ юношей съ истиннаго пути». Неопытный юноша—это я... Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждаго, даже столичнаго подлеца, должна быть тоже одна добрая мать, которая думаетъ то же самое, что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вѣроятно, получаешь точно такія

же письма съ мудрыми предостереженіями относительно дурныхъ товарищей?

Мнѣ ничего не оставалось, какъ признаться, хотя мнѣ писала не «одна добрая мать», а «одинъ добрый отецъ». У меня лежало только-что вчера полученное письмо, въ такомъ же конвертѣ и съ такой же печатью, хотя оно пришло изъ противоположнаго конца Россіи. И Пепко и я были далекими провинціалами.

Нашъ первый совмѣстный день сложился подъ впечатлѣніемъ этого письма «одной доброй матери» Пепки. Пообѣдали мы дома разнымъ «сухоястіемъ», въ родѣ рубца, дрянной колбасы и соленыхъ огурцовъ. Послѣ такого меню необходимо было добыть самоваръ. Такъ какъ я имѣлъ неосторожность отдать Ѳедосьѣ деньги за цѣлый мѣсяцъ впередъ, то Пепко принялъ съ ней совершенно другой тонъ.

— Ѳедосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить намъ самоваръ?—говорилъ онъ совсѣмъ другимъ тономъ, точно самъ заплатилъ за квартиру.—И, пожалуйста, поскорѣе.

Ѳедосья какъ-то смѣшно фыркнула себѣ подъ носъ и молча перенесла нанесенное ей оскорбленіе. Видимо, они были люди свои и отлично понимали другъ друга съ полуслова. Я, съ своей стороны, отмѣтилъ въ поведеніи Пепки нѣкоторую дозу нахальства, что мнѣ очень не понравилось. Впрочемъ, Ѳедосья не осталась въ долгу: она такъ долго ставила свой самоваръ, что лопнуло бы самое благочестивое терпѣніе. Пепко принимался ругаться раза три.

— Если бы у меня были часы,—повторялъ онъ съ собою убѣдительностью,—я показалъ бы ей, что нельзя ставить самоваръ цѣлый часъ. Вотъ прокля-

тая баба навязалась... Сколько она испортила крови моего сердца и сока моихъ нервовъ! Не даромъ сказано, что Господь создалъ женщину въ минуту гнѣва... А Өедосья—позоръ натуры и ужасъ всей природы.

Я замѣтилъ, что Пепко, подъ вліяніемъ аффекта, могъ достигнуть высокихъ красотъ истиннаго краснорѣчія, и впечатлѣніе нарушалось только нѣсколько однообразной жестикуляціей,—въ распоряженіи Пепки былъ всего одинъ жестъ: онъ какъ-то смѣшно совалъ лѣвую руку впередъ, какъ это дѣлаютъ прасолы, когда щупаютъ возъ съ сѣномъ. Впрочемъ, священное негодованіе Пепки сейчасъ же упало, какъ только появился на столѣ кипѣвшій самоваръ. Можетъ-быть, его добродушное старческое ворчаніе напоминало Пепкѣ его «одну добрую мать», а, можетъ-быть, просто истощился запасъ энергіи.

Помню, что спускался уже темный осенній вечеръ, и Пепко зажегъ грошовую лампочку подъ бумажнымъ зеленымъ абажуромъ. Нашъ флигелекъ стоялъ на самомъ берегу Невы, недалеко отъ Самсоніевскаго моста, и теперь, когда нѣсколько затихъ дневной шумъ, съ особенной отчетливостью раздавались наводившіе тоску свистки финляндскихъ пароходиковъ, сновавшихъ по Невѣ въ темныя ночи какъ свѣтляки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатлѣніе, какъ дикіе вскрики всполошившейся ночной птицы.

— Какъ это странно,—говорилъ Пепко, выпивъ залпомъ три стакана,—какъ странно, что вотъ мы съ тобой сидимъ и пьемъ чай...

— Что же тутъ страннаго?

— Даже очень странно, какъ вообще все въ жизни. Нужно тебѣ сказать, что я постоянно удивляюсь тому,

что дѣлается кругомъ меня. Сдѣлаемъ простое предположеніе: не будь «мѣднаго всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встрѣтились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себѣ ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынокъ природы» колотилъ бы свой дырявый челнъ... А теперь, вотъ, мы имѣемъ удовольствіе наслаждаться свистками этихъ подлыхъ финляндскихъ пароходишекъ. Лично мнѣ затѣя Петра основать Петербургъ обошлась уже ровно въ сорокъ рублей съ копѣйками... да. Считай: пять концовъ по Николаевской желѣзной дорогѣ... Да, такъ меня удивляетъ вотъ то, что мы сидимъ и пьемъ чай; я—уроженецъ далекаго сѣверо-востока, а ты—южанинъ. Есть даже нѣчто трогательное въ этомъ сближеніи, и, выражаясь высокимъ слогомъ, можно опредѣлить настоящій моментъ слѣдующей формулой: въ нѣдрахъ «Ѳедосьиныхъ покрововъ», у кипящаго самовара, далекій сѣверовостокъ подалъ руку далекому югу...

Очевидно, у Пепки была слабость къ цитатамъ, чужимъ выраженіямъ и высокому слогу, въ чемъ я впослѣдствіи могъ убѣдиться уже въ окончательной формѣ. Выражаясь проще, кипѣвшій самоваръ просто напоминалъ намъ наши далекія гнѣзда, гдѣ, вѣроятно, тоже теперь пили чай и, быть-можетъ, тоже вспоминали отлетѣвшихъ птенцовъ.

— А знаешь, что привело насъ сюда?—неожиданно обратился ко мнѣ Пепко, дѣлая свой единственный жестъ.—Ты скажешь: любовь къ знанію... жажда образованія... Хе-хе!.. Все это слова, хорошія слова, и всетаки слова... Сущность дѣла гораздо проще: образованіе образованіемъ, а хорошо и свой кусочекъ пирога получить. Вотъ молодой провинціалъ и ѣдетъ въ Питеръ...

Это настоящая осада, и каждый несетъ сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинція сваливаетъ сюда свое сырье, а получаетъ обратно уже готовый фабрикатъ... Мѣна, во всякомъ случаѣ, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищамъ... Вотъ поучительная картина: сколько тутъ уложено нашего брата провинціала, который тащится въ Петербургъ съ добрыми намѣреніями вмѣсто багажа. Тутъ и голодъ, и холодъ, и пьянство съ голода и холода, и безконечный рядъ неудачъ, и неудовлетворенная жажда жить по-человѣчески,—все это доводитъ до преждевременнаго конца. А сколько по этимъ кладбищамъ гніетъ не успѣвшихъ даже проявить себя талантовъ, сильныхъ людей, можетъ-быть, геніевъ—смотришь на эти могилы и чувствуешь, что самъ идешь по дорогѣ вотъ этихъ неудачниковъ-мертвецовъ, продѣлываешь тѣ же ошибки, повинуясь простому физическому закону центростремительной силы. И на смѣну этихъ мертвецовъ являются новые батальоны, т. е. мы, а на нашу смѣну готовятся въ невѣдомой провинціальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непроизводительно и съ какимъ замѣчательнымъ самопожертвованіемъ провинція отдаетъ столицамъ свою лучшую плоть и кровь. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда съ скромной цѣлью протискаться впередъ и занять мѣсто за столомъ господъ. Однимъ словомъ, я хочу жить, а не прозябать...

— Какъ мнѣ кажется, ты немножко противорѣчишь себѣ... Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

— Э, голубчикъ, оставимъ это! Человѣкъ, который въ теченіе двухъ лѣтъ получилъ петербургскій катаръ желудка и долженъ питаться рубцами, такой человѣкъ имѣетъ право на одно право—быть откровеннымъ съ самимъ собой. Вѣдь я средній человѣкъ, та безразличность, изъ которой ткется ткань жизни, и поэтому разсуждаю, какъ нитка въ матеріи...

Въ этой репликѣ выступала еще новая черта въ характерѣ Пепки, именно—его склонность къ саморазъѣдающему анализу, самобичеванію и, вообще, къ всенародному покаянію. Ему, вообще, хотѣлось почему-то показаться хуже, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, что я понялъ только впослѣдствіи.

Свой первый вечеръ мы скоротали какъ-то незамѣтно, поддавшись чисто семейнымъ воспоминаніямъ. Въ «Ѳедосьиныхъ покровахъ» раздалась сердечная нота, и пахнуло тепломъ далекой милой провинціи. Каждый думалъ и говорилъ о своемъ.

— Моя генеалогія довольно несложная, — объяснялъ Пепко съ иронической ноткой въ голосѣ. — Мои предки принадлежали къ завоевателямъ и обрусителямъ, говоря проще—просто душили несчастныхъ инородцевъ... Вообще, наша сибирская генеалогія отличается большой скромностью и кончается дѣдушкой, котораго гнали и истребляли, или дѣдушкой, который самъ гналъ и истреблялъ. Въ томъ и другомъ случаѣ молчаніе является лучшей добродѣтелью. И у тебя не лучше... Э, да что тутъ говорить!.. Мы-то видимъ только ближайшихъ предковъ, одного добраго папашу и одну добрую мамашу, которые уже сняли съ себя кору ветхаго человѣка.

Изъ этихъ разсужденій Пепки для меня ясно выступало только одно, именно — самъ Пепко съ его ориги-

нальной, немного угловатой психологіей, какъ тѣ камни, которые высились на его далекой родинѣ. Каждая мысль Пепки точно обрастала однимъ изъ тѣхъ чужеядныхъ, бородатыхъ лишайниковъ, какими въ тайгѣ глушились родныя ели. А изъ-подъ этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всѣми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа въ постели, Пепко еще разъ перечиталъ письмо матери и еще разъ комментировалъ его по-своему. Въ выраженіи его лица и въ самомъ тонѣ голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здороваго хорошаго чувства.

— Ахъ, какая забавная эта одна добрая мать, — повторялъ Пепко, натягивая на себя одѣяло. — Она видитъ во мнѣ все еще ребенка... Хорошъ ребеночекъ!.. Кстати, вотъ что, любезный другъ Василій Иванычъ: съ завтрашняго дня я устраиваю революцію — пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще безпорядочность. У меня уже составлена такая таблица, нѣкоторый проспектъ жизни: встаемъ въ семь часовъ утра, до восьми умыванье, чай и краткая бесѣда, затѣмъ до двухъ часовъ лекціи, вообще занятія, затѣмъ обѣдъ...

На послѣднемъ словѣ Пепко запнулся: въ проспектѣ его жизни появлялась неожиданная прорѣха.

— А, чортъ, утро вечера мудренѣе! — ворчалъ онъ, закутываясь въ одѣяло съ головой.

Черезъ пять минутъ Пепко уже храпѣлъ какъ зарѣзанный. А я долго не могъ уснуть, что случалось со мной на каждомъ новомъ мѣстѣ. Въ голову лѣзли какіе-то обрывки мыслей, полузабытыя воспоминанія, анализы сегодняшнихъ разговоровъ... А невскіе пароходы какъ на зло свистѣли точно подъ самымъ ухомъ. Гдѣ-то хлопали невидимыя двери, слышались шаги, говоръ, хо-

хотъ — жизнь въ «Ѳедосьиныхъ покровахъ» затихала очень поздно. Я пожалѣлъ свое покинутое одиночество еще разъ и чувствовалъ въ то же время, что возврата нѣтъ, а оставалось одно—итти впередъ.

Мнѣ вообще сдѣлалось грустно, а въ такія минуты молодая мысль сама собой уносится къ далекому родному гнѣзду. Да, я видѣлъ далекія степи, тихія воды, ясныя зори, и душа начинала ныть подъ наплывомъ какого-то неяснаго прочиворѣчія. Стоило ли ѣхать сюда, на туманный чухонскій сѣверъ, и не лучше ли было бы оставаться тамъ, откуда прилетаютъ эти письма въ самодѣльныхъ конвертахъ съ сургучными печатями, сохраняя еще въ себѣ какъ бы теплоту любящей руки?.. Меня начиналъ пугать преждевременный скептицизмъ Пепки... Засыпая, я составлялъ проспектъ собственной жизни и давалъ себѣ слово не отступать отъ него ни на одну іоту. Странно, что эта добросовѣстная работа нарушалась постоянно письмомъ «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала изъ проспекта самые лучшіе параграфы...

VI.

Составленный мной, совмѣстно съ Пепкой, «проспектъ жизни» подвергался большимъ испытаніямъ и требовалъ постоянныхъ «коррективовъ»,—Пепко любилъ мудреныя слова, относя ихъ къ высокому стилю. Зависѣло это отчасти отъ несовершенства человѣческой природы вообще, а съ другой стороны — отъ общаго строя жизни «Ѳедосьиныхъ покрововъ».

Вставали мы утромъ въ назначенный часъ и продѣ-

лывали все необходимое въ установленный срокъ, а затѣмъ уходили на лекціи. Это было лучшее наше время. Затѣмъ наступалъ обѣдъ... Мой бюджетъ составляли тѣ шестнадцать рублей, которые я получалъ отъ отца аккуратно перваго числа. Изъ нихъ пять рублей шли на квартиру, шесть рублей въ кухмистерскую, а остатокъ на все остальное. Я не скажу, что при такомъ скромномъ бюджетѣ я особенно бѣдствовалъ. Напротивъ, рядомъ съ Пепкой я чувствовалъ себя безсовѣстнымъ богачомъ: бѣдняга ниоткуда и ничего не получалъ, кромѣ писемъ «одной доброй матери». Онъ голодалъ по цѣлымъ недѣлямъ, молча и гордо, какъ настоящій спартанецъ Я нѣсколько разъ предлагалъ ему свою посильную помощь, но получалъ въ отвѣтъ холодное презрѣніе.

— Вздоръ... пустяки...—бормоталъ Пепко и только въ крайнемъ случаѣ позволялъ позаимствовать гривенникъ, при чемъ никогда не говорилъ: «гривенникъ», а непремѣнно—«десять крейцеровъ».

Въ моменты случайной роскоши онъ велъ счетъ на франки, и по этой терминологіи можно было уже судить о состояніи его финансовъ.

Забота о насущномъ хлѣбѣ въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ являлась для Пепки проклятымъ вопросомъ, разрѣшеніе котораго разбивало вдребезги лучшіе параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивалъ всевозможныя комбинаціи, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и въ большинствѣ случаевъ самыя трогательныя усилія въ результатѣ давали круглый нуль.

— Нѣтъ, въ какомъ обществѣ я вращаюсь?—взывалъ обозленный Пепко, обращаясь къ неумолимому року.— Мои добрые знакомые не имѣютъ даже свободнаго рубля... Говоря между нами, это порядочные идіоты, пото-

му что каждый нормальный человѣкъ обязательно долженъ имѣть свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть нѣсколько повѣжливѣе... Наконецъ и моему терпѣнію есть предѣлъ, чортъ возьми!.. Иду давеча мимо Ѳедосьиной комнаты, а она что-то чавкаетъ... Почему она можетъ чавкать, а я долженъ вкушать отъ пищи святого Антонія? Удивляюсь...

«Ѳедосьины покровы» состояли изъ пяти комнатъ и маленькой кухни. Послѣднюю Ѳедосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцамъ. Самую большую занимали мы съ Пепкой, рядомъ съ нами жилъ «черкесъ» Горгедзе. студентъ медицинской академіи, дальше другой студентъ-медикъ Соловьевъ, еще дальше студентъ-горнякъ Анфаловъ, и самую послѣднюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и матеріальное положеніе всѣхъ жильцовъ было приблизительно одинаково, за исключеніемъ студента Соловьева, который существовалъ игрой на бильярдѣ. Онъ каждый вечеръ уходилъ къ Доминику, гдѣ пользовался широкой популярностію и выигрывалъ порядочные «мазы». Въ общежитіи это былъ очень скромный молодой человѣкъ, по цѣлымъ днямъ корпѣвшій надъ своими лекціями. Больше другихъ голодалъ, повидимому, черкесъ Горгедзе, красавецъ-мужчина, на котораго было жаль смотрѣть—лицо зеленѣло, подъ глазами образовались темные круги, въ глазахъ являлся злой огонекъ. Кажется, черкесъ отличался большимъ стоицизмомъ и даже не старался изыскать средствъ къ пропитанію, какъ дѣлалъ Пепко, а только по цѣлымъ часамъ ходилъ по комнатѣ какъ маятникъ.

— Черкесъ голоденъ,—говорилъ Пепко, прислушиваясь къ этому голодному шаганью.—Этакій левъ, и вдругъ ни

манже ни буаръ... Вѣдь такой звѣрь съѣстъ за разъ цѣлаго барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечекъ, и сыта.

Курсистка была на особомъ положеніи и пользовалась общимъ вниманіемъ. Ѳедосья считала своей священной обязанностью слѣдить за каждымъ ея шагомъ и относилась къ ней съ совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой, какъ къ соперницѣ по принадлежавшей ей, Ѳедосьѣ, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часомъ позже, Ѳедосья сейчасъ же сообщала намъ объ этомъ преступленіи, улыбаясь самымъ ехиднымъ образомъ. Ее томила мысль о томъ мужчинѣ, который долженъ былъ быть у курсистки—иначе Ѳедосья не могла представить себѣ эту новую опасную часть. Но самыя тщательныя изслѣдованія не могли открыть ни малѣйшаго признака миѳическаго мужчины, и Ѳедосья приходила къ логическому заключенію, что всѣ курсистки ужасно хитрыя. Сама по себѣ Анна Петровна представляла собой сѣренькую, скромную дѣвушку лѣтъ двадцати, — у нея были и волосы сѣрые, и глаза, и цвѣтъ лица, и платье. Жила она монашенкой и по цѣлымъ днямъ сидѣла въ своей комнатѣ, какъ мышь въ норѣ — ни одного звука. Пепко относился къ ней съ галантностью настоящаго джентльмена и нѣсколько разъ предлагалъ свои маленькія услуги, какія долженъ оказывать истинный джентльменъ каждой женщинѣ. Эти скромныя попытки встрѣчали вѣжливый, но настойчивый отказъ, такъ что Пепкѣ оставалось только пожимать плечами, и онъ называлъ упрямую курсистку «женскимъ вопросомъ», что, по его соображеніямъ, выходило очень смѣшнымъ и до извѣстной степени обиднымъ. Анна Петровна не желала ничего

замѣчать и скромно отсиживалась въ своей комнатѣ, какъ настоящая схимница.

— Ей хорошо,—злобствовалъ Пепко: — водки она не пьетъ, пива тоже... Этакъ и я прожилъ бы отлично. Да... Наконецъ, женскій организмъ гораздо скромнѣе относительно питанія. И это дьявольское терпѣніе: сидитъ по цѣлымъ недѣлямъ, какъ кикимора. Никакихъ общественныхъ чувствъ, а еще Аристотель сказалъ, что человѣкъ—общественное животное. Однимъ словомъ, женскій вопросъ... Кстати, почему нѣтъ мужского вопроса? Если равноправность, такъ долженъ быть и мужской вопросъ...

Мой переѣздъ въ «Ѳедосьины покровы» совпалъ съ самымъ труднымъ временемъ для Пепки. У него что-то вышло съ членами «академіи», и поэтому онъ голодалъ сугубо. Въ чемъ было дѣло—я не разспрашивалъ, считая такое любопытство неумѣстнымъ. Вопросъ о моемъ репортерствѣ потерялся въ какомъ-то туманѣ. По вечерамъ Пепко что-то такое строчилъ, а потомъ приносилъ обратно свои рукописанія и съ ожесточеніемъ рвалъ ихъ въ мелкіе клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и онъ мучился вдвойнѣ, потому что считалъ меня подъ своимъ протекторатомъ.

Да, наступили трудные дни...

Помню темный сентябрьскій вечеръ. По программѣ мы должны были заниматься литературой. Я писалъ свой романъ, Пепко тоже что-то строчилъ за своимъ столомъ. Онъ уже цѣлыхъ два дня ничего не ѣлъ, кромѣ чая съ пеклеваннымъ хлѣбомъ, и впалъ въ мертвозлобное настроеніе. Мои средства тоже истощились, такъ что не оставалось даже десяти крейцеровъ. Въ комнатѣ было тихо, и можно было слышать, какъ скрипѣли наши перья.

— А, чортъ...--ворчалъ Пепко, время отъ времени дѣлая передышку.

Я боялся, что онъ попроситъ у меня несуществующіе десять крейцеровъ, и молчалъ. Наконецъ мученія Пепки перешли всякія границы, и онъ проговорилъ мрачнымъ голосомъ:

— Есть десять крейцеровъ?

— Увы, нѣтъ...

Пепко заскрипѣлъ зубами отъ молчаливаго отчаянія. Какая это ужасная вещь—голодъ, особенно въ молодые годы, когда организмъ такъ настойчиво предъявляетъ свои права на питаніе. Среднимъ числомъ мнѣ пришлось прожить впроголодь около десяти лѣтъ, и я отлично понимаю, что значитъ вѣчно не доѣдать. Теперь мнѣ кажется страннымъ, почему намъ тогда не пришла самая простая мысль, именно--готовить обѣдъ самимъ... Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолѣпную кашу. Питаніе сухоястіемъ было втрое дороже и не достигало цѣли. Даже рубецъ въ нашемъ репертуарѣ является большой роскошью... Удивительнѣе всего то, что студенты-медики на голодный желудокъ изучали свою гигіену, которая такъ любезно предлагаетъ самые раціональные методы питанія, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчитъ. Впрочемъ, мы, какъ мужчины, могли и не догадаться, а вотъ почему тутъ же рядомъ молчаливо голодали наши медички, тогда какъ по своей женской части могли обсудить вопросы питанія болѣе практическимъ способомъ.

Итакъ Пепко заскрипѣлъ съ голода зубами... Онъ глоталъ слюну, челюсти Пепки сводила голодная позѣвота. И все-таки десяти крейцеровъ не было... Чтобы

утишить нѣсколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежалъ съ закрытыми глазами. Наконецъ, его осѣнила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочилъ, нахлобучилъ свою шляпу, надѣлъ пальто и бомбой вылетѣлъ изъ комнаты. Минутъ черезъ десять онъ вернулся веселый и счастливый.

— Эврика!—проговорилъ онъ, добывая изъ кармана полфунта ржаного хлѣба и полфунта дешевой лавочной колбасы.—Я перехитрилъ fortunam adversam... Предадимся чревоугодію.

Пепко съѣлъ все съ жадностью наголодавшагося волка, облегченно вздохнулъ и даже растегнулъ свой пиджакъ, при чемъ я убѣдился въ отсутствіи жилета.

— Проклятый закладчикъ далъ всего десять крейцеровъ...—конфузливо проговорилъ Пепко на мой нѣмой вопросъ.— Ну, да это все равно: не въ деньгахъ счастье.

Насытившись, Пепко сейчасъ же впалъ въ самое радужное настроеніе. Въ такія минуты онъ обыкновенно доставалъ изъ своей библіотеки какой-нибудь женскій романъ и начиналъ его читать, иронически подчеркивая всѣ особенности женскаго творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читалъ мастерски, а сегодня въ особенности. Я хохоталъ до слезъ, поддаваясь его веселому настроенію.

— «Онъ былъ средняго роста, съ тонкой таліей, обличавшей серьезную силу и ловкость»... Есть!.. «Но въ усталыхъ глазахъ (почему въ усталыхъ?) преждевременно свѣтился недобрый огонекъ»... Не вредно сказано: огонекъ! «Меланхолическое выраженіе этихъ глазъ смѣнялось неопредѣленно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойнымъ». Вотъ учись, какъ пишутъ...

Мы очень весело провели нашъ вечерній чай, позанимались еще часа два и по программѣ въ девять часовъ улеглись спать.

— Я чувствую себя въ положеніи боа-констриктора, который только-что сожралъ цѣлаго теленка,—объяснялъ Пепко, кутаясь въ заношенномъ байковомъ одѣялѣ.— Да... И вотъ страданія двадцать-перваго сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданіямъ не суждено было закончиться.

Мы только-что потушили свои лампы и приготовились заснуть, какъ было назначено въ нашей программѣ, но именно въ этотъ критическій моментъ въ коридорѣ послышались легкіе женскіе шаги, а затѣмъ осторожный стукъ въ двери черкеса. «Войдите», отвѣчалъ грубоватый мужской голосъ, а затѣмъ прибавилъ уже вполголоса совсѣмъ другимъ тономъ: «Ахъ, это вы».... Дальше послышался сдержанный шопотъ и что-то въ родѣ поцѣлуя...

— А, чортъ... обругался Пепко въ пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стѣнкѣ, отдѣлявшей нашу комнату отъ комнаты черкеса, мы сдѣлались настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малѣйшій шорохъ, точно наша комната превратилась въ громадный резонаторъ. А шопотъ продолжался, и ему аккомпанировалъ смущенно-счастливый смѣхъ... Я напрасно пряталъ голову въ подушку, напрасно Пепко прятался съ головой подъ одѣяло—мы были беззащитны. Если бы въ сосѣдней комнатѣ кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чѣмъ этотъ раздражавшій полушопотъ, тихій смѣхъ и паузы.

— А, чортъ...—еще разъ обругался Пепко, зажигая лампу.—Нѣтъ, это невозможно! Эти проклятые восточные человѣки думаютъ только о себѣ...

Обозленный Пепко надѣлъ сапоги и въ видѣ демонстраціи зашагалъ по комнатѣ, стуча каблуками. Но и это не помогло... Остановившись и прислушавшись, Пепко поднялъ высоко плечи и заявилъ:

— Вѣдь то же самое было и третьяго и четвертаго дня, когда ты уходилъ изъ дому... Но тогда приходили другія—я въ этомъ убѣжденъ. По голосу слышу... О, проклятый черкесъ!.. Ты только представь себѣ, что вмѣсто насъ въ этой комнатѣ жила бы Анна Петровна?..

Пепко принялъ позу «послѣдняго римлянина» и трагически воздѣлъ руки горѣ.

VII.

Первыя печатныя строки... Сколько въ этомъ прозаическомъ дѣлѣ скрытой молодой поэзіи, какое пробужденіе самостоятельной дѣятельности, какое окрыляющее сознаніе своей силы! Объ этомъ много было писано, какъ о самомъ поэтическомъ моментѣ, и эти первые поцѣлуи остаются навсегда въ памяти, какъ полуистлѣвшія отъ времени любовныя письма.

— Сегодня ты отправляешься въ энтомологическое общество отъ «Нашей Газеты»,—сурово заявилъ мнѣ Пепко въ одно совсѣмъ непрекрасное «послѣ-обѣда».

— Что же я тамъ буду дѣлать? — откровенно недоумѣвалъ я.

— Будешь сидѣть въ засѣданіи, запишешь докладъ и пренія, а завтра къ утру составишь отчетъ... Самое простое дѣло.

— Но вѣдь я по части энтомологіи ни бельмеса не смыслю... Что-то такое о жучкахъ, бабочкахъ, козявкахъ...

— Именно, наука о козявкахъ, мушкахъ и таракашкахъ, а въ сущности—вздоръ и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будетъ свѣжѣе впечатлѣніе... А публикѣ нужно только съ пылу горячаго.

— Однако, что же я буду писать, если незнакомъ даже съ научной терминологіей?

— Э, вздоръ... А впрочемъ, мнѣ некогда.

Обстоятельства Пепки круто измѣнились къ лучшему, и поэтому онъ относился свысока и ко мнѣ, и къ Ѳедосьѣ. Онъ гдѣ-то напечаталъ свою «Петлю» и, кромѣ того, какіе-то стишки,—послѣднее для меня было неожиданнымъ открытіемъ. Я не подозрѣвалъ, что въ Пепкѣ самымъ скромнымъ образомъ скрывался поэтъ... У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принесъ номеръ уличнаго листка и показалъ мнѣ свое произведеніе. Есть какое-то мистическое уваженіе къ печатному слову, и я смотрѣлъ на стихи Пепки почти съ благоговѣніемъ, какъ и на его маленькіе разсказы. Благодаря нахлынувшему богатству, Пепко, во-первыхъ, выкупилъ своей жилетъ, во-вторыхъ, отправился въ ресторанъ обѣдать и по пути напился, и въ-третьихъ, возвращаясь домой, увидѣлъ въ окнѣ табачной лавочки гитару, которую и пріобрѣлъ немедленно, какъ вещь необходимую въ эстетическомъ обиходѣ «Ѳедосьиныхъ покрововъ». Оказалось, что Пепко, кромѣ поэтическаго жара, владѣлъ сладкимъ искусствомъ треньками на гитарѣ какіе-то ветхозавѣтные романсы и подъ аккомпаниментъ этого треньканья распѣвалъ «пшеничнымъ теноркомъ» очень жалобныя и чувствительныя строфы.

— Эстетика въ жизни все,—объяснялъ Пепко съ авто-

ритетомъ сытаго человѣка. — Посмотри на цвѣты, на окраску бабочекъ, на брачное опереніе птицъ, на платье любой молоденькой дѣвушки. Недавно я встрѣтилъ Анну Петровну, смотрю, а у нея голубенькій бантикъ нацѣпленъ—это тоже эстетика. Это въ предѣлахъ цвѣтовыхъ впечатлѣній, т. е. въ области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуковъ... Почему соловей поетъ?..

— Послушай, Пепко, а въ чемъ же я пойду въ энтомологическое общество?—спрашивалъ я, прерывая эту философію эстетики. — У меня кромѣ высокихъ сапогъ и пестрой визитки ничего нѣтъ...

— Э, вздоръ! Можешь надѣть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущаетъ твоя пестрая визитка, то пусть другіе думаютъ, что ты оригиналъ: всѣ въ черномъ, а ты не признаешь этого по твоимъ эстетическимъ убѣжденіямъ. Только и всего...

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить въ высокихъ сапогахъ, и на этомъ основаніи я не имѣлъ другой, болѣе эстетической обуви. Когда смущавшій меня костюмерскій вопросъ былъ разрѣшенъ предложеннымъ Пепкой компромиссомъ, я опять повергся въ бездну малодушія, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологіи. Пепко и тутъ оказался на высотѣ призванія; онъ относился къ ученымъ свысока. Единственнымъ основаніемъ для этого могло служить только то, что онъ въ теченіе трехъ лѣтъ своего студенчества успѣлъ побывать въ технологическомъ институтѣ, въ медицинской академіи, а сейчасъ слушалъ лекціи въ университетѣ, разомъ на нѣсколькихъ факультетахъ, потому что не могъ остановиться окончательно ни на одной спеціальности. Самый способъ

слушанія лекцій у Пепки превращался въ жестокую критику профессоровъ, при чемъ онъ любилъ выражаться довольно энергично: «балда», «старая подошва», «прохвостъ» и т. д. Пепко былъ вообще строгъ къ ученымъ людямъ и, отправляя меня на засѣданіе энтомологическаго общества, говорилъ въ назиданіе:

— Я тебѣ открою секретъ не только репортерскаго писанія, но и всякаго художественнаго творчества: нужно считать себя умнѣе всѣхъ... Если не можешь поддерживать себя въ этомъ настроеніи постоянно, то будь умнѣе всѣхъ хотя въ то время, пока будешь сидѣть за своимъ письменнымъ столомъ.

Все это, можетъ быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывалъ гнетущее настроеніе, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсію. Я чувствовалъ себя прохвостомъ, который забирается самымъ нахальнымъ образомъ прямо въ храмъ чистой науки. Вдобавокъ шелъ дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныніе.

Энтомологическое общество засѣдало у Синяго моста, въ помѣщеніи министерства. Сановитый и представительный швейцаръ съ молчаливымъ презрѣніемъ принялъ мое мокрое верхнее пальто съ большимъ изъяномъ по части подкладки и молча ткнулъ пальцемъ куда-то наверхъ. Зачѣмъ существуютъ пестрые пиджаки и скверныя осеннія пальто съ продырявленной подкладкой? Ахъ, сколько незаслуженныхъ непріятностей я перенесъ именно отъ этихъ невиннѣйшихъ по существу подробностей мужской костюмировки... Памятуя наставленія своего друга, я принялъ видъ оригинала, когда взбирался по широкой министерской лѣстницѣ во второй этажъ. Съ этимъ же видомъ я подошелъ къ какому-то начинающему мо-

лодому, человѣку, фигурировавшему въ роли секретаря, и вручилъ ему свою ввѣрительную грамоту отъ редакціи «Нашей Газеты». Онъ такъ же молча, какъ швейцаръ, указалъ мнѣ на отдѣльный столъ. Какъ новичокъ, я забрался слишкомъ рано и въ теченіе цѣлаго часа могъ любоваться лѣпнымъ потолкомъ громадной министерской залы, громаднымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, листами бѣлой бумаги, которые были разложены по столу передъ каждымъ стуломъ, — получалась самая зловѣщая обстановка готовившагося ученаго пиршества У меня что-то заныло подъ ложечкой, и я началъ чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, какъ человѣкъ, попавшій на холодъ, теряетъ постепенно живую теплоту собственнаго тѣла.

Прошло съ четверть часа, пока я осмотрѣлся и замѣтилъ двухъ молодыхъ людей, шушукавшихся въ уголкѣ залы. Это были, видимо, начинающіе ученые, которые забрались, въ качествѣ новичковъ, тоже раньше другихъ. Потомъ явились еще и еще, и я могъ наблюдать, какъ наука росла на моихъ глазахъ. Потомъ явились средняго возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, какъ неудавшагося оригинала. Засѣданіе открылось только съ прибытіемъ ученой женщины, солидно занявшей главное мѣсто. Я не помню, какъ около моего столика точно изъ земли выросъ какой-то юркій молодой человѣкъ въ золотыхъ очкахъ, который спросилъ меня безъ всякихъ предисловій:

— Вы отъ какой газеты? Прежде отъ «Нашей Газеты» приходилъ сюда Молодинъ.

Шустрый молодой человѣкъ оказался представителемъ большой распространенной газеты и поэтому держалъ себя съ соотвѣтствующимъ апломбомъ. Затѣмъ явились еще два репортера — одинъ прилизанный, чистенькій, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, съ припухшими вѣками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ходъ ученаго засѣданія: секретарь читалъ протоколъ предыдущаго засѣданія, потомъ слѣдовалъ докладъ одного изъ «нашихъ начинающихъ молодыхъ ученыхъ» о какихъ-то жучкахъ, истребившихъ сосновые лѣса въ Германіи, затѣмъ пренія и т. д. Мнѣ въ первый разъ пришлось выслушать, какую страшную силу составляютъ эти ничтожные въ отдѣльности букашки, мошки и таракашки, если они дѣйствуютъ оптомъ. Впослѣдствіи я постоянно встрѣчалъ ихъ въ жизни и невольно вспоминалъ докладъ въ энтомологическомъ обществѣ.

Тутъ же въ первый разъ я имѣлъ удовольствіе видѣть спеціально ученую ложь, услащенную стереотипными фразами: «беру на себя смѣлость сдѣлать одно замѣчаніе уважаемому докладчику», «нашъ дорогой Иванъ Петровичъ высказалъ мнѣніе», «не полагаясь на свой авторитетъ, я рѣшаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обиліе никому ненужныхъ канцелярскихъ словъ и торжественно-похоронное выраженіе лицъ всѣхъ этихъ Ивановъ Петровичей, фигурировавшихъ здѣсь въ роли столповъ науки и отцовъ отечества. Сколько ненужной лжи и дрянныхъ ненужныхъ словъ, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые, подающіе надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилыя колоды родной

науки. Приблизительно происходило то же, что съ нѣмецкимъ лѣсомъ, который былъ съѣденъ ничтожными жуками.

Записалъ я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти былъ занятъ совершенно посторонними наблюденіями, а отчасти потому, что не умѣлъ еще быстро схватывать сущность доклада и преній. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывалъ приливъ самаго мрачнаго отчаянія... Какой я репортеръ для ученыхъ обществъ?.. Что я буду писать и о чемъ? Никто не будетъ печатать мою галиматью, а если «Наша Газета» напечатаетъ, то будетъ еще хуже, потому что появится возраженіе. Однимъ словомъ, скверно, а всего сквернѣе то, что я никакъ не могъ вообразить себя умнымъ человѣкомъ.

Вернувшись домой, я засталъ Пепку уже въ постели. Онъ спалъ сномъ младенца, и меня это огорчило: мнѣ не съ кѣмъ было даже подѣлиться своимъ отчаяніемъ. Вообще, скверно... Я могъ только попросить Ѳедосью разбудить меня завтра въ шесть часовъ утра.

Утро было ужасное. Отчетъ долженъ былъ быть готовъ къ восьми часамъ, и я работалъ какъ приговоренный къ смертной казни. Нужно было вылѣпить изъ отрывочныхъ замѣчаній, занесенныхъ въ репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до извѣстной степени цѣлое. Это была жестокая практика... Убивало главнымъ образомъ то, что нужно было кончить къ восьми часамъ.

Пробило и восемь часовъ. Отчетъ былъ готовъ.

— Теперь неси его къ Фрею, — говорилъ Пепко. — Его найдешь въ трактирѣ у Симеоніевскаго моста... Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытаніе. Мнѣ казалось, что Фрей отнесется ко мнѣ съ презрѣніемъ и засмѣется прямо въ лицо. Но Фрей не высказалъ никакихъ особливыхъ враждебныхъ чувствъ, а молча просмотрѣлъ мой первый опытъ, молча сунулъ его себѣ въ карманъ и самымъ равнодушнымъ тономъ проговорилъ:

— Хорошо...

«Академія» тоже встрѣтила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и сдѣлалъ, что писалъ отчеты о засѣданіяхъ энтомологическаго общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нѣтъ ничего тяжелѣе и мучительнѣе ожиданія. Я даже во снѣ видѣлъ, какъ за мной гнались начинающіе энтомологи, гикали, указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла изъ однихъ жучковъ...

Наступило утро, холодное туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными міазмами. Конечно, все дѣло было въ томъ номерѣ «Нашей Газеты», въ которомъ долженъ былъ появиться мой отчетъ. Наконецъ, звонокъ, и Ѳедосья несетъ этотъ роковой номеръ... У меня кружилась голова, когда я развертывалъ еще не успѣвшую хорошенько просохнуть газету. Вотъ политика, телеграммы, хроника, разныя извѣстія...

— Напечатанъ?—спрашиваетъ Пепко.

Отъ волненія я пробѣгаю мимо своего отчета и только потомъ его нахожу. «Засѣданіе энтомологическаго общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грѣхъ. Читаю и прихожу въ ужасъ, какой, вѣроятно, испытываетъ солдатъ-новобранецъ, когда его остригутъ подъ гребенку. «Лучшія мѣста» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляція, въ родѣ тѣхъ докладовъ, какіе дѣлали подающіе надежды

молодые люди. Пепко раздѣляетъ мое волненіе и, пробѣжавъ отчетъ, говоритъ.

— Ничего...

Какъ ничего?.. А что скажутъ господа ученые, о которыхъ я писалъ? Что скажетъ публика?.. Мнѣ казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчетъ... Весь остальной міръ существовалъ только какъ прибавленіе къ моему отчету. Роженица, вѣроятно, чувствуетъ то же, когда въ первый разъ смотритъ на своего ребенка...

— Ничего...—тянулъ изъ меня душу Пепко.—Завтра ты отправляешься въ университетъ, на ученый диспутъ; какой-то чортъ написалъ цѣлую диссертацію о греческихъ придыханіяхъ...

Какъ же это такъ, вдругъ: вчера жучки, а завтра греческія придыханія? Я только тутъ въ первый разъ почувствовалъ себя литературнымъ солдатомъ, который не имѣетъ права отказываться даже самымъ вѣжливымъ образомъ...

VIII.

Мое репортерство быстро пошло въ ходъ, и въ какой-нибудь мѣсяцъ я превратился въ зауряднаго газетнаго сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другіе репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось въ томъ, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось въ день засѣданія уходить изъ дому часовъ въ семь вечера и возвращаться въ часъ, а затѣмъ утромъ писать отчетъ и нести его въ трактиръ. Однимъ словомъ, уходилъ почти цѣлый день. Такая работа въ результатѣ

давала въ среднемъ отъ рубля до двухъ за отчетъ. Считая отъ десяти до пятнадцати ученыхъ засѣданій въ мѣсяцъ, мой заработокъ колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цыфра для меня являлась громадной, особенно принимая во вниманіе то, что это были первые заработки, дававшіе извѣстную самостоятельность и даже нѣкоторое уваженіе къ собственной особѣ. Да, я уже являлся составной частью того живого цѣлаго, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и былъ радъ, что началъ службу простымъ рядовымъ. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетнаго дѣла, которая для обыкновеннаго газетнаго читателя не существуетъ,—за этими печатными строчками открывался оригинальный живой міръ, органически связанный вотъ именно съ такимъ печатнымъ листомъ бумаги. Настоящій газетный сотрудникъ, въ общежитейскомъ смыслѣ, погибшій человѣкъ, потому что, послѣ пяти-шести лѣтъ газетной работы, онъ настолько въѣдается въ свое дѣло, что теряетъ всякую способность къ другой работѣ. Я видѣлъ настоящихъ фанатиковъ газетнаго дѣла, какъ тотъ же полковникъ Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность, аккуратность настоящаго стараго газетнаго солдата, который зналъ только одно, что «газета не ждетъ». Мнѣ пришлось проработать съ нимъ вмѣстѣ около трехъ лѣтъ, и не было случая, когда бы онъ опоздалъ хоть на пять минутъ.

Газетное братство распадалось на цѣлый рядъ категорій: передовики, фельетонисты, хроникеры, завѣдывающіе отдѣлами вообще и просто мелкая газетная сошка. Въ сущности, получались двѣ неравныхъ «половины»:

съ одной стороны газетная аристократія, какъ модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а съ другой—безымянная газетная челядь, ютившаяся на послѣднихъ страницахъ, въ отдѣлѣ мелкихъ извѣстій, замѣтокъ, слуховъ и сообщеній. Особенно сильная борьба шла именно въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ газетныхъ микроорганизмомъ, гдѣ каждая напечатанная строка являлась синонимомъ насущнаго хлѣба. Я быстро понялъ эту газетную философію: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусокъ хлѣба. Отсюда своя подводная борьба за существованіе, свои бури въ стаканѣ воды, свои интриги, симпатіи и антипатіи. Типичнымъ человѣкомъ въ этомъ отношеніи являлся полковникъ Фрей, который со всѣми былъ знакомъ и доставлялъ работу. На его голову сыпались самыя тяжелыя обвиненія, его упрекали чуть не въ воровствѣ, ему устраивали непріятныя сцены, и онъ все выносилъ, оставаясь на своемъ посту. Лично я съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаю о немъ, какъ о человѣкѣ, который такъ просто отнесся ко мнѣ съ перваго раза и такъ до конца. И прочіе члены «академіи» тоже относились хорошо, и мнѣ дѣлается грустно, что ихъ уже нѣтъ—послѣднимъ умеръ полковникъ Фрей.

Что же свело ихъ въ преждевременную могилу? Отвѣтъ довольно грустный: пьянство... Происходило это и отъ безпорядочности самой работы, и отъ періодическихъ голодовокъ, и, можетъ-быть, по установившейся годами традиціи. Я уже описалъ свою первую встрѣчу съ «академіей»; послѣдующія встрѣчи были только повтореніемъ. Утромъ «академія» засѣдала въ трактирѣ Агапыча, а вечеромъ перекочевывала въ сосѣднюю портерную. Здѣсь раздавалась работа, здѣсь обсуждались

свои газетныя дѣла, здѣсь проходила вся жизнь подъ давленіемъ винныхъ паровъ. Это была самая грустная страница въ жизни нашей газетной богемы... Мы съ Пепкой не могли избавиться отъ установившагося режима и время отъ времени сильно напивались. Происходило это безъ предварительнаго намѣренія, а какъ-то само собой, какъ умѣетъ напиваться русскій человѣкъ въ обществѣ другого хорошаго русскаго человѣка. Мало-по-малу это вошло даже въ привычку, особенно въ трудную минуту, когда дома ѣсть было нечего, а тутъ Агапычъ открывалъ маленькій кредитъ и портерная тоже.

Послѣ каждаго излишества Пепко испытывалъ припадки самаго жестокаго раскаянія, хотя и называлъ каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно — «мы немного ошиблись». Было тяжело смотрѣть на него въ эти минуты.

— Смотри и молча презирай меня!—заявлялъ Пепко, еще лежа утромъ въ постели. — Передъ тобой надежда отечества, цвѣтъ юношества, будущій знаменитый писатель и... Нѣтъ, это невозможно!.. Дай мнѣ орудіе, которымъ я могъ бы прекратить свое гнусное существованіе. Ахъ, Божей мой, Боже мой... И это интеллигентные люди? Чему насъ учатъ, къ чему примѣры лучшихъ людей, мораль, этика, нравственность?..

— Да будетъ тебѣ, Пепко! Надоѣлъ... Причитаешь, какъ наемная плакальщица.

— Нѣтъ, ты посмотри на мою рожу... Глаза красные, кожа свѣтится пьянымъ жиромъ — вообще, самый снусный видъ кабацкаго пропойцы.

За этимъ немедленно слѣдовалъ цѣлый реестръ искупающихъ поступковъ, какъ очистительная жертва. Вся-

кое правонарушеніе требуетъ жертвъ... Напримѣръ, придумать и сказать самый гнусный комплиментъ Ѳедосьѣ, при чемъ недурно поцѣловать у нея руку, или не умываться въ теченіе цѣлой недѣли, или -- прочитать залпомъ самый большой женскій романъ и т. д. Странно, чѣмъ ярче было такое раскаяніе и чѣмъ ужаснѣе придумывались очищающія кары, тѣмъ скорѣе наступала новая «ошибка». Въ психологіи преступности есть своя логика...

Приливъ средствъ и необходимость дѣловыхъ сношеній съ «академіей» совершенно нарушали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день въ одиночку и сообща самыя торжественныя клятвы, что это послѣдняя «ошибка» и ничего подобнаго не повторится. Но эти добрыя намѣренія принадлежали, очевидно, къ тѣмъ, которыми вымощенъ адъ.

— Что же это такое?—взывалъ Пепко, изнемогая въ борбѣ съ собственною слабостью. — Еще одинъ маленькій шагъ, и мы превратимся въ настоящихъ трактирныхъ героевъ... Мутные глаза, сизый носъ, развинченныя движенія, вѣчный запахъ перегорѣлаго вина—нѣтъ, благодарю покорно! Не согласенъ... Къ чорту всю «академію»!.. Я еще молодъ и могу подавать надежды, даже очень просто... Наконецъ благодарное потомство ждетъ отъ меня соотвѣтствующихъ поступковъ, чортъ возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоѣдству, судьба уже приготовила коррективъ.

Произошло это совершенно неожиданно, какъ происходятъ только серьезныя вещи въ жизни.

Дѣло происходило на святкахъ. Ученыя общества прекратили свою дѣятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрѣнію своей голодной свободой. Семей-

ныхъ знакомствъ у насъ не было, да и не могло быть, благодаря отсутствію приличныхъ костюмовъ. Все это было очень грустно, особенно въ такіе семейные праздники, какъ святки. Всѣ веселились, у всѣхъ былъ свой семейный уголъ, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко съ какимъ-то ожесточеніемъ рѣшительно ничего не дѣлалъ, валялся цѣлые дни на кровати и зудилъ на гитарѣ до тошноты, развивая въ себѣ и во мнѣ эстетическій вкусъ. Иногда, достигнувъ конечнаго предѣла одуренія, онъ вскакивалъ, кого-то ругалъ въ пространство, убѣгалъ изъ дому и черезъ десять минутъ нозвращался съ сильнымъ запахомъ водки.

-- А, чортъ... — ворчалъ онъ, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная исторія, которая случается при совмѣстномъ сожительствѣ: мы надоѣли другъ другу... Всѣ разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровенія сдѣланы—оставалось только скучать. Всѣ привычки, недостатки и достоинства были извѣстны взаимно, какъ платье, физіономіи, жесты, интонаціи голоса и т. д. Незамѣтно мы старались не видѣть другъ друга, уходя изъ дому на цѣлые дни. Это было самое лучшее, что можно было сдѣлать въ нашемъ положеніи. Именно въ одинъ изъ такихъ тяжелыхъ дней, когда я скрылся изъ дому къ знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнѣйшимъ образомъ.

Какъ отчетливо я помню этотъ проклятый зимній день, гнилой, сѣрый, тоскливый! Вмѣсто снѣга на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засидѣлся у своего знакомаго подольше, чтобы вернуться домой, когда

Пепко уже спитъ,—отъ скуки онъ въ праздники заваливался спать съ десяти часовъ. Я возвращался въ самомъ скверномъ настроеніи, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мосткахъ черезъ Неву меня продуло самымъ безпощаднымъ образомъ, точно самыя стихіи ополчились на беззащитнаго молодого человѣка. Наконецъ, вотъ и нашъ домъ, нашъ флигелекъ. На звонокъ вышла Ѳедосья и встрѣтила меня загадочной улыбкой,—она умѣла улыбаться самымъ глупымъ образомъ.

— Что такое случилось, Ѳедосья Ниловна?

Вмѣсто отвѣта Ѳедосья только фыркнула и мотнула головой по направленію нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблянъ. Значитъ, еще Пепко не спалъ... Отворяю дверь и отъ изумленія превращаюсь въ знакъ вопроса. Представьте себѣ совершенно невѣроятную картину: на моей кушеткѣ сидѣлъ Пепко съ гитарой, принявъ какую-то особую позу жуирующаго молодого человѣка, а передъ нимъ... Нѣтъ, это нужно писать другимъ перомъ и другими чернилами... Въ нашей комнатѣ кружились двѣ пары самыхъ очаровательныхъ масокъ: два «турка», цыганка и «Ночь». «Турки» были своего домашняго приготовленія, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать въ нихъ переодѣтыхъ дѣвушекъ. Да, это были настоящія маски, тотъ милый маскарадъ, который не требовалъ объясненій. И все-таки я рѣшительно ничего не понималъ... На столѣ, гдѣ лежали мои рукописи, стояли три пустыхъ бутылки изъ-подъ пива, двѣ тарелки съ объѣдками колбасы и сыра, два вѣера и перчатки не первой молодости.

— Рекомендую: мой другъ, — рекомендовалъ меня

Пепко.—Отличный парень, а главное—замѣчательный талантъ.

— Въ какомъ смыслѣ?—освѣдомилась Ночь, подавая мнѣ холодную, длинную и худую руку.

— Во всякомъ, милая Ночь...

Маски сбились въ одну кучу и о чемъ-то шушукались. Очевидно, мое появленіе нарушило трогательный семейный праздникъ. Впрочемъ, скоро все уладилось само собой. Храбрѣе всѣхъ оказались «турки», которые первыми сняли маски, а ихъ примѣру послѣдовала цыганка. Въ результатѣ этого разоблаченія оказались три молодыхъ, довольно миловидныхъ рожицы, улыбавшихся и хихикавшихъ самымъ задорнымъ образомъ. Упорнѣе всѣхъ оказалась Ночь, которая ни за что не хотѣла снимать маску. Пепко пустилъ въ ходъ какой-то дипломатическій подвохъ, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась дѣвушкой среднихъ лѣтъ, съ какими-то испуганными темными глазами.

— Ну, вотъ и отлично!—одобрялъ Пепко, принимаясь за свою гитару.

— Что это значитъ?—спрасилъ я, продолжая не понимать.

— Что значитъ? Въ нашемъ репертуарѣ это будетъ называться: месть проклятому черкесу... Это тѣ самыя милыя особы, которыя такъ часто нарушали нашъ проспектъ жизни своимъ шепотомъ, смѣхомъ и поцѣлуями. Сегодня они вздумали сдѣлать сюрпризъ своему черкесу и заявились всѣ вмѣстѣ. Его не оказалось дома, и я пригласилъ ихъ сюда. Теперь понялъ? Желалъ бы я видѣть его рожу, когда онъ вернется домой...

У насъ открылся настоящій балъ. Появилось новое пиво, а съ нимъ разлилось и новое веселье. Наши ма-

ски оказались очень милыми и веселыми созданіями, а Пепко проявилъ необыкновенную галантность — нѣчто среднее между турецкимъ пашой и французскимъ маркизомъ конца грѣшнаго восемнадцатаго вѣка.

— Гризетки изъ Латинскаго квартала,—резюмировалъ Пепко свои впечатлѣнія и какъ-то особенно глупо захохоталъ; я его видѣлъ въ женскомъ обществѣ въ первый разъ.

Доворя откровенно, дѣвушки были очень недурны и дурачились такъ мило, точно разыгравшіеся котята. Мы танцовали кадриль, польки, вальсы—вообще развеселились. Потомъ начались святочныя игры, пѣніе, всѣ тѣ маленькія глупости, которыя продѣлываются молодежью съ такимъ усердіемъ. Пепко проявлялъ всѣ свои таланты, и наши дамы хохотали надъ нимъ до слезъ. Онъ самъ вошелъ въ свою роль и тоже хохоталъ.

— Позвольте, однако, mesdames, какъ васъ зовутъ?—спохватился Пепко немножко поздно.

- Угадайте...

Пепко посмотрѣлъ на нихъ и по какому-то наитію проговорилъ съ полной увѣренностію:

— Вѣра, Надежда, Любовь и мать ихъ Софья премудрость...

По странной случайности оказалось, что это было именно такъ, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошелъ къ Ночи, взялъ ее за руку и проговорилъ:

— А ты—Любовь, т. е. любовь и въ частности и вообще.

IX.

— Что такое женщина?—спрашивалъ Пепко на другой день послѣ нашего импровизированнаго бала. — За что мы любимъ эту женщину? Почему, наконецъ, наша Ѳедосья тоже женщина и тоже, на этомъ только основаніи, можетъ вызвать любовную эмоцію?.. Тутъ, братъ, дѣло поглубже одной физики...

Затѣмъ Пепко сдѣлалъ рукой свой единственный жестъ, сладко зажмурилъ глаза и кончилъ тѣмъ, что бросился на свою кровать. Это было непослѣдовательно, какъ и дальнѣйшія внѣшнія проявленія собственной Пепкиной эмоціи. Онъ лежалъ на кровати ничкомъ и болталъ ногами; онъ что то бормоталъ, хихикалъ и пряталъ лицо въ подушку; онъ проявлялъ вообще «рѣзвость дитяти».

— Что съ тобой, Пепко?

— Со мной? Что со мной?.. Я влюбленъ въ Ѳедосью... Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина съ очень колоритнымъ темпераментомъ, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочилъ съ своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохоталъ, сдѣлавъ глупое лицо.

— Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина.

По всѣмъ признакамъ, Пепко мучился желаніемъ разсказать мнѣ что-то очень пикантное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не рѣшался. Я могъ сдѣлать довольно основательное предположеніе по адресу вчерашнихъ масокъ,—мы ихъ провожали вмѣстѣ, а потомъ разлучились; на мою долю досталось провожать двухъ сестеръ, Вѣру и Надежду, а Пепко провожалъ Ночь и мать премудрость Софью. Домой вернулся онъ очень поздно, когда я уже спалъ, и

утромъ не желалъ подѣлиться своими впечатлѣніями. Настоящій разговоръ происходилъ уже послѣ обѣда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.

— Если не ошибаюсь, тебя угнетаетъ какая-то тайна?—замѣтилъ я, подавая реплику.

— О, ты проникъ на самое дно моей души, мой другъ... Да, величайшая тайна, больше—тайна женщины. А впрочемъ, подозрѣніе да не коснется жены цезаря.

— Гдѣ цезарь, Пепко?

— Цезарь—это я, т. е. цезарь пока еще въ возможности, in spe. Но я уже на пути къ этому высокому сану... Однимъ словомъ, я вчера лобзнулъ Ночь, и Ночь лобзнула меня обратно. Привѣтъ тебѣ, счастливый мигъ... Въ нашемъ лицѣ человѣчество проявило первую попытку сдѣлать продолженіе изданія. Ахъ, какая дѣвушка, какая дѣвушка...

— По-моему, она очень некрасива...

— А глаза?.. И миръ, и любовь, и блаженство... Въ нихъ для меня повернулась вся наша грѣшная планетишка, въ нихъ отразилась вся небесная сфера, въ нихъ мелькнула тѣнь божества... Съ ней, какъ говоритъ Гейне, шла весна, пѣсни, цвѣты, молодость.

Освободившись отъ своей тайны, Пепко, кажется, почувствовалъ нѣкоторое угрызеніе совѣсти, вѣрнѣе сказать, ему сдѣлалось жаль меня, какъ человѣка, который оставался въ самомъ прозаическомъ настроеніи. Чтобы нѣсколько стушевать свою безсовѣстную радость, Пепко проговорилъ какимъ-то фальшивымъ тономъ, какимъ говорятъ про «дорогихъ покойниковъ»:

— А эта бѣлокуренькая Надежда ничего... Этакой пухленькій чертенокъ. Я замѣтилъ, какъ она посматривала на тебя. И ты въ свою очередь...

— Нельзя ли меня оставить въ покоѣ.

— Гмъ, твое дѣло... Если не ошибаюсь, Вѣра и Надежда—сестры, и если не ошибаюсь, у нихъ есть мамаша, т. е. онѣ живутъ при мамашѣ?

— Да, что-то въ этомъ родѣ... Онѣ приглашала насъ къ себѣ какъ-нибудь въ воскресенье. Очень милыя дѣвушки вообще...

— Да, милыя... А Горгедзе?..

— Онъ просто знакомый... Бываетъ у нихъ. Ничего особеннаго...

— Гмъ, да... Вещь обыкновенная.

Пепко вдругъ замолчалъ и посмотрѣлъ на меня, стиснувъ зубы. Въ воздухѣ пронеслась одна изъ тѣхъ невысказанныхъ мыслей, которыя являются иногда при взаимномъ молчаливомъ пониманіи. Пепко даже смутился и еще разъ посмотрѣлъ на меня уже съ затаенной злобой: онъ во мнѣ начиналъ ненавидѣть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена безъ словъ выдавала Пепку головой... Пепко уже раскаивался въ своей откровенности и въ то же время обвинялъ меня какъ главнаго виновника этой откровенности.

Мнѣ приходится сдѣлать маленькое отступленіе и вернуться назадъ. Дѣло въ томъ, что у Пепки была настоящая тайна, о которой онъ не говорилъ, но относительно существованія которой я могъ догадываться по разнымъ аналогіямъ и логическимъ наведеніямъ. Познакомившись съ нимъ ближе, я, во-первыхъ, открылъ существованіе въ его инвентарѣ нѣсколькихъ вещей, настолько ненужныхъ, что ихъ даже нельзя было заложить, и которыя Пепко тщательно пряталъ: вышитая шелкомъ закладка для книги, таковая же перотерка и т. д.; во вторыхъ,

я сдѣлался невольнымъ свидѣтелемъ нѣкоторыхъ поступковъ, не соотвѣтствовавшихъ общему характеру Пепки, и, наконецъ, въ-третьихъ, время отъ времени на имя Пепки получались таинственныя письма, которыя не имѣли ничего общаго съ письмами «одной доброй матери» и которыя Пепко, не распечатывая, торопливо пряталъ въ карманъ. Не нужно было особенной проницательности, чтобы догадаться о существованіи какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся въ «Ѳедосьины покровы» прямо съ сердцу Пепки. Ѳедосья была убѣждена въ существованіи этой таинственной особы и съ ехидствомъ обезьяны каждый разъ сама приносила письма Пепкѣ.

— Опять письмо...—говорила она, пожирая глазами Пепку.

— А, чортъ!..—ругался Пепко.

Было разъ даже такъ, что Ѳедосья вошла въ нашу комнату на цыпочкахъ и проговорила змѣинымъ сипомъ.

— Васъ спрашиваетъ какая-то дама...

Пепко вылетѣлъ въ корридоръ, какъ бомба. Тамъ, дѣйствительно, стояла дама, скрывавшая свое лицо подъ густой вуалью. Произошелъ короткій діалогъ, и дама ушла, а Пепко вернулся взбѣшенный до послѣдней степени. Его имя компрометировалось передъ лицомъ всѣхъ обитателей «Ѳедосьиныхъ покрововъ».

Именно, этотъ эпизодъ съ таинственной незнакомкой и промелькнулъ предъ нашими внутренними очами послѣ сдѣланнаго Пепкой признанія о лобзаніи. Мужчина, обманывающій женщину, вообще гадокъ, а Пепко еще не былъ настолько испорченнымъ, чтобы не чувствовать сдѣланной гадости. Мучила молодая совѣсть...

Когда Пепко послѣ утренней откровенности вышелъ, въ комнату заявилась Ѳедосья. Она какъ-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тѣмъ, что обратилась ко мнѣ съ слѣдующимъ воззваніемъ:

— Самый невѣроятный Ѳома!..

— Кто?..

— А самъ-то Агаѳонъ Павлычъ... Развѣ это хорошо. и даму обманываетъ, и дѣвушку хочетъ обмануть. Конечно, она глупая дѣвушка...

— Какую даму?

— А та, которая съ письмами... Раньше-то Агаѳонъ Павлычъ у ней комнату снималъ, ну, и обманулъ. Она вдова, живетъ на пенсіи... Еще сама какъ-то приходила. Дуры эти бабы... Ну, чего лѣзетъ и людей смѣшитъ? Ошиблась и молчи... А я бы этому Ѳомѣ невѣроятному всѣ глаза выцарапала. Вонъ какимъ сахаромъ къ дѣвушкѣ-то подсыпался... Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевскомъ островѣ живетъ, далеко къ ней ходить, ну, а эта ближе...

«Ѳома невѣрный», передѣланный Ѳедосьей въ «Ѳому невѣроятнаго», получилъ спеціальное значеніе, въ смыслѣ вообще невѣрности. Я выслушалъ Ѳедосью молча, а потомъ отвѣтилъ:

— Меня удивляетъ, Ѳедосья Ниловна, ваша слабость говорить о томъ, чего вы не знаете...

— Я-то не знаю?!..

Ѳедосья сдѣлала носомъ какой-то шипящій звукъ, взмахнула тряпкой и вышла изъ комнаты съ видомъ оскорбленной королевы. Я понялъ только одно, что, благодаря Пепкѣ, съ настоящаго дня попалъ въ разрядъ «Ѳомы невѣроятнаго».

Событія полетѣли быстрой чредой. Пепко имѣлъ видъ

заговорщика и въ одно прекрасное февральское утро заявилъ мнѣ, что въ слѣдующее воскресенье мы отправляемся къ Вѣрѣ и Надеждѣ.

— У этихъ милыхъ дѣвушекъ одинъ недостатокъ: надежда должна быть старше вѣры, eo ipso, а въ дѣйствительности Вѣра старше Надежды. Но съ этой маленькой хронологической неточностью можно помириться, потому что она умѣетъ такъ хорошо улыбаться и смотритъ такими свѣтлыми глазками...

— Надѣюсь, что твоя Ночь будетъ тамъ?

— Ну, этого я не знаю,—откровенно совралъ Пепко.— Можетъ-быть...

Вѣра и Надежда обитали въ глубинахъ Петербургской стороны. Когда мы шли къ нимъ вечеромъ въ воскресенье, Пепко сначала отмалчивался, а потомъ заговорилъ, продолжая какую-то тайную мысль:

— Да вообще, ежели разсудить...

— Что разсудить?

— А вотъ хоть бы то, что мы сейчасъ идемъ. Ты думаешь, что все такъ просто: встрѣтились случайно съ какими-со барышнями, получили приглашеніе на журъфиксъ и пошли... Какъ бы не такъ! Мы не сами идемъ, а насъ толкаетъ неумолимый законъ... Да, законъ, который гласитъ коротко и ясно: на четырехъ петербургскихъ мужчинъ приходится всего одна петербургская женщина. И вотъ мы идемъ, повинуясь закону судебъ, влекомые наглядной ариѳметической несообразностью...

— А ты не можешь безъ философіи?

— Самому дороже стоитъ...

Квартира нашихъ новыхъ знакомыхъ помѣщалась во второмъ этажѣ довольно гнуснаго флигеля. Первое впечатлѣніе получалось довольно невыгодное, начиная съ

темной передней, гдѣ стоялъ промозглый воздухъ маленькой тѣсной квартирки. Дальше слѣдовалъ небольшой залъ, обставленный съ убогой роскошью. Въ ожиданіи гостей все было прибрано. Насъ встрѣтила довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Ѳедосью. Впослѣдствіи она оказалась матерью Вѣры и Надежды. Это было, какъ пишутъ въ афишахъ, лицо безъ рѣчей. Въ залѣ уже сидѣлъ какой-то офицеръ, т. е. не офицеръ, а интендантскій чиновникъ въ военной формѣ, пожилой, лысый, съ ласково бѣгавшими масляными глазами.

— Люба обѣщала придти...—замѣтила бѣлокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбавшимися глазками.

— Я не знаю, какъ ты рѣшилась ее пригласить,— брезгливо отвѣтила Вѣра, пожимая плечами.—Мы съ ней познакомились въ Нѣмецкомъ клубѣ предъ Рождествомъ. Впрочемъ, я это такъ...

Мы чувствовали себя не въ своей тарелкѣ, пока не поданъ былъ самоваръ; прислуги не было, и «отвѣчала за кухарку» все та же мамаша. Нѣкоторое оживленіе внесъ сѣдой толстый старикъ фельдщеръ съ золотой цѣпочкой, который держалъ себя другомъ дома. Онъ называлъ дѣвицъ попросту Вѣрочкой и Наденькой. Онѣ почему-то хихикали, переглядывались и даже толка лисмѣшнаго старика. Разговоръ шелъ о Нѣмецкомъ клубѣ и неизвѣстныхъ намъ общихъ знакомыхъ. Я молчалъ самымъ глупымъ образомъ, а Пепко что-то вралъ о провинціальныхъ клубахъ, въ которыхъ никогда не бывалъ. Въ общемъ все-таки ничего интереснаго не получалось. Самая обыкновенно кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже нѣсколько разъ съ тоской посматривалъ на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придетъ, не безпокойтесь».

Сами по себѣ барышни были средняго разбора—ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мнѣ нравилось, что онѣ одѣвались очень скромно, безъ всякихъ претензій и безъ помощи портнихи. Младшая, Надежда, бѣлокурая и какъ-то задорно здоровая, мнѣ нравилась больше старшей Вѣры, которая была красивѣе,—я не любилъ брюнетокъ.

— Ну, братику, мы попали въ небольшое, но избранное общество,—шепнулъ мнѣ Пепко, отводя въ сторону.— Отъ скуки челюсти свело... Недостаетъ еще отца діакона, гитары и домашней наливки, которая пахнетъ кошкой.

Мнѣ тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановкѣ. Чего-то недоставало, и что-то было лишнее, какъ лысая интендантская голова и эта мамаша безъ словъ. Къ числу дѣйствующихъ лицъ нужно еще прибавить ветхозавѣтное фортепіано краснаго дерева, которое имѣло здѣсь свое самостоятельное значеніе,—«мамаша безъ словъ» играла за тапера и аккомпанировала Вѣрочкѣ, исполнявшей съ большимъ чувствомъ самые модные романсы. Подъ это фортепіано мы съ Пепкой много танцовали впослѣдствіи, такъ что я сейчасъ вспоминаю о немъ, какъ о живомъ свидѣтелѣ нашихъ хореографическихъ упражненій. Увы!—нынче такія цимбалы исчезли даже въ глубинахъ Петербугской стороны, а съ ними исчезло и дешевенькое веселье.

Скучавшій Пепко не подозрѣвалъ, какой сюрпризъ готовила ему роковая судьба. Онъ вздрогнулъ, когда въ передней забренчалъ звонокъ. Это была она... Надя посмотрѣла на Пепку улыбавшимися глазами и выскочила встрѣчать гостью. Послышались поцѣлуи, говоръ и молодой смѣхъ. Она вошла въ сопровожденіи какого-то

очень франтоватаго молодого человѣка іудейскаго происхожденія. Онъ отрекомендовался помощникомъ провизора, и Пепко поблѣднѣлъ, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть можетъ обществомъ интереснаго кавалера. Юркій еврейчикъ держалъ себя съ большой развязностью, и барышни чувствовали его своимъ человѣкомъ.

— Я его убью...—сообщилъ мнѣ Пепко по секрету.— Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослѣпленный страстью Пепко былъ несправедливъ, потому что еврейчикъ могъ сойти за очень красиваго молодого человѣка, а особенно хороши были горячіе темные глаза. Общее впечатлѣніе портила только эта спеціально провизорская юркость. Впрочемъ, Пепко скоро примирился съ своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Дѣвица Любовь держала себя съ большимъ тактомъ, и я подозрѣваю, что она явилась въ сопровожденіи своего кавалера съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, именно, чтобы подвинтить въ Пепкѣ ревнивое чувство.

Послѣ ужина послѣдовали танцы, при чемъ Пепко лѣзъ изъ кожи, чтобы затмить проклятаго провизора. Танцовалъ онъ онъ очень недурно. Потомъ слѣдовала вокальная часть,—пѣла Вѣрочка модные, только-что вышедшіе романсы: «Только станетъ смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшеръ не пѣлъ и не танцовалъ, а поэтому исполнилъ свой номеръ отдѣльно.

— Илья Самсонычъ, пожужжите, — приставала къ нему Надя.

Старикъ поломался, выпилъ залпомъ двѣ рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до

слезъ, да и всѣ остальные почувствовали себя какъ-то легче. Интендантскій хотя и не танцовалъ, но долженъ былъ изображать спящую на диванѣ болонку, что выходило тоже смѣшно. Это разнообразіе талантовъ возбудило въ Пепкѣ зависть.

— Господа, у кого есть пятиалтынный?—спрашивалъ онъ.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнулъ его двумя пальцами,—у него была страшная сила въ рукахъ. Этотъ фокусъ привелъ фельдшера въ восторгъ, и онъ расцѣловалъ подававшаго надежды молодого человѣка.

— О, вы далеко пойдете... повторялъ старикъ.

Вечеръ закончился полной побѣдой Пепки: онъ провожалъ свою Любовь и этимъ уже уничтожалъ провизора. Я никого не провожалъ, но тоже чувствовалъ себя недурно, потому что, въ передней Надя такъ крѣпко пожала мою руку и прошептала:

— Вы приходите какъ-нибудь одинъ...

Странно, что, очутившись на улицѣ, я почувствовалъ себя очень скверно. Впереди меня шелъ Пепко подъ ручку съ своею дамой и говорилъ что-то смѣшное, потому что дама смѣялась до слезъ. Мнѣ почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бѣдная старушка, если бы она знала, по какой опасной дорогѣ шелъ ея Пепко...

X.

Мои занятія шли своимъ чередомъ. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писаніе романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти разъ передѣлывать каждую главу, мѣнять планъ, вводить новыхъ лицъ, вставлять новыя описанія

и т. д. Недоставало прежде всего знанія жизни и технической опытности. Я зналъ, какъ смотритъ на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь онъ часто исчезалъ изъ дому, особенно по вечерамъ. Сначала онъ подыскивалъ какіе-нибудь предлоги для этихъ таинственныхъ путешествій, обманывая больше всего самого себя, а потомъ началъ пропадать уже безъ всякихъ предлоговъ. Я дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаю и не интересуюсь его поведеніемъ, и продолжалъ катить свой камень. У этого перваго произведенія было всего одно достоинство: оно дало привычку къ упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное — была цѣль впереди, для которой стоило поработать. Время отъ времени наступали моменты глухого отчаянія, когда я бросалъ все. Ну, какой я писатель? Вѣдь писатель долженъ быть чуткимъ человѣкомъ, впечатлительнымъ, вообще особеннымъ, а я чувствовалъ себя самымъ заурядным, среднимъ рабочимъ—и только. Я перечитывалъ русскихъ и иностранныхъ классиковъ и впадалъ въ еще большее уныніе. Какъ у нихъ все просто, хорошо, красиво и, главное, какъ легко написано, точно взялъ бы и самъ написалъ то же самое. И какъ понятно—вѣдь я то же самое думалъ и чувствовалъ, что они писали, а они умѣли угадать самыя сокровенныя движенія души, самыя тайныя мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать послѣ этихъ избранниковъ, съ которыми говорила морская волна и для которыхъ звѣздная книга была ясна...

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, безъ главъ и частей. Кажется, чего проще разбить поэму на части и главы, а между тѣмъ это представляло непреодолимыя трудности,—дѣйствующія лица

никакъ не укладывались въ предполагаемыя рамки, и самое дѣйствіе не поддавалось разчлененію. Однимъ словомъ, мнѣ приходилось писать такъ, какъ будто это былъ первый романъ въ свѣтѣ, и до меня еще никто не написалъ ничего похожаго на романъ. Дѣйствіе получалось самое запутанное, такъ что изъ каждой главы можно было сдѣлать самостоятельный романъ. А затѣмъ дѣйствующія лица такъ мало походили на живыхъ людей, начиная съ того, что рѣзко разграничивались на два разряда—собственно героевъ и мерзавцевъ по преимуществу. Это было то же, если бы въ мірѣ было всего два цвѣта—бѣлый и черный, а спектръ не существовалъ. Настоящая жизнь еще не давала красокъ. Да и какая это была жизнь: описывать свое родное гнѣздо, когда Гоголь уже навѣки описалъ югъ, описывать свою школу, студенчество, репортеровъ, Ѳедосью, Пепку, фельдшера, какъ онъ жужжитъ мухой, пухленькую Надю,—все это было такъ сѣро, заурядно, и не давало ничего. Вообще было достаточно основаній для отчаянія... Пепко былъ правъ, когда говорилъ объ отсутствіи у насъ жизни: она шла гдѣ-то тамъ, далеко внѣ поля нашего зрѣнія. Да и что можно было написать, сидя въ своей проклятой мурьѣ? Я началъ ненавидѣть свою комнату, Ѳедосью, всѣхъ квартирантовъ; это была та стѣна, которая заслоняла отъ меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, какъ утопающій хватается за соломинку.

Впрочемъ была одна область, въ которой я чувствовалъ себя до извѣстной степени сильнымъ и даже компетентнымъ: это—описаніе природы. Вѣдь я такъ ее любилъ и такъ тосковалъ по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня

въ душѣ жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лѣсъ... Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидѣлъ и почувствовалъ величайшее чудо, которое открывается каждымъ восходящимъ солнцемъ, и къ которому мы настолько привыкли, что даже не замѣчаемъ его. Вотъ указать на него, раскрыть всѣ тонкости, всю гармонію, все то, что, благодаря этой природѣ, отливается въ національныя особенности, начиная пѣсней и кончая общимъ душевнымъ тономъ. Свои описанія природы я началъ съ подражаній тѣмъ образцамъ, которые помѣщены въ христоматіяхъ, какъ образцовые. Сначала я писалъ напыщенно-риторическимъ стилемъ а la Гоголь, потомъ старательно усвоилъ себѣ манеру красивыхъ описаній à la Тургеневъ и только подъ конецъ понялъ, что и Гоголевская природа и Тургеневская обѣ не русскія, и подъ ними можетъ смѣло подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключеніями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная—у Лермонтова,—эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами. Надъ выработкой пейзажа я бился больше двухъ лѣтъ, при чемъ мнѣ много помогли русскіе художники-пейзажисты новаго реальнаго направленія. Я не пропускалъ ни одной выставки, подробно познакомился съ галлереями Эрмитажа и только здѣсь понялъ, какъ далеко ушли русскіе пейзажисты по сравненію съ литературными описаніями. Они схватили ту затаенную скромную красоту, которая навѣваетъ спеціально русскую хорошую тоску на сѣверѣ; они поняли чарующую прелесть русскаго юга, того юга, который въ концѣ концовъ подавляетъ роскошью своихъ красокъ и богатствомъ свѣтотѣни. И тамъ и тутъ

разливалась спеціально наша русская поэзія, оригинальная, мощная, безграничная и безъ конца родная... Красота, вообще, вещь слишкомъ условная, а красота типичная—величина опредѣленная. Сѣверныя сумерки и разсвѣты съ ихъ шелковымъ небомъ, молочной мглой и трепетнымъ полуосвѣщеніемъ, сѣверныя бѣлыя ночи, кровавыя зори, когда въ іюнѣ утро съ вечеромъ сходится,—все это было наше родное, отъ чего ноетъ и горитъ огнемъ русская душа; бархатныя синія южныя ночи съ золотыми звѣздами, безбрежная даль южной степи, захватывающій просторъ синяго южнаго моря—тоже наше и тоже съ оттѣнкомъ какого-то глубоко неудовлетвореннаго чувства. Блѣдная сѣверная зелень—скороспѣлка, блѣдные сѣверные цвѣтики, контрастирующая траурная окраска вѣчно зеленаго хвойнаго лѣса съ его молитвенно-строгими готическими линіями, унылая средне-русская равнина съ ея врачующимъ просторомъ, разливы могучихъ рѣкъ,—все это только служило дополненіемъ могучей южной красоты, горѣвшей тысячью яркихъ живыхъ красокъ—цвѣтовъ, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южныхъ деревьевъ. Съ какимъ удовольствіемъ я провѣрялъ свои описанія природы по лучшимъ картинамъ, сравнивалъ, исправлялъ и постепенно доходилъ до пониманія этого захватывающаго чувства природы. Мнѣ много помогло еще то, что я съ дѣтства бродилъ съ ружьемъ по степи и въ лѣсу и не одинъ десятокъ ночей провелъ подъ открытымъ небомъ на охотничьихъ привалахъ. Подъ рукой былъ необходимый живой матеріалъ, и я разрабатывалъ его съ упоеніемъ влюбленнаго, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравненію.

Работа въ газетѣ шла чередомъ. Я уже привыкъ къ ней и относился къ печатнымъ строчкамъ съ гонорарной точки зрѣнія. Во всякомъ случаѣ, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила въ кругъ новыхъ знаній и новыхъ людей. Своихъ товарищей-репортеровъ я видалъ очень рѣдко, за исключеніемъ неизмѣннаго Фрея. «Академія» по прежнему сходилась въ трактирѣ Агапыча или въ портерной. Прихожу разъ утромъ, незадолго до масляницы, съ отчетомъ въ трактиръ.

— Ихъ нѣтъ-съ...—заявилъ Агапычъ, осклабляясь.

— Какъ нѣтъ?

— Точно такъ-съ: были да всѣ вышли-съ. А промежду прочимъ вы ихъ найдете въ портерномъ заведеніи...

Я инстинктивно почувствовалъ, что случилось что-то особенное, если даже Фрей измѣнилъ насиженному мѣсту. Прихожу въ портерную и нахожу всю «академію» in corpore. Былъ на лицо даже Порфиръ Порфирычъ, пропадавшій безслѣдно въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Несмотря на ранній часъ, всѣ были уже пьяны, и даже Фрей покраснѣлъ вмѣстѣ съ шеей. Мое появленіе вызвало настоящую бурю, потому что всѣ были рады подѣлиться съ новымъ человѣкомъ новостью.

— Ау, братику! — крикнулъ Гришукъ, размахивая длинными руками.

— Не въ этомъ дѣло, юноша...—бормоталъ Порфиръ Порфирычъ, ухвативъ меня за руку.—Не въ этомъ дѣло-съ, а впрочемъ весьма наплевать...

— Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснилъ все одной фразой;

— «Наша газета» приказала долго жить... Пріостановка на три мѣсяца. Да...

— Почему? какъ?..

— А мы съ однимъ министерствомъ будировали, ну, насъ и по шапкѣ. Дрянь дѣло, вообще...

Все было ясно «и даже оченъ просто», какъ объяснилъ Порфиръ Порфирычъ, причмокивая и притопывая,— онъ былъ спеціально пьянъ по случаю закрытія газеты.

— Охъ, и меръ же я все это время, юноша,—объяснялъ онъ мнѣ, подмигивая.—Вотъ какъ меръ... Даже распухъ съ голоду. Работать не могъ, все болитъ, башка пустая—ложись и помирай. А тутъ хозяйка за квартиру требуетъ, изъ дому выйти не въ чемъ... Не въ этомъ дѣло, юноша! Ибо не подохъ, а живъ, и жива душа моя. Учись, о! юноша, житейской философіи... Напримѣръ, нѣкоторый пьяница не хотѣлъ умирать съ голоду, а посему отправился къ нѣкоторому добродѣтельному гробовщику со слезницей,—«такъ и такъ, выручай», Ну, гробовщикъ осмотрѣлъ натуру онаго пьяницы и предложилъ ему преломить хлѣбъ, а затѣмъ облекъ въ этакую подлую похоронную хламиду, далъ въ руки черный фонарь и рекъ: «Иди факельщикомъ и получай мзду, даже до двухъ двугривенныхъ».—«А какъ же вы, милостивецъ, другимъ фекельщикамъ даете по полтинѣ?»—«У другихъ натура выше, а съ тебя и сорока копеекъ достаточно». И пьяница шелъ по Невскому съ фонаремъ, скрывая свой срамъ воротникомъ... Это разъ. Второе: тотъ же гробовщикъ пожалѣлъ пьяницу и пристроилъ его въ оперу «народомъ», и пьяница ходилъ по сценѣ съ бумажной трубой, изображалъ ногами морскую бурю, ползалъ черепахой и паки и паки получалъ мзду. Да, юноша, труденъ, и тернистъ путь, а отрада обходится дорого...

Но не въ этомъ дѣло, ибо истинный мудрецъ смѣется надъ собственными несчастіями, ибо выше ихъ.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общаго тяжелаго настроенія. Положеніе во всякомъ случаѣ получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодныхъ мѣсяца. Было о чемъ подумать, тѣмъ болѣе, что всѣ жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полномъ ходу, и всѣ очутились на улицѣ. Въ другихъ газетахъ мѣста были, конечно, заняты и нечего было думать устроиться даже въ приблизительной формѣ. Главнымъ страдающимъ лицомъ отъ пріостановки изданія являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три мѣсяца, а намъ «кусать» было нечего.

— Скверно! — резюмировалъ Фрей общее положеніе дѣлъ, какъ капитанъ сѣвшаго на мель корабля. — Да... Человѣкъ, кружку!..

Не получивъ утромъ газеты, Пепко тоже прилетѣлъ въ «академію», чтобы узнать новость изъ первыхъ рукъ. Онъ былъ вообще въ скверномъ настроеніи духа и выругался за всѣхъ. Всѣ чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться. Фрей сердито кусалъ свои усы и нѣсколько разъ ударялъ кулакомъ по столу, точно хотѣлъ вышибить изъ него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добромъ.

— Молодой человѣкъ, вѣдь вамъ къ экзамену нужно готовиться? —обратился онъ ко мнѣ.—Скверно... А вотъ что: у васъ есть богатство. Да... Вы его не знаете, какъ всѣ богатые люди: *у васъ прекрасный языкъ.* Да... Если бы я могъ такъ писать, то не сидѣлъ бы здѣсь. Языку не выучишься—это даръ Божій... Да. Такъ вотъ-съ, пишете вы какой-то романъ и подохнете съ нимъ вмѣстѣ.

Я не говорю, что не пишите, а только надо злобу дня имѣть въ виду. Такъ вотъ что: попробуйте вы написать небольшой разсказецъ.

— Право, я не знаю... Ничего не выйдетъ.

— А вы попробуйте. Этакъ въ листикъ печатный что-нибудь настрочите... Если васъ смущаетъ сюжетъ, такъ возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали тамъ, у себя дома. Чтобы этакій couleur locale получился... Есть тутъ такой журналецъ, который платитъ съ убійства. Все-таки передышка, пока что...

— Попробую...

— Спасибо послѣ скажете.

Порфиръ Порфирычъ съ своей стороны давалъ совѣты Пепкѣ. Общее несчастіе еще тѣснѣе сблизило всѣхъ.

— Есть у меня нѣкоторый содержатель хора пѣвицъ,— разсказывалъ старикъ.—Онъ такой же запойный, какъ и я. Ну, въ одной трущобѣ познакомились... У него такая ужъ зараза: какъ попала вредная рюмочка—все съ себя спуститъ до тла. А человѣкъ талантливый: на музыку кладетъ цыганскіе романсы. Ну и предлагаетъ мнѣ написать романсъ и предлагаетъ по четвертаку за строку... А я двухъ стиховъ не слѣплю, тѣмъ болѣе, что тутъ особенное условіе: нужно, чтобы вездѣ удареніе приходилось на буквы *а*, *о* и *е*. Только и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое... Ну, да ты пописываешь стишки, такъ понимаешь. Дѣло отмѣнное во всякомъ случаѣ...

Пепко размыслилъ и изъявилъ согласіе познакомиться съ таинственнымъ хормейстеромъ. Онъ и не подозрѣвалъ, что этой работой предвосхищаетъ поэзію послѣдующихъ декадентовъ.

— А чортъ, все равно!—ворчалъ онъ, сердито ероша волосы.—Будемъ писать *а*, *о* и *е*.

Всѣ наперерывъ строили планы новаго образа жизни и совѣтовали другъ другу что-нибудь. Меньше всего каждый думалъ, кажется, только о самомъ себѣ. Товарищеское великодушіе выразилось въ самой яркой формѣ. Въ портерной стоялъ шумъ и говоръ.

— Ну, а вы что думаете, полковникъ? — приставали къ Фрею.

— Я? А не знаю... Впрочемъ, кажется, придется обратиться къ Спирькѣ.

— Э, да вонъ и самъ онъ, легокъ на поминѣ!

Въ портерную входилъ средняго роста улыбавшійся сѣдой старикъ купеческой складки съ какимъ-то иконописнымъ лицомъ и сизымъ носомъ.

— Про волка промолвка, а волкъ въ хату, — весело заговорилъ купецъ, здороваясь.—Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порѣшили... Ну, что же дѣлать, случается и хуже. Услыхалъ я и думаю: надо поминки устроить упокойницѣ... хе-хе!..

— Ужъ пронюхалъ, Спиридонъ Иванычъ, гдѣ жаренымъ пахнетъ?..

— Жареное-то впереди... Къ Агапычу што ли, отцы?..

Рѣшено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли изъ портерной Спирька взялъ меня подъ руку и проговорилъ:

— Пріятно познакомиться, молодой человѣкъ, а ежели что касаемо напримѣръ денегъ... Сколько вамъ нужно?..

Я отказался и даже обидѣлся. Но Пепко разъяснилъ мнѣ на лѣстницѣ:

— Денегъ предлагалъ Спирька? Не безпокойся, не дастъ... Этотъ фокусъ онъ продѣлываетъ съ каждымъ

новичкомъ, чтобы пофорсить. Вотъ по части выпивки— другое дѣло. Хоть обливайся... А денегъ не дастъ. Продувная бестія, а впрочемъ человѣкъ добрый. Выбился въ люди изъ офеней-книгоношъ, а теперь имѣетъ лавчонку съ книгами, дѣлаетъ изданія для народа и состоитъ при собственномъ капиталѣ. А сейчасъ онъ явился, чтобы воспользоваться пріостановкой газеты и устроить дешевку... Ему нужны какія-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мнѣ еще въ первый разъ приходилось видѣть въ такомъ объемѣ трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывалъ сосѣда по плечу и, когда всѣ подвыпили, устроилъ за разъ нѣсколько дѣлъ.

— Ты мнѣ, полковникъ, оборудуй романъ, да чтобы заглавіе было того, позазвонистѣе,—говорилъ Спирька.— А ужъ насчетъ цѣны будь спокоенъ... Знаешь, я не люблю впередъ цѣну ставить, не видавши товару.

— Ладно, знаю, — сумрачно отвѣчалъ полковникъ.— Опять надуешь...

— Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько онъ отъ меня хлѣба ѣдалъ... Я-то надую?.. Ахъ ты, братецъ ты мой, полковничекъ... Потомъ еще мнѣ нужно поправить два сонника и «Тайны натуры». Понимаешь? Работы всѣмъ хватитъ, а ты: надуешь. Я о васъ же хлопочу, отцы... Названіе-то есть для романа?

— Есть: «Тайны Петербурга».

— Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче съ тайнами-то: у меня ужъ есть «Тайны Мадрита», «Тайны Варшавы»... А промежду прочимъ увидимъ... хе-хе...

XI.

Спиридонъ Иванычъ Рѣдкинъ былъ типичнымъ допол-
Спирька систематически спаивалъ всю «академію».

неніемъ «академіи». Онъ являлся въ роли шакала, когда чуялъ легкую добычу, какъ въ данномъ случаѣ. Заказывая романы, повѣсти, сборники и мелкія брошюры, онъ вопросъ о гонорарѣ оставлялъ «впредь до усмотрѣнія». Когда приносили совсѣмъ готовую рукопись, Спирька чесалъ въ затылкѣ, морщился и говорилъ:

— А вѣдь мнѣ не нужно твоего романа...

— Какъ не нужно? Вѣдь вы же заказывали, Спиридонъ Иванычъ...

— Развѣ заказывалъ? Какъ будто и не упомню... Куды мнѣ съ твоимъ романомъ, когда своего хлама не могу сбыть.

Это было стереотипное вступленіе, а затѣмъ, поломавшись по положенію, Спирька говорилъ:

— Ну, ужъ для тебя только возьму... На затычку уйдетъ.

Подъ рукопись выдавался такой микроскопическій авансъ, что даже самая скромная бактерія навѣрно умерла бы съ голоду. Остальныя деньги слѣдовали «по напечатаніи» и тоже выдавались аптекарскими дозами, при чемъ Спирька любилъ платить натурой. т. е. предметами первой необходимости, какъ шуба, пальто, сапоги, и другія принадлежности костюма, при чемъ въ его пользу оставался извѣстный процентъ, по соглашенію съ лавочникомъ. Платить наличными деньгами Спирька терпѣть не могъ и вытягивалъ жилы мелкими подачками. И все-таки въ минуту жизни трудную, Спирька являлся для «академіи» якоремъ спасенія, и всѣ его любили. Вотъ по части угощенія Спирька ничего не жалѣлъ, и его появленіе служило синонимомъ дарового праздника.

Меня удивило открытіе, что Фрей пишетъ романы,—я не подозрѣвалъ за нимъ этого таланта.

— Ну, это дѣло особенное,—объяснилъ Пепко,—Фрей знаетъ три языка... Выберетъ что-нибудь изъ бульварной литературы, переставитъ имена на русскій ладъ, сдѣлаетъ кое-гдѣ урѣзки, кое-гдѣ вставки,—и романъ готовъ. За романъ въ десять листовъ онъ получитъ со Спирьки рублей семьдесятъ, а то и всѣ сто. Ничего, можно работать на голодные зубы... Все-таки хоть что-нибудь, Это не то, что мои романсы съ *а*, *о* и *е*. Вотъ подлая вещь... И какъ это въ жизни все происходитъ роковымъ образомъ: прижало человѣка къ стѣнѣ, а тутъ врагъ человѣческаго рода въ лицѣ Порфирыча и подкатится горошкомъ. На, продавай себя въ размѣнъ...

Пепко находился въ ожесточенно-мрачномъ настроеніи еще раньше закрытія «Нашей газеты». Онъ угнетенно вздыхалъ, щелкалъ пальцами, крутилъ головой и вообще обнаруживалъ несомнѣнные признаки недовольства собой. Я не спрашивалъ его о причинѣ, потому что начиналъ догадываться безъ его объясненій. Разъ вечеромъ онъ не выдержалъ и всенародно раскаялся въ своихъ прегрѣшеніяхъ.

— Т. е. такого подлеца, какъ я, кажется, еще и свѣтъ не производилъ!..—объяснялъ Пепко, ударяя себя въ грудь. Да... Помнишь эту дѣвушку съ испуганными глазами?.. Ахъ, какой я мерзавецъ, какой мерзавецъ... Она теперь въ такомъ положеніи, въ какомъ дѣвушкѣ не полагается быть.

— Что же, дѣло, кажется, очень просто: тебѣ нужно жениться...

— Жениться? А если я ея не люблю?..

— Объ этомъ слѣдовало, кажется, подумать немного раньше.

— Развѣ тутъ думаютъ, несчастный?.. Ахъ, мерзавецъ, мерзавецъ... Помнишь, я говорилъ тебѣ о роковой пропорціи между количествомъ мужчинъ и женщинъ въ Петербургѣ: предъ тобой жертва этой пропорціи. По логикѣ вещей, конечно, мнѣ слѣдуетъ жениться... Но что изъ этого можетъ произойти? Одно сплошное несчастім. Сейчасъ несчастіе временное, а тогда несчастіе на всю жизнь... Я возненавижу себя и ее. Все будетъ отравлено...

Пепко ломалъ руки и бѣгалъ по комнатѣ, какъ звѣрь, въ первый разъ попавшійся въ клѣтку. Мнѣ было и досадно за легкомысліе Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной дѣвушки съ испуганными глазами.

Пепко волновался цѣлыхъ три дня. Я дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаю, и это еще больше его смущало. Онъ видимо жаждалъ какой-нибудь искупительной жертвы за свое грѣхопаденіе, а жертвы не было. Я увѣренъ, что онъ былъ бы счастливъ. если бы кто нибудь бранилъ его, оскорблядъ, и особенно, если бы кто-нибудь былъ несправедливъ къ нему. Въ послѣднемъ случаѣ для него ивлялась бы нѣкоторая лазейка для самозащиты. Но я хранилъ упорное молчаніе, испытывая какое-то болѣзненное чувство,—пусть Пепко мучится молча и пусть онъ чувствуетъ, что до его мученій никому нѣтъ дѣла. Есть вещи, которыя творятся только съ глазу на глазъ.

— А, чортъ... повторялъ Пепко, шагая изъ угла въ уголъ.—Хоть бы нашелся мерзавецъ, который задушилъ бы меня.

Затѣмъ настроеніе Пепки вдругъ пало. Случилось это

утромъ, когда Ѳедосья подала газету. Пепко пробѣжалъ номеръ, бросилъ его на полъ и заговорилъ:

— Какія глупости, ежели разобрать...

— Что разобрать?

— Да все... Вѣдь земля еще вращается на своей оси, солнце еще свѣтитъ, слѣдовательно, нѣтъ такого положенія, изъ котораго не было бы выхода. Во-первыхъ, нужно принять во вниманіе время, которое является всеисцѣляющимъ врачомъ и затѣмъ, по итальянской пословицѣ, самымъ справедливымъ человѣкомъ. Да... Затѣмъ, я займусь спеціально самозерцаніемъ по буддійскому тетоду. Это, братъ, штука... Во мнѣ вселенная и, слѣдовательно, во мнѣ же вся правда и вся неправда цѣлаго міра; а если это во мнѣ, то я могу быть хозяиномъ того и другого. Въ-третьихъ, т. е. наконецъ, всякое настроеніе можно уравновѣсить внѣшними впечатлѣніями. Это третье является единственнымъ средствомъ, и поэтому...

Пепко поднялъ газету съ полу и прочиталъ:

— «Прощальный бенефисъ дивы... Патти уѣзжаетъ... Идетъ опера Динора. Знаменитый дуэтъ Патти и Николини». Какъ ты полагаешь относительно этого?

— Ничего я не полагаю, потому что у насъ нѣтъ ни билетовъ ни денегъ...

— Вздоръ!.. Все это вещи и понятія относительныя. У меня есть два рубля...

— У меня около этого...

— И отлично. Четыре цѣлковыхъ обезпечиваютъ вполнѣ порядочность... Сегодня же мы будемъ слушать «Динору», чортъ возьми, или ты наплюй мнѣ въ глаза. Чѣмъ мы хуже другихъ, т. е. людей, которые могутъ выбрасывать за абонементъ сотни рублей? Да, я буду

слушать Патти во что бы то ни стало, хоть бы земной шаръ раскололся на три половины, какъ говорятъ институтки.

Психологія Пепки отличалась необыкновенно быстрыми переходамъ отъ одного настроенія къ другому, что меня не только поражало, но до извѣстной степени подчиняло. Въ немъ былъ какой-то дремавшій запасъ энергіи, именно то незамѣнимое качество, когда человѣкъ подъ извѣстнымъ впечатлѣніемъ можетъ сдѣлать что угодно. Конечно, все зависѣло отъ направленія этой энергіи, какъ было и въ данномъ случаѣ.

Вечеромъ мы отправились въ Большой театръ, гдѣ играла итальянская труппа. Билетовъ у насъ не было, но мы шли съ видомъ людей, у которыхъ есть абонементъ. Прежде всего Пепко отправился въ кассу, чтобы получить билетъ,—расчетъ былъ настолько же вѣрный, какъ возращеніе съ того свѣта.

— А, чортъ...—обратился Пепко.—Идемъ въ пятый ярусъ!

Мы поднялись по безчисленнымъ лѣстницамъ къ знаменитой «коробкѣ», гдѣ изнывали счастливцы, получившіе билеты цѣной цѣлонощнаго стоянія въ цѣпи у кассы. Пепко довольно развязно обратился къ расшитому капельдинеру.

— Можно-съ...—отвѣтилъ театральный халуй, мѣряя насъ взглядомъ съ ногъ до головы.—Пять рублей съ персоны...

— За что?

— А постоять у двери... Все будетъ слышно.

У насъ было на двоихъ всего четыре рубля, и поэтому предложеніе капельдинера не могло быть осуществимо. Пепко заскрипѣлъ отъ ярости зубами, обругалъ капель-

динера, и мы быстро ретировались, во избѣжаніи дальнѣйшихъ недоразумѣній.

— А я все-таки буду въ театрѣ,—повторялъ Пепко, спускаясь по лѣстницѣ.—Вѣдь другіе будутъ же слушать. Затѣмъ, два рубля тоже что-нибудь значатъ.

Спустившись, мы остановились у подъѣзда и начали наблюдать, какъ съѣзжается избранная публика, тѣ счастливцы, у которыхъ были билеты. Большинство являлось въ собственныхъ экипажахъ. Изъ каретъ выходили разряженные дамы, офицеры, привиллегированные мужчины. Это былъ совершенно особенный міръ, который мы могли наблюдать только у подъѣзда. У нихъ были свои интересы, свои разговоры, даже свои слова.

— Ахъ, какая красавица... восхищался Пепко, наблюдая каждую даму.

— Идемъ домой, Пепко...

— Нѣтъ, я долженъ быть тамъ, въ театрѣ...

Мы простояли на подъѣздѣ съ полчаса, и только съ неба могла свалиться возможность попасть въ заколдованный кругъ. И такая возможность пришла въ лицѣ простого мужика въ нагольномъ полушубкѣ.

— Вамъ госпожу Патти желательно посмотрѣть?—заговорилъ мужикъ, обращаясь къ намъ.

— Да...

— Въ лучшемъ видѣ: полтора цѣлковыхъ съ рыла.

— У тебя есть билеты?

— Какіе тамъ билеты... Прямо на сцену проведу. Только уговоръ на берегу, а потомъ за рѣку: мы поднимемся въ пятый ярусъ, съ самой «коробкѣ»... Тамъ, значитъ, есть дверь въ стѣнѣ, я въ нее, а вы за мной. Чтобы, главное дѣло, скапельдинеры не пымали... Ужъ вы надѣйтесь на дядю Петру. Будьте, значитъ, благо-

надежны. Прямо на сцену проведу и эту самую Патти покажу вамъ, какъ вотъ сейчасъ вы на меня смотрите.

Предложеніе было болѣе чѣмъ соблазнительно, и мы покорно послѣдовали за дядей Петрой опять въ пятый ярусъ.

Второй подъемъ даже для молодыхъ ногъ на такую фатальную высоту труденъ. Но вотъ и роковой пятый ярусъ и тѣ же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сдѣлалъ намъ знакъ глазами и, какъ театральное привидѣніе, исчезъ въ стѣнѣ. Мы ринулись за нимъ, согласно уговору при чемъ Пепко чуть не пострадалъ,— его на лету ухватилъ одинъ изъ капельдинеровъ такъ, что чуть не оторвалъ рукавъ.

— А, чортъ... Чуть на языкъ не наступилъ,— ругался Пепко, шагая въ темнотѣ по узкой чердачной лѣстницѣ.

Еще одно мгновеніе, и мы на потолкѣ Большого театра, представлявшемъ собой громадный сарай, размѣромъ въ хорошій манежъ. Посрединѣ изъ широкаго отверстія воронкой шелъ свѣтъ отъ главной люстры. Нѣсколько рабочихъ толпились около этого отверстія, точно сказочные гномы.

— Теперь, братъ, шабашъ!..—заявлялъ торжествовавшій дядя Петра.—Теперь вотъ скапельдинерамъ...

Онъ показалъ рукой символически-обидную фигуру и хрипло захохоталъ. «Скапельдинеры» были посрамлены, а мы торжествовали.

— Валяй, братцы, за мной,—командовалъ дядя Петра, шагая мимо рабочихъ.—Прямо на колосники предоставлю.

Наше похожденіе принимало фантастическій характеръ, напоминая бѣгство изъ какой-нибудь средневѣковой тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощущеніе: вотъ сейчасъ подъ нашими ногами три ты-

сячи избраннѣйшей публики, тотъ «весь Петербургъ», который пользуется всевозможными привилегіями на существованіе, любезно предоставляя остальному Петербургу скорлупки безвѣстнаго существованія. Въ отверстіе спущенной люстры доносился глухой подавленный гулъ тысячной толпы,—мы точно шли по крышкѣ котла съ начинавшей уже кипѣть водой.

— Сюды!..—кричалъ дядя Петра, скрываясь въ дальнемъ концѣ потолка, гдѣ было совершенно темно.—Надѣйтесь на дядю Петру. Лѣвѣе держи...

Дальнѣйшее путешествіе приняло нѣсколько фантастическій характеръ. Мы очутились на краю какой-то пропасти. Когда глазъ нѣсколько привыкъ къ темнотѣ, можно было различить цѣлый рядъ какихъ-то балокъ и дядю Петру, перелѣзавшаго черезъ нихъ.

— Послушай, куда ты насъ ведешь? Вѣдь этакъ шею можно сломать!

— Держи направо,—слышался голосъ дяди Петра—самого его уже не было видно.

Мы ползли въ темнотѣ, цѣпляясь за какія-то бревна, доски и выступы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ приходилось въ буквальномъ смыслѣ ползти на четверенькахъ.

— А, чортъ... Колѣнку ушибъ,—ругался Пепко.

— Забирай лѣвѣе! командовалъ дядя Петра.

Наконецъ мы увидѣли сцену, т. е. слабое свѣтлое пятно, которое чуть брезжило на днѣ пропасти. Спуститься въ темнотѣ съ высоты пятаго яруса было дѣломъ не легкимъ и рискованнымъ, но молодость счастлива тѣмъ, что не разсуждаетъ въ такихъ случаяхъ. Черезъ десять минутъ головоломнаго путешествія въ темнотѣ мы, наконецъ, достигли «колосниковъ». Это было узкая галлерея, которая проходила надъ сценой сбоку. Кругомъ насъ

висѣлъ цѣлый лѣсъ декорацій, деревянные валы, которыми поднимали и опускали эти декораціи, и цѣлая сѣть веревокъ, точно на какомъ-то кораблѣ. Самая сцена была сейчасъ у насъ подъ ногами. Тамъ происходила ужасная суматоха, потому что устанавливали ученицъ и учениковъ театральнаго училища въ красивыя группы.

— Сейчасъ занавѣсъ дадутъ,—объяснялъ дядя Петра.—Вотъ онъ, Адамъ-то Адамычъ бѣгаетъ... сѣденькій... Это нашъ машинистъ. Нѣтъ, братъ, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, а вотъ когда «Царь Кандавлъ» идетъ, ну, тогда ужъ его воля, Адама Адамыча. Въ семь потовъ вгонитъ... Балеты эти проклятущіе, нѣтъ ихъ хуже.

Поднялся занавѣсъ, заигралъ оркестръ, хоръ что-то запѣлъ.

— Вотъ она, Патти, за кулисой сидитъ... платочкомъ закрывается.

Это была она, знаменитая дива... Съ высоты колосниковъ можно было видѣть маленькую женскую фигурку, кутавшуюся въ теплый платокъ. Ея появленіе на сценѣ вызвало настоящую бурю аплодисментовъ. Говорить о томъ, какъ поетъ Патти,—излишне. Особенно хороши были дуэты съ Николини. Увы! нынче ужъ такъ не поютъ...

Мы добились цѣли и прослушали всю оперу. Послѣ спектакля на безчисленные вызовы Патти исполнила знаменитаго «Соловья» и еще какіе-то номера.

— Теперь валяй за мной на сцену,—командовалъ дядя Петра.

Мы повиновались. Спускъ съ колосниковъ шелъ по винтовой желѣзной лѣстницѣ. Въ залѣ буря не смолкала. Мы шли по сценѣ, прошли къ тому мѣсту, гдѣ сидѣла

дива. Мы остановились въ двухъ шагахъ. Худенькая, смуглая, почти некрасивая женщина очень небольшого роста. Рядомъ съ ея стуломъ стоялъ представительный господинъ во фракѣ.

— Это Патти.—указывалъ дядя Петра на диву: — а это ейный мужъ... По-русски ничего не понимаютъ. А поправѣе-то господинъ Николини...

Изъ-за декоративнаго куста розъ мы съ Пепкой могли любоваться всей зрительной залой. Да, вотъ онъ, этотъ весь Петербургъ, тѣ избранники, которые наслаждаются всѣми благами жизни. Я посмотрѣлъ на Пепку,—у него было самое мрачное выраженіе, губы стиснуты, брови нахмурены. Для меня было ясно, о чемъ онъ думалъ: мы должны завоевать этотъ весь Петербургъ и прорваться въ этотъ кругъ избранниковъ и баловней судьбы. Я почему-то припомнилъ старика - фельдшера, жужжавшаго мухой, бойкаго провизора, нашу «академію», «Ѳедосьины покровы», нашихъ новыхъ знакомыхъ дѣвицъ,—все это было такъ мизерно, жалко, ничтожно... Въ душѣ шевельнулось нехорошее завистливое чувство, — это была та ржавчина, которая въѣдается въ молодое сердце...

XII.

Въ виду надвигавшихся экзаменовъ мнѣ приходилось серьезно подумать о средствахъ, чтобы обезпечить себѣ свободныхъ мѣсяца два. Я ухватился за совѣтъ Фрея, хотя при этомъ и приходилось вступить въ нѣкоторую сдѣлку съ самимъ собой, даже почти измѣнить себѣ, т.-е. измѣнить роману. Вмѣсто идейной вещи приходилось писать на заказъ, писать изъ-за куска хлѣба. Чтобы успокоить себя до нѣкоторой степени, я закончилъ вторую

часть романа и въ этомъ видѣ снесъ рукопись въ редакцію одного «толстаго» журнала. Нужно сознаться, что я испытывалъ сильное волненіе, отдавая свое дѣтище на нелицепріятный судъ редакціи. Это совершенно особенное чувство: вѣдь ничего дурного нѣтъ въ томъ, что человѣкъ сидитъ и пишетъ романъ, ничего нѣтъ дурного и въ томъ, что онъ можетъ написать неудачную вещь,—отъ неудачъ не гарантированы и опытные писатели, и всетаки являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малодушія. Я скрылъ отъ Пепки свой рѣшительный шагъ и мучился въ одиночку. Что-то будетъ... Вообще, нѣтъ ничего тяжелѣе и мучительнѣе ожиданія, а тутъ приходилось ждать цѣлый мѣсяцъ, — редакція была завалена рукописями.

—«Э, все равно!—храбрился я про себя:—не боги горшки обжигаютъ...»

Сдѣлавъ одинъ рѣшительный шагъ, я сейчасъ же отважился на другой и засѣлъ писать разсказъ по рецепту Фрея.

— Вотъ что, молодой человѣкъ, — совѣтовалъ полковникъ, интересовавшійся моей работой:—я давно болтаюсь около литературы и выработалъ свою мѣрку для каждой новой вещи. Возьмите страницу и сосчитайте, сколько разъ встрѣчаются слова: «былъ» и «который». Вѣдь въ языкѣ—весь авторъ, а эти два словечка рельефно показываютъ, какой запасъ словъ въ распоряженіи даннаго автора. Языку, конечно, нельзя выучиться, но нужно относиться къ нему съ крайней осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсменовъ называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовнаго происшествія, я приступилъ къ работѣ. Пепко опять пропа-

далъ, и я работалъ на свободѣ. Черезъ три дня рукопись была готова, и я ее понесъ въ указанный Фреемъ маленькій еженедѣльный журнальчикъ. Редакція помѣщалась на Невскомъ, въ пятомъ этажѣ. Рукописи принималъ какой-то ветхозавѣтный старецъ, очень подержанный и забитый. Помѣщеніе редакціи тоже было скромное и какое-то унылое.

— Зайдите черезъ недѣльку, — проговорилъ старецъ какимъ-то затхлымъ голосомъ.

Еще ожиданіе... Впрочемъ, терпѣть за разъ всегда легче, и недѣля прошла быстрѣе, чѣмъ я ожидалъ. Прихожу за отвѣтомъ. Старецъ узналъ меня, пригласилъ сѣсть и сказалъ:

— Иванъ Иванычъ хотѣлъ переговорить съ вами.

Иванъ Иванычъ былъ самъ редакторъ, и у меня екнуло сердце, какъ у рыбака, когда крупная рыба пошевелитъ поплавокъ. Черезъ минуту въ редакцію вошелъ высокій полный господинъ лѣтъ пятидесяти. Онъ смѣрялъ меня съ ногъ до головы, обратилъ особое вниманіе на мои высокіе сапоги и проговорилъ:

— Это вашъ разсказецъ?

— Да, мой...

— Первая вещь, если не ошибаюсь?

— Да...

— Такъ-съ...

Онъ взялъ со стола рукопись, какъ-то презрительно взвѣсилъ ее на рукѣ и проговорилъ:

— У меня матеріалу, батенька, на три года впередъ.. Да. Недавно мнѣ одна барыня принесла повѣстушку... Повѣстушка-то такъ себѣ, а вотъ названіе ядовитое: «Поцѣлуй Іуды». Какъ это вамъ нравится? Хе-хе... Вотъ такъ барыня!

Взвѣсивъ еще разъ мое произведеніе, онъ проговорилъ устало-равнодушнымъ тономъ:

— Ваша вещица... гм... Ничего, уйдетъ *на затычку;* какія ваши условія?

— Право, не знаю... Какъ хотите.

Моя беззащитность видимо тронула принципала, и онъ рѣшилъ:

— Тридцать рублей за печатный листъ...

— Хорошо.

У меня колесомъ вертѣлась въ головѣ роковая фраза: «на затычку»; я чувствовалъ, что начинаю краснѣть, и поэтому поспѣшилъ откланяться.

— Послушайте, г. Поповъ,—остановилъ меня редакторъ.—Дѣло къ празднику идетъ, вы, навѣрно, нуждаетесь въ деньгахъ, и я могу вамъ заплатить впередъ... Петръ Васильичъ, подсчитайте.

Ветхозавѣтный старецъ быстро принялся считать строки и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

— Вы студентъ? Такъ-съ... — занималъ меня Иванъ Иванычъ.—Что же, хорошее дѣло... У меня былъ одинъ товарищъ, вотъ такой же бѣднякъ, какъ и вы, а теперь на своей парѣ сѣрыхъ ѣздитъ. Кто знаетъ, вотъ сейчасъ вы въ высокихъ сапогахъ ходите, а можетъ-быть...

— Тридцать рублей-съ, — прервалъ старецъ готовившееся предсказаніе.—Ровно-съ печатный листъ...

— Выдайте деньги молодому человѣку... Да, такъ своя пара сѣрыхъ, а былъ бѣденъ, какъ Іовъ. Бываетъ...

Получивъ деньги, я выскочилъ изъ редакціи въ какомъ-то чаду. Цѣлыхъ тридцать рублей, первый настоящій литературный гонораръ,—я даже простилъ Ивану Иванычу его «на затычку». Дѣло происходило за три дня до Пасхи, когда весь Петербургъ охваченъ радост-

ной тревогой. Окна всѣхъ магазиновъ декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спѣшитъ съ разными свертками и коробками, въ самомъ воздухѣ чувствуется какая-то радость, обидная для тѣхъ, кто не можетъ принять въ ней участія даже косвеннымъ образомъ. Именно въ такомъ настроеніи я шелъ въ редакцію, а возвращался крезомъ, сжимая въ кулакѣ право на существованіе. Да здравствуетъ милый Иванъ Ивановичъ!.. Много прошло времени съ этого рѣшительнаго момента, черезъ мои руки прошло немало денегъ, но никогда онѣ не были мнѣ такъ дороги, какъ именно эти тридцать рублей. Говорятъ, что первая ласточка не дѣлаетъ весны—это глубоко несправедливо...

Съ деньгами я отправился прямо въ портерную, гдѣ и сообщилъ «академіи» о неожиданно свалившемся счастьѣ.

— Удивительно, какъ это разступился Иванъ Иванычъ,— замѣтилъ сдержанно Фрей.—Говоря между нами, онъ порядочная собачья жила... А впрочемъ, хорошо то, что хорошо кончается.

Въ качествѣ счастливчика, которому покровительствовала сама судьба, я долженъ былъ выставить «академіи» цѣлую дюжину пива. Эта жертва была принята съ благодарностью. Откуда-то явился Порфиръ Порфирычъ, слышавшій верхнимъ чутьемъ гдѣ пьютъ.

— Alea jacta est,—проговорилъ онъ. Посвящается рабъ Божій Василій во псаломщика отъ литературы... Дай Богъ нашему теляти волка поймати. А впрочемъ, не въ этомъ дѣло, юноша... Блюди, юноша, духъ правъ и сердце смиренно. Однимъ словомъ—ура!..

Мнѣ сдѣлалось даже совѣстно фигурировать въ роли

именинника, потому что другіе сидѣли безъ работы; это было черной точкой на моемъ литературномъ горизонтѣ.

Воспользовавшись нахлынувшимъ богатствомъ, я засѣлъ за свои лекціи и книги. Работа была запущена; и приходилось работать дни и ночи до головокруженія. Пепко тоже работалъ. Онъ написалъ для пробы два романса и тоже получилъ «мзду», такъ что наши дѣла были въ отличномъ положеніи.

— Продажный поэтъ... — съ горечью каралъ самого себя Пепко.—Да, продажа священнаго вдохновенія по мелочамъ... Э, все равно!..

Въ разгаръ этой работы истекъ наконецъ срокъ моего ожиданія отвѣта «толстой» редакціи. Отправился я туда съ замирающимъ сердцемъ. До нѣкоторой степени все было поставлено на карту. Въ своемъ родѣ быть или не быть... Въ редакціи «толстаго» журнала происходилъ пріемъ, и мнѣ пришлось имѣть дѣло съ самимъ редакторомъ. Это былъ худенькій подвижный старичекъ съ необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, какъ о человѣкѣ, который держитъ сотрудниковъ въ ежовыхъ рукавицахъ. Но меня онъ принялъ очень любезно.

— Читалъ, читалъ вашъ романъ... да, — заговорилъ онъ, суетливо роняя слова.—Трудно сказать что-нибудь сейчасъ... да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и разсмотримъ окончательно.

— Мнѣ хотѣлось бы знать ваше имѣніе...

— Мое мнѣніе? У васъ слишкомъ много описаній... Да, слишкомъ много. Это наша русская манера... Пишите сценами, какъ дѣлаютъ французы. Мы должны у нихъ учиться... Да, учиться. И чтобы не было этихъ предварительныхъ вступленій отъ Адама, эпизодическихъ

вставокъ, и вообще главное достоинство каждаго произведенія—его краткость. Мы работаемъ для нашего читателя и не имѣемъ права отнимать у него время напрасно.

Меня этотъ полуотвѣтъ мало удовлетворилъ, и я снесъ рукопись въ другой «толстый» журналъ, пользовавшійся репутаціей необыкновенной солидности. Черезъ двѣ недѣли его редакторъ говорилъ мнѣ:

— Главный недостатокъ вашего романа въ томъ, что слишкомъ много сценъ и мало описаній...

XIII.

— «Выставляется первая рама, и въ комнату шумъ ворвался»,—декламировалъ Пепко, выглядывая въ форточку:—«и благовѣстъ ближняго храма, и говоръ народа, и стукъ колеса»... Есть! «Вонъ даль голубая видна», т. е., въ переводѣ на прозу, заборъ. А вообще—тьфу!.. А я все-таки испытываю нѣкоторое томленіе натуры... Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатыхъ, имѣющихъ возможность переѣхать куда-нибудь въ Павловскъ, чортъ возьми!..

По обыкновенію, Пепко бравировалъ, хотя въ дѣйствительности переживалъ тревожное состояніе, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая намъ о далекой родинѣ съ особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. «Ѳедосьины покровы» казались теперь просто отвратительными, и мы искренно ненавидѣли нашу комнату, которая казалась казематомъ. Все казалось немилымъ, а тутъ еще близились экзамены, заставлявшіе просиживать дни и ночи за лекціями.

— Знаешь что? Мы сегодня будемъ дышать свѣжимъ воздухомъ,—заявилъ Пепко разъ вечеромъ съ такимъ видомъ, точно хотѣлъ выстрѣлить.—Да, будемъ дышать, и все тутъ. Судьба насъ загнала въ подлую конуру, а мы на зло ей вотъ какъ надышемся! Всю гигіену выправимъ въ лучшемъ видѣ...

— Куда же мы пойдемъ? Въ Александровскій паркъ?..

—Тоже хватилъ: въ паркъ! Нѣтъ, я на этомъ не помирюсь. Закатимъ прямо на острова... Вообще, будемъ вести себя какъ прилично порядочнымъ молодымъ людямъ. Теперь самое модное мѣсто—point на Елагиномъ; ну, туда и отправимся посмотрѣть, какъ будетъ садиться *наше* солнце, ибо сегодня оно будетъ принадлежать намъ по праву захвата и труда. Мы заработаемъ собственными ногами нашъ закатъ... Кстати, у тебя не найдется ли нѣсколько крейцеровъ на конку? Нѣтъ? Ну, наплевать... Я гдѣ-то читалъ въ газетинѣ, что теперь мода совершать прогулки пѣшкомъ; значитъ, будемъ жить по послѣдней модѣ. У меня есть священный пятачокъ, который я сберегу на бутылку квасу... Всѣ порядочные люди пьютъ изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будемъ отдуваться квасомъ принципіально. У меня въ каждомъ дѣлѣ принципъ на первомъ мѣстѣ...

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерамъ въ концѣ апрѣля имѣетъ какой то особенно задорный и бойкій видъ. Мчится цѣлая вереница щегольскихъ экипажей, летятъ кавалькады, гремятъ конки, выбиваются изъ силъ извозчичьи лошади—все движется, живетъ и торопится жить. Въ самомъ воздухѣ есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вмѣстѣ съ другими, хотя и съ мень-

шей инерціей. Важна цѣль, а средства для ея достиженія въ данномъ случаѣ имѣли совершенно условное значеніе. Пепко принялъ беззаботный видъ гуляющаго человѣка и шелъ, помахивая дешевенькой тросточкой, пріобрѣтенной въ табачномъ магазинѣ въ минуту безумной роскоши.

— Я дышу, слѣдовательно—я существую,—говорилъ онъ, когда мы шагали по Крестовскому острову.—Ахъ, какъ хорошо, Вася!.. Мы будемъ каждый день дѣлать такую прогулку. Положимъ себѣ за правило...

— Это не предусмотрѣно проспектомъ нашей жизни, Пепко.

— Къ чорту всякіе проспекты! Зачѣмъ добровольно стѣснять собственную свободу, когда и безъ того до усовъ всякой неволи? Я хочу быть вольнымъ какъ птица...

Въ доказательство этой послѣдней мысли Пепко галанто раскланялся съ двумя шикарными дамами, катившими полулежа въ шикарномъ «ландѣ». Онѣ даже не повернули головы въ нашу сторону, принявъ насъ, вѣроятно, за оборванцевъ, и быстро исчезли въ облачкѣ пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.

— Впрочемъ, онѣ имѣютъ полное право меня презирать и не отвѣчать на мой поклонъ,—резонировалъ онъ:—гусь свиньѣ не товарищъ... да. Посмотримъ, что онѣ скажутъ, когда я самъ поѣду въ собственномъ ландѣ.

— А когда это будетъ?

— Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лѣтъ и кто не наживетъ милліона до сорока лѣтъ, тотъ никогда не женится и никогда ничего не будетъ имѣть.

— Я все-таки не понимаю, для чего тебѣ именно ландо?



— Какъ для чего? А вотъ показать *имъ* всѣмъ, что и я могу ѣздить, какъ они всѣ, и что это ничего не стоитъ. Да... Вотъ я теперь иду пѣшкомъ, а тогда развалюсь такъ же, закурю этакую регалію... «Эхъ, птица тройка! Неситесь кони»... Впрочемъ, это изъ другой оперы, да и я сейчасъ еще не рѣшилъ, на чемъ остановитьтся; ландо, открытая коляска или этакого англійскаго чорта купить...

Увы! Пепко такъ и не разрѣшилъ этого мудреннаго вопроса. Его кровные рысаки носились въ области юношеской болтливости, а верхъ благополучія совпалъ съ ѣздой на самой обыкновенной извозщичьей клячѣ.

Мы долго любовались красавицей Невой. Какъ она здѣсь хороша, эта чудная рѣка, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-гдѣ рябилась, стрѣлой неслись финляндскіе пароходики, чертили воду десятки лодокъ,—однимъ словомъ, жизнь кипѣла. Деревья стояли еще голыя, и только пушились одни ивняки, да кой-гдѣ высыпала яркозеленая весенняя травка. Въ воздухѣ чувствовался смолистый горьковатый ароматъ назрѣвшихъ почекъ, особенно когда неизвѣстно откуда точно дохнетъ прямо въ лицо теплый весенній вѣтерокъ.

На point'ѣ набралось уже столько публики, что мы не нашли свободнаго мѣста на скамейкахъ. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились въ лучшемъ обществѣ, которое видѣли зимой въ итальянской оперѣ. Да, этотъ богатый, жуирующій пресыщенный Петербургъ былъ здѣсь налицо, рядомъ съ нами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ онъ былъ неизмѣримо далекъ отъ насъ! «Наше солнце» уже близилось къ го-

ризонту багровымъ раскаленнымъ шаромъ, точно невидимая руку хотѣла опустить его въ Финскій заливъ, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь манила и звала, навѣвая пріятную тоску—это былъ, такъ сказать, аппетитъ воли, простора и движенія. Въ крайнемъ случаѣ, получался контрастъ съ нашимъ заборомъ, ревниво заслонявшимъ отъ нашихъ глазъ всѣ перспективы и даже нижнюю часть неба. А какъ красиво летѣли по заливу маленькая яхточки, окрыленныя косыми парусами—настоящія птицы... Съ моря потягивало свѣжимъ воздухомъ, гдѣ-то въ камышахъ морская волна тихо сосала иловатый берегъ, на самомъ горизонтѣ тянулись дымки невидимыхъ морскихъ пароходовъ, а еще дальше чуть брезжился Кронштадтъ своими шпицами и колокольнями...

Меня удивило, что Пепко отнесся совершенно безучастно къ закату «нашего солнца», а занятъ былъ, главнымъ образомъ, разсмотрѣніемъ пуантовой «зоологіи». По крѣпко сжатымъ губамъ и нахмуреннымъ бровямъ было видно, что онъ серьезно думалъ о чемъ-то.

— Да, они живутъ...—какъ-то вздохнулъ онъ, точно просыпаясь.—И стоитъ жить, чортъ возьми!.. Жизнь хороша, если брать ее, а не поддаваться ей... И знаешь, для чего стоитъ жить?

— Для истины, добра и красоты!

— Э, вздоръ, старая эстетика!.. Вотъ для чего стоитъ жить,—проговорилъ онъ, указывая на красивую даму, полулежавушую въ коляскѣ.—Для такой женщины стоитъ жить... Вѣдь это совсѣмъ другая зоологическая разновидность, особенно по сравненію съ тѣми дамами, съ которыми намъ приходится имѣть дѣло. Это особенный міръ,

гдѣ на первомъ мѣстѣ стоитъ кровь и порода. Сравни извозчичью клячу и кровнаго рысака—такъ и тутъ.

— Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкерскій аристократизмъ, цѣль котораго—любовь аристократки.

— Нѣтъ, не то... Положимъ, я простой дворняга, но это мнѣ не мѣшаетъ чувствовать красоту вотъ такихъ гордыхъ, холодныхъ и красиво-недоступныхъ патриціанокъ. Вѣдь это высшая форма полового подбора...

— Ты это серьезно?

— Совершенно серьезно... Вѣдь это только кажется, что у нихъ такія же руки и ноги, такіе же глаза и носы, такія же слова и мысли, какъ и у насъ съ тобой. Нѣтъ, я буду жить только для того, чтобы такіе глаза смотрѣли на меня, чтобы такія руки обнимали меня, чтобы такія ножки бѣжали ко мнѣ навстрѣчу. Я не могу всего высказать и могъ бы выразить свое настроеніе только музыкой.

Пепко даже поникъ грустно головой, а потому прибавилъ совершенно другимъ тономъ:

— А знаешь, какъ образовалась эта высшая порода людей? Я объ этомъ думалъ, когда смотрѣлъ со сцены итальянскаго театра на «весь Петербургъ», вызывавшій Патти... Сколько нужно чужихъ слезъ, чтобы вотъ такая патриціанка выѣхала въ собственномъ «ландѣ», на кровныхъ рысакахъ. Зло, какъ ассигнація, потеряло всякую личную окраску, а является только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю все это и ненавижу себя, что меня чаруютъ вотъ эти патриціанки... Я ихъ люблю, хотя и издали. Я люблю себя въ нихъ...

— Вотъ что, Пепко. пойдемъ-ка домой, пока ты окончательно не зарапортовался. Я что-то плохо началъ понимать тебя...

Пепко только вздохнулъ и уныло поплелся за мной. Солнце уже давно закатилось, патриціанки разъѣхались по своимъ палаццо, а на Невѣ замигали красные огоньки сновавшихъ тамъ и сямъ пароходовъ и яликовъ. Мягкій весенній сумракъ окутывалъ голыя деревья; гдѣ-то шарахнулся сонный грачъ; непріятно-рѣзкій свистъ парахода разрѣзалъ засыпавшій воздухъ, точно ударъ бича. Мы шли долго молча, а я думалъ о томъ, какой странный человѣкъ мой другъ Пепко, это олицетвореніе всевозможныхъ противорѣчій. Послѣднимъ номеромъ въ скалѣ этихъ странностей явился апоѳеозъ патриціанства и стремленіе къ нему. Положимъ, что все это были одни разговоры, но, провѣряя себя, я не могъ скрыть, что Пепко до извѣстной степени правъ. Я думалъ о нашихъ знакомыхъ дамахъ, и это сравненіе было не въ ихъ пользу. Съ другой стороны, меня возмущала откровенность Пепки, и я спросилъ, чтобы поязвить его:

— Кстати, что твоя любовь?

— Въ какомъ смыслѣ любовь? Въ прямомъ или переносномъ?

— И въ томъ, и въ другомъ...

Пепко махнулъ рукой и засмѣялся.

— Это была просто глупость,—проговорилъ онъ.— Вѣрнѣе сказать, фальсификація...

— Однако, ты говорилъ, что эта дѣвушка...

— Т. е. это она меня увѣряла, а въ дѣйствительности ничего не оказалось. Я поставилъ уже точку...

— Кажется, даже двоеточіе?

— А, чортъ!.. Терпѣть не могу бабъ, которыя прилипаютъ, какъ пластырь. «Ахъ, охъ, я навѣки твоя»... Мнѣ достаточно подмѣтить эту черту, чтобы такая женщина опротивѣла навѣки. Развѣ такихъ женщинъ можно любить? Женщина должна быть горда своей хорошей женской гордостью. У такихъ женщинъ каждую ласку нужно завоевывать и поэтому такихъ только женщинъ и стоитъ любить.

— Да, все это патриціанская философія, а нужно спросить, что чувствуетъ та дѣвушка, которая, можетъ-быть, любитъ тебя...

— Послушай, что ты привязался ко мнѣ? Это, понимаешь, скучно... Ты идеализируешь женщинъ, а я—простой человѣкъ и на вещи смотрю просто. Что такое—любить?... Если дѣйствительно человѣкъ любитъ, то для любимаго человѣка готовъ пожертвовать всѣмъ и прежде всего своей личностью, т. е въ данномъ случаѣ во имя любви откажется отъ собственнаго чувства, если оно не получаетъ отвѣта.

— Это софизмъ и очень даже некрасивый софизмъ...

— Отстань!

Въ нашихъ голосахъ послышалось раздраженіе, и мы остальную часть пути сдѣлали молча, позабывъ даже о бутылкѣ квасу, которою долженъ былъ завершиться нашъ пикникъ. Когда мы подходили уже къ своему Симеоніевскому мосту, Пепко неожиданно заявилъ:

— А мы послѣ экзаменовъ переѣзжаемъ на дачу...

— Это очень интересно, но какъ и куда?

— Э, вздоръ!.. Свѣтъ не клиномъ сошелся.

У меня оставалось легкое раздраженіе по отношенію къ Пепкѣ, и поэтому мы опять замолчали. Это же

молчаніе мы принесли въ свою конуру, молча раздѣлись и молча улеглись спать.

— Какое прекрасное изобрѣтеніе сонъ, говорилъ Санхо-Панчо!—соннымъ голосомъ бормоталъ Пепко, поворачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

У меня вдругъ мелькнула мысль, которая разогнала охватывавшую дремому.

— Пепко, ты спишь?

— Мм... а?..

— А я не поѣду съ тобой на дачу, потому что это... это замаскированное бѣгство съ твоей стороны. Я отлично понимаю... Ты хочешь скрыться на лѣто отъ этой несчастной дѣвушки и разсчитываешь на время, которое поправитъ все.

Пепко тяжело повернулся на своей кровати и проворчалъ:

— Представь себѣ милый мой мальчикъ, что ты угадалъ... Покойной ночи, милѣйшій!..

XIV

Я мечталъ лѣтомъ пробраться въ свои степи; это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствіе: не было денегъ на поѣздку. Такимъ образомъ, мнѣ пришлось провести два ужасныхъ лѣта въ Петербургѣ, и я утѣшалъ себя только разсчетами на третье. Но—увы!—и этой мечтѣ не суждено было сбыться... Какъ разъ передъ послѣднимъ экзаменомъ я получилъ письмо отъ отца, въ которомъ было такъ много хорошихъ совѣтовъ и не было денегъ на поѣздку. Деньги, проклятыя деньги! онѣ отнимаютъ у насъ даже родное небо, родное солнце, ласки любимыхъ

людей,—однимъ словомъ, все хорошее и самое дорогое. Я очень любилъ и уважалъ отца. Это былъ простой и добрый, но строгій человѣкъ, смотрѣвшій на жизнь серьезно. «Перебейся какъ-нибудь лѣто въ Питерѣ,— писалъ онъ:—конечно, это тебѣ покажется скучнымъ, но нужно примириться... Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтаютъ попасть въ Петербургъ, чтобы посмотрѣть своими глазами на его чудеса, да такъ и остаются въ своей глуши. Пользуйся случаемъ... Кончишь курсъ, поступишь въ провинцію на службу, и еще неизвѣстно, удастся ли тебѣ въ другой разъ видѣть знаменитую столицу». Милый старикъ, какъ онъ мило ошибался... Чудеса Петербурга—верхъ наивности. Съ какой радостью я послалъ бы къ чорту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую родину.

— Ну, что пишетъ старикъ?—угрюмо спрашивалъ Пепко, не поднимая головы отъ своихъ лекцій.

— Ничего особеннаго... Кстати, ты какъ-то говорилъ о дачѣ. Если бы...

Пепко поднялъ голову, посмотрѣлъ на меня и проговорилъ съ рѣшительнымъ видомъ:

— Дача должна быть... Вѣдь живутъ же другіе люди на дачахъ, слѣдовательно, и мы должны жить.

— Все это—отвлеченныя разсужденія, Пепко.

— Разсужденія? Ты не знаешь простой истины, что человѣку только стоитъ захотѣть, и онъ все можетъ сдѣлать. Рѣшительно все... Вотъ тебѣ примѣръ: человѣка посадятъ въ тюрьму, запрутъ желѣзной дверью, поставятъ къ двери часового. Стѣны толстыя каменныя, окошко маленькое, съ желѣзной рѣшеткой, полъ каменный,—однимъ словомъ, каменный мѣшокъ. И все-таки люди уходятъ изъ тюрьмы... А почему? Потому что

умѣютъ сосредоточить свое вниманіе на одномъ пунктѣ. Сидитъ человѣкъ годъ, два, три и все думаетъ объ одномъ и уйдетъ въ концѣ концовъ, потому что у него явится такая комбинація, которая не снилась во снѣ ни архитектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, стерегущему ее, ни одному чорту на свѣтѣ. Кстати, въ этомъ вся психологія творчества,—именно, чтобы умѣть сосредоточить свое вниманіе на одной точкѣ до того, чтобы вызвать живые образы... Да, такъ это я такъ, à part. А дѣло въ томъ, что если арестанты могутъ убѣгать изъ тюремъ, то сколь проще и естественнѣе найти себѣ дачу и устроиться на ней, подобно другимъ дачнымъ человѣкамъ, Я сказалъ: дача будетъ, она должна быть....

Милый Пепко, какъ онъ иногда бывалъ остроуменъ, самъ не замѣчая этого. Въ эти моменты какого-то душевнаго просвѣтленія я такъ любилъ его, и мнѣ даже казалось, что онъ очень красивъ и что женщины должны его любить. Сколько въ немъ захватывающей энергіи, усыпанной блестками неподдѣльнаго остроумія. Во всякомъ случаѣ это былъ незаурядный человѣкъ, хотя и съ большими поправками. Много было лишняго, многаго не доставало, а въ концѣ концовъ все-таки настоящій живой человѣкъ, какихъ немного.

Да здраствуетъ весна, любовь и... и Третье Парголово!.. Недавно я былъ тамъ, почти чрезъ двадцать лѣтъ и не узналъ когда-то знакомыхъ мѣстъ. Со мной вмѣстѣ шли мои сорокъ лѣтъ, и черезъ ихъ дымку я видѣлъ только старыя лица, старыхъ знакомыхъ, давно минувшія событія, сцены, мысли и чувства, Да, я несъ съ собой воспоминанія и чувствовалъ себя пришлецомъ изъ другого міра. И никому-никому не было дѣла до

моихъ старческихъ воспоминаній... Я почувствовалъ себя чужимъ, и сорокалѣтнее сердце сжалось отъ тоски, какую нагоняетъ солнечный закатъ. Да, они уже не вернутся, эти молодыя грезы, иллюзіи, надежды, улыбки, взгляды молодыхъ глазъ, беззаботный смѣхъ, молодыя лица... Гдѣ они? Пепко правъ, что жизнь—ужасная вещь, и, бродя по нынѣшнему Третьему Парголову, я больше всего думалъ о немъ, моемъ alter ego, точно и самъ я умеръ, а смѣется, надѣется, думаетъ, любитъ и ненавидитъ кто-то другой... Да, эти другіе уже пришли на смѣну, я видѣлъ ихъ и въ ихъ глазахъ прочиталъ собственный смертный приговоръ. И они правы, потому что жизнь принадлежитъ имъ, хотя и течетъ по руслу, вырытому покойниками. Какая это ужасная мысль, что міръ управляется именно покойниками, которые заставляютъ насъ жить опредѣленнымъ образомъ, оставляютъ намъ свои правила морали, свои стремленія, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы безсильны стряхнуть съ себя это иго мертвыхъ... Вонъ, напримѣръ, дачная дѣвушка въ лѣтнемъ свѣтломъ платьѣ; какъ она счастлива своими семнадцатью годами, румянцемъ, блескомъ глазъ, счастлива мыслью, что живетъ только она одна, а другіе существуютъ только такъ, для декораціи; счастлива, наконецъ, тѣмъ, что ей еще далеко до психологіи старыхъ пней и сломанныхъ бурей деревьевъ. Милыя дѣвушки, вы убѣждены, что вамъ будетъ всегда семнадцать лѣтъ, потому что вы еще не испытали долгихъ-долгихъ безсонныхъ ночей, когда къ безсонному изголовью сходятся призраки прошлаго и когда начинаютъ точить заживо «господа черви»...

Свѣтлый весенній майскій день. Петербургская природа долго и добросовѣстно дѣлала усиліе, чтобы по-

казаться весенней. Въ результатѣ получилась улыбка больного, которому перемѣняютъ лекарство, а съ перемѣрой даютъ и нѣкоторую надежду. Но эта немного больная петербургская весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза дополняли недочеты дѣйствительности нѣкоторой игрой воображенія. Съ какимъ рѣшительнымъ видомъ ходилъ Пепко по финляндскому вокзалу, какъ развязно заглядывалъ онъ на молоденькихъ женщинъ и, наконецъ, резюмировалъ свое настроеніе:

— Знаешь что, мнѣ такъ хочется жить, что даже совѣстно... Я бы любилъ вотъ всѣхъ этихъ женщинъ, обнялъ бы всѣхъ желѣзнодорожныхъ чухонцевъ и, наконецъ, выпилъ и съѣлъ бы весь буфетъ перваго класса, т. е. что тамъ можно выпить и съѣсть. Во мнѣ какая-то безумная алчность проглотить заразъ всю огромность жизни...

Я удивляюсь одному, какъ это раньше мнѣ не пришла мысль о дачѣ. Просидѣть два лѣта въ Петербургѣ, слоняясь по паркамъ и островамъ, когда одна такая поѣздка уже чего стоитъ. Мнѣ нравился и вокзалъ, и суетившаяся на немъ публика, и чистенькіе чухонскіе вагоны. Поѣздъ летитъ, мелькаютъ какіе-то огороды, вправо остается возвышенность Лѣсного, Поклонная гора, покрытая сосновымъ лѣсомъ, а влѣво ровнемъ-гладнемъ стелется къ «синему морю» проклятое Богомъ чухонское болото. Вотъ и первыя дачи съ своимъ убогимъ кокетствомъ, чахлыми садиками и скромнымъ желаніемъ казаться безмятежнымъ пріютомъ легкаго дачнаго счастья. А мнѣ онѣ нравятся, вотъ эти дачи, кое-какъ слѣпленныя изъ барочнаго лѣса и напоминающія собой скворешницы, какъ дачники напоминаютъ

сѣворцовъ, а больше всѣхъ такими скворцами являемся мы съ Пепкой.

— Вотъ и девятая верста,—ворчитъ Пепко, когда мы остановились на Удѣльной.—Милости просимъ, пожалуйте... «Вы на чемъ изволили повихнуться? Ахъ, да, вы испанскій король Фердинандъ, у котораго украли маймисты сивую лошадь. Пожалуйте...» Гм... Всѣ тамъ будемъ, братику, и это только вопросъ времени.

Трагическое настроеніе, накатившее на Пепку, сейчасъ же смѣнилось удивительнымъ легкомысліемъ. Онъ надулъ грудь, пріосанился, закрутилъ усы, которые въ «академіи» назывались лучистой теплотой, и даже толкнулъ меня локтемъ. По «сумасшедшей» платформѣ проходила очень красивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. Пепко млѣлъ и изнывалъ при видѣ каждой «рельефпой» дамы, а тутъ съ нимъ сдѣлался чуть не столбнякъ.

— Ахъ, какая красавица!..—шепталъ онъ, набирая воздуха.—Я сейчасъ положу къ ея ножкамъ свое многогрѣшное сердце. Не поѣдемъ дальше... Ей Богу!.. Отправимся въ больницу и заявимъ, что мы дорогой сошли съ ума. Вотъ тебѣ и даровая дача... Вѣдь это одна изъ тѣхъ идей, которыя имѣютъ полное римское право называться счастливыми. Ахъ, какая дама, какая дама... Я, кажется, съѣлъ бы ее вмѣстѣ съ шляпкой и зонтикомъ! А мужъ у нея навѣрно этакій дохленькій петербургскій мерзавецъ... Знаешь, есть самый скверный сортъ мерзавцевъ: такіе чистенькіе, приличненькіе, съ тонкимъ ароматцемъ дорогихъ заграничныхъ духовъ, съ перстеньками на ручкѣ. Вотъ у нея такой мужъ... Ахъ, какая женщина!..

Пепко всегда жилъ какими-то взрывами, и мнѣ пришлось серьезно его удерживать, чтобы, чего добраго, дѣйствительно не остался въ Удѣльной.

— Ты—несчастная проза, а я наполняю весь міръ своими тремя буквами: *а*, *о* и *е!*—резюмировалъ Пепко эту сцену.—А на даму и на ея собственнаго мерзавца наплевать... Мы еще не такихъ найдемъ.

Станція Третьяго Парголова имѣла довольно мизерный видъ, какъ и сейчасъ. Мы вышли съ особенной торопливостью, какъ люди, достигшіе цѣли или по меньшей мѣрѣ отчаго дома. Пепко сдѣлалъ предварительную обсервацію дачнаго мѣста и одобрительно промычалъ. Здѣсь уже высились круглые глинистые холмы съ глубокими промоинами, а по нимъ такъ привѣтливо лѣпились крестьянскія избенки и дачки-скворешницы. Койгдѣ зелеными пятнами расплывались рѣдкіе садики. Вообще, недурно для перваго раза, а, главное, цѣлыхъ сорокъ саженъ надъ уровнемъ «синяго моря«.

— Сіе благопотребно, — рѣшилъ Пепко, шагая по узенькой тропинкѣ, взбиравшейся желтой лентой по дну одной изъ промоинъ.—Возвысимся малую толику...

Тогдашнее Третье Парголово не было такъ безобразно застроено и не заросло такъ садами, какъ нынѣшнее. Тогда былъ у него еще видъ простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелѣпой архитектуры. Главное, были еще самыя простыя деревенскія избы, напоминавшія деревню. Мы прошли деревню изъ конца въ конецъ и нашли сразу то, о чемъ даже не смѣли мечтать,—именно, наняли крошечную избушку на курьихъ ножкахъ за десять рублей за все лѣто. Это была феоменальная дешевизна даже для того времени, и мы торжествовали, не смѣя выдать даже сво-

его торжество предъ хозяиномъ дачи, здоровеннымъ мужикомъ.

— Вотъ телѣ задатокъ...—заявилъ Пепко, отдавая три рубля съ небрежностью настоящаго барина.

— Покорно благодаримъ, господинъ хорошій.

Собственно наша дача состояла изъ крошечной комнаты съ двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было и думать о такихъ удобствахъ, какъ кровать, но зато были холодныя сѣни, гдѣ можно было спасаться отъ лѣтнихъ жаровъ. Вообще, мы были довольны и лучшаго ничего не желали. Впечатлѣніе испортила только жена хозяина, которая догнала насъ на улицѣ и принялась жаловаться:

— Зачѣмъ вы отдали деньги Алексѣю? Пропьетъ онъ ихъ северодни же... А у меня двое ребятишекъ... Цѣльное лѣто вѣдь я должна съ ними биться въ хлѣву.

— Ты права, женщина, и вотъ тебѣ въ утѣшеніе еще рупь...

Это была наша первая встрѣча съ типичнымъ дачнымъ мужикомъ.

— У меня такое желаніе, точно взялъ бы да что-нибудь изломалъ,—говорилъ Пепко, когда мы направились въ Шуваловскій паркъ, чтобы провести остатокъ ins Grüne.—А все я... Видишь, какъ важна опредѣленная идея, въ данномъ случаѣ идея дачи. Викторія!.. За четыре мѣсяца мы заплатили бы Ѳедосьѣ сорокъ рублей, а тутъ всего десять. Ничего больше не остается, какъ пропить остальныя деньги. У меня цѣлыхъ десять франковъ... Въ сущности говоря, это до того безумно-огромная сумма, что ее можно привести въ норму только безумнымъ кутежомъ.

— А тебѣ не жаль Ѳедосьи, у которой наша комната останется пустой на все лѣто?

— Что же, мы должны задыхаться для ея удовольствія? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются необыкновенной живучестью, и я подозрѣваю, что они появляются на свѣтъ таинственнымъ самозарожденіемъ, какъ разная плѣсень и прочая дрянь.

Мы направились въ паркъ черезъ Второе Парголово, имѣвшее уже тогда дачный видъ. Тамъ и сямъ красовались настоящія дачи, и мы имѣли удовольствіе любоваться настоящими живыми дачниками, копавшими землю подъ клумбы, что-то тащившими и, вообще, усиленно приготовлявшимися къ встрѣчѣ настоящаго лѣта, Еще разъ, хорошо жить на бѣломъ свѣтѣ, если не богачамъ, то просто людямъ, которые завтра не рискуютъ умереть съ голода.

— Буржуа, филистеры, вообще скважыги!—ругался Пепко, почувствовавшій себя радикаломъ, благодаря нанятой лачугѣ.—Счастье жизни не въ какой-нибудь дурацкой дачѣ, а въ моемъ *я*, въ моемъ самосознаніи, въ моемъ внутреннемъ мірѣ...

Шуваловскій паркъ привелъ насъ въ нѣмой восторгъ. Настоящія деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее небо, наконецъ... Мы обошли всѣ аллеи, полюбовались видомъ съ Парнаса, отыскали нѣсколько совсѣмъ глухихъ, нетронутыхъ уголковъ и еще разъ пришли въ восторгъ. Надъ нашими головами ласково и строго шумѣли ели и сосны, мы могли ходить по зеленой травѣ, и невольно являлось то невинное чувство, которое заставляетъ выпущеннаго въ поле теленка брыкаться.

— Мнѣ этотъ паркъ напоминаетъ XVIII вѣкъ,—фантазировалъ Пепко.—Да... Если бы сюда пустить съ пол-

дюжины хотя подержанныхъ маркизовъ да, чортъ возьми, штучекъ десять маркизъ и столько же пастушекъ... Го-го! Тссъ!..

Пепко издалъ предупредительное шипѣнье. Изъ боковой аллеи прямо на насъ вывернулась влюбленная парочка. *Она* замѣтно смутилась и задержала ходъ, *онъ* явилъ примѣръ мужества и повелъ свою даму прямо на насъ: счастливые люди смѣлы. Пепко пропустилъ ихъ, оглянулся и проговорилъ:

— Благословляю васъ, mes enfants...

Мы закончили нашъ первый дачный день въ «остеріи», какъ назвалъ Пепко маленькій ресторанчикъ, пріютившійся совсѣмъ въ лѣсу. Безумный кутежъ состоялъ изъ яичницы съ ветчиной и шести бутылокъ пива. Подавала намъ какая-то очень миловидная дѣвушка въ бѣломъ передникѣ,—она получила двойное названіе — доброй лѣсной феи и ундины. Послѣднее названіе было присвоено ей, благодаря недалекому озеру.

— Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоровье!..— галантно предлагалъ Пепко тостъ.

Миловидная дѣвушка только улыбнулась, а съ ней вмѣстѣ улыбнулось и все остальное--и паркъ, и озеро, и даже наша лачуга въ Третьемъ Паргаловѣ.

XV.

Переѣздъ на дачу составлялъ дѣло одного дня. Два чемодана, двѣ подушки, два одѣяла, двѣ лампы и гитара. Наши сборы закончились комическимъ эпизодомъ: когда Ѳедосья узнала, что мы ѣдемъ на дачу, то расхохоталась до слезъ.

— Ахъ, Агаѳонъ Павлычъ, Агаѳонъ Павлычъ, пере-

станьте вы добрыхъ-то людей смѣшить!—повторяла она, хватаясь за бока.—Туда же, на дачу... ха-ха!..

— Да, на дачу, достоуважаемая...

— Курятникъ какой-нибудь наняли?

— А вотъ и не курятникъ... да-съ.

— А мебель у васъ гдѣ?.. Вы бы ломового наняли, дачники. Ха-ха.

Дѣло дошло безъ малаго до драки, такъ что я долженъ былъ удерживать Пепку. Онъ впалъ въ бѣшенство и наговорилъ Өедосьѣ дерзостей. Та, конечно, не осталась въ долгу и «надерзила» въ свою очередь.

— Если бы вы не были дамой... да, дамой, такъ я бы показалъ вамъ... да, показалъ!—задыхаясь, повторялъ Пепко.

— Туда же, аника-воинъ, распустилъ перья-то! Знаю я васъ, дачниковъ...

На мою долю выпала самая неблагодарная роль добраго генія, которую я и выполнилъ настолько добросовѣстно, что наконецъ Пепко и Өедосья распрощались самымъ трогательнымъ образомъ.

— Пріѣзжайте къ намъ чай пить... — приглашалъ успокоившійся Пепко.—Вотъ и увидите, какія дачи бываютъ.

— И то какъ-нибудь соберусь, Агаөонъ Павлычъ,— съ изысканной вѣжливостью отвѣчала Өедосья.—Конешно, мнѣ обидно, што вамъ моя квартира не угодила... Ужъ, кажется, я ли не старалась! Ну, да Богъ съ вами...

— Пріѣзжайте непремѣнно...

Экзамены были сданы, и мы переѣзжали на дачу съ легкимъ сердцемъ людей, исполнившихъ свой долгъ Скромные размѣры нашего движимаго имущества произвели невыгодное впечатлѣніе на нашего новаго хозяи-

на, который видимо усомнился въ нашей принадлежности къ кастѣ господъ. Впрочемъ, онъ успокоился, когда узналъ, что мы «скубенты». Во всякомъ случаѣ, мы потеряли въ его глазахъ по крайней мѣрѣ процентовъ на двадцать. Другое непріятное открытіе для насъ заключалось въ томъ, что подъ самыми окнами у насъ оказался городовой.

— Вотъ тебѣ и идиллія...—ворчалъ Пепко.—Дача съ городовымъ... О, проклятая цивилизація, ты меня преслѣдуешь даже на лонѣ природы!.. Я жажду невинныхъ и чистыхъ восторговъ, а тутъ вдругъ городовой.

Нанимая дачу, мы совсѣмъ не замѣтили этого блюстителя порядка, а теперь онъ будетъ торчать передъ глазами цѣлые дни. Впрочемъ, городовой оказался очень милымъ малымъ, и Пепко, проходя мимо, раскланивался съ «вѣрнымъ стражемъ отечества».

Устройство на дачѣ заняло у насъ ровно часъ времени.

— Теперь остается только выработать программу жизни на лѣто,—говорилъ Пепко, когда все кончилось.— Нельзя же безъ программы... Нужно провести опредѣленную идею и рѣшить коренной вопросъ, чему отдать преимущество: тѣлу или духу.

— Не лучше ли безъ программы, Пепко? У насъ уже былъ опытъ...

— Составимъ коммиссію, а такъ какъ tres faciunt collegiam, то пригласимъ въ предсѣдатели вѣрнаго стража отечества. Онъ несомнѣнно предпочтетъ духъ...

— Это еще вопросъ, Пепко. Сначала отдохнемъ съ недѣльку такъ, а потомъ увидимъ, что и какъ.

Первыя минуты дачной свободы даже стѣсняли насъ. Опредѣленный городской хомутъ остался тамъ, далеко,

а сейчасъ нужно было дѣлать что-то новое. Собака, сорвавшаяся съ цѣпи, переживаетъ именно такой нерѣшительный моментъ и нѣкоторое время не довѣряетъ соб ственной свободѣ.

— Что будемъ дѣлать?—спрашивалъ Пепко, отвѣчая на мой нѣмой вопросъ.—А первымъ дѣломъ отправимся гулять... Всѣ порядочные дачники гуляютъ. Надо и людей посмотрѣть и себя показать, чортъ возьми!..

Когда мы вышли изъ своей «дачи», насъ встрѣтилъ какой-то длинноносый мужикъ съ бѣлыми волосами.

— Съ пріѣздомъ, господа хорошіе...

— Спасибо.

Мужикъ взмахнулъ волосами, подмигнулъ и довольно нахально заявилъ:

— Не будетъ ли на чаекъ съ вашей милости?

— За что на чаекъ?

— А какъ же, сусѣди будемъ... Я вотъ тутъ рядомъ сейчасъ живу. У меня третій годъ Иванъ Павлычъ квартируетъ... Вотъ господинъ такъ господинъ. Ахъ, какой господинъ... Прямо говоритъ: «Васька, можешь ты мнѣ соотвѣтствовать»? Завсегда могу, Иванъ Павлычъ... Ужъ Васька потрафитъ, Васька все можетъ сруководствовать. Не будетъ ли на чаекъ съ вашей милости?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрилл и выдалъ дачному оголтѣлому мужику цѣлый двугривенный. Васька зажалъ монету въ кулакѣ и помчался черезъ дорогу прямо въ кабакъ. Онъ былъ въ одной рубахѣ и портахъ, безъ шапки и сапогъ. Бывшій свидѣтелемъ этой сцены городовой неодобрительно покачалъ только головой и передернулъ плечи. Этотъ двугривенный послужилъ впослѣдствіи источникомъ многихъ непріят-

ностей, потому что Васька началъ просто одолѣвать насъ. Однимъ словомъ, Пепко допустилъ безтактность.

Наступилъ уже вечеръ, мягкій и теплый. Откуда-то такъ и несло ароматомъ распускавшейся зелени и свѣжей травы. Казавшіяся днемъ пустыми, теперь всѣ дачи оживились. Этому способствовали вернувшіеся изъ города со службы дачные «отцы». На импровизованныхъ террасахъ, въ которыя превращались крыльца деревенскихъ избъ, расположились оживленныя группы. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ являлся самоваръ. Желавшія насладиться природой en plein air пили чай прямо въ садикахъ. Вся жизнь была на виду, и это придавало дачному кочевью совершенно особенный колоритъ. Долженъ сознаться, что эта мирная картина произвела на меня очень сильное впечатлѣніе. Чѣмъ-то такимъ добродушнымъ, домашнимъ вѣяло отъ этой дачной простоты. Петербургскій чиновникъ превращался въ дачника, т. е. въ совершенно другое существо, точно онъ вмѣстѣ съ вицмундиромъ снималъ съ себя и петербургскую дѣловитость. На петербургскія дачи вообще много ходитъ совершенно напрасныхъ нареканій. Право, онѣ не такъ ужъ дурны, какъ могутъ показаться на первый разъ. Я говорю спеціально о маленькихъ дачахъ, въ которыхъ находятъ себѣ лѣтній пріютъ небогатые люди. Да, великолѣпіе не особенно велико,—подъ носомъ пыльное шоссе, садики еще всѣ въ будущемъ,—но, право, недурно отдохнуть вотъ именно въ такой дачѣ, особенно у кого есть маленькія дѣти. Тамъ и сямъ свѣтлыми пятнами выдѣлялись платья молоденькихъ дачницъ. Такія же платья гуляли мимо дачъ, и Пепко уже нѣсколько разъ толкнулъ меня локтемъ, отмѣчая этимъ движеніемъ смазливыя личики. Попались двѣ-три совсѣмъ хорошенькихъ.

— Что же, жить еще можно,—говорилъ Пепко, закручивая усъ. — Замѣтилъ блондинку въ барежевомъ платьѣ? Ничего, не вредная дѣвица...

Мысль о женщинахъ теперь неотступно преслѣдовала Пепку, являясь его больнымъ мѣстомъ. Мнѣ начинало не нравиться это исключительное направленіе пепкиныхъ помысловъ, и я не поддерживалъ его восторговъ.

Мы сдѣлали самый подробный обзоръ всего Парголова и имѣли случай видѣть цѣлый рядъ сценъ дачной жизни. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ винтили, на одной дачѣ слышались звуки рояли и доносился пѣвшій женскій голосъ, на самомъ краю составилась партія въ рюхи, при чемъ играли гимназисты, два интендантскихъ чиновника и діаконъ. У Пепки чесались руки принять участіе въ послѣднемъ невинномъ удовольствіи, но онъ не рѣшился быть навязчивымъ.

— Что же, отлично,—говорилъ Пепко.—А главное, все такъ просто: барышня распѣваетъ чувствительные романсы, папахенъ винтитъ, мутерхенъ пьетъ чай, а діаконъ играетъ въ рюхи.

Движимые любопытствомъ, мы даже зашли въ мелочную лавочку и купили папиросъ. Пепко познакомился съ лавочникомъ и узналъ, что поетъ дочь какого-то нѣмца-аптекаря.

— Ну, я нѣмокъ не люблю, ваше степенство, хотя и среди нихъ попадаются аппетитные шмандкухены...

Когда мы возвращались домой, Пепко сдѣлалъ непріятное открытіе.

— Отлично было бы теперь чайку напиться, братику, только вотъ самовара у насъ съ тобой нѣтъ... Да и вообще, гдѣ мы будемъ утолять голодъ и жажду?

Вопросъ былъ тѣмъ серьезнѣе, что раньше мы о немъ какъ-то не подумали. Все наше хозяйство заключалось въ гитарѣ.

— Постой, эврика...—думалъ вслухъ Пепко.—Видѣлъ давеча вывѣску: ресторанъ «Роза»? Очевидно, сама судьба позаботилась о насъ... Идемъ. Я жажду...

Ресторанъ «Роза» занималъ мѣсто въ самомъ центрѣ. При ресторанѣ былъ недурной садикъ съ отдѣльными деревянными будочками. Даже былъ бильярдъ и порядочная общая зала съ эстрадой. Вообще, полное трактирное великолѣпіе, подкрашенное дачной обстановкой. Въ садикѣ пахло акаціями и распускавшимися сиренями.

— Бутылку пива!.. — командовалъ Пепко тономъ трактирнаго завсегдатая.

«Человѣкъ» молча сдѣлалъ налѣво кругомъ и, взмахнувъ салфеткой, удалился. Существованіе этого дачнаго ресторана навело меня на грустныя размышленія. Опять трактиръ и трактирная жизнь... Почему-то мнѣ сдѣлалось грустно. Зато Пепко торжествовалъ. Онъ чувствовалъ, себя какъ рыба въ водѣ. Выпивъ бутылку пива, онъ впалъ въ блаженное состояніе.

— А, право, недурно,—говорилъ Пепко:—и садикъ, и фонарики, и акаціи...

Эти мысли вслухъ были прерваны появленіемъ двухъ особъ. Это были женщины на пути къ подозрѣнію. Онѣ появились точно изъ-подъ земли. Подведенные глаза, увядшія лица, убогая роскошь нарядовъ говорили въ ихъ пользу. Пепко взглянулъ вопросительно на меня и издалъ «неопредѣленный звукъ», какъ говорится въ излюбленныхъ имъ женскихъ романахъ.

— Що се таке?—спросилъ онъ почему-то на хохлацкомъ жаргонѣ.—Во всякомъ случаѣ это интересно...

Становилось уже темно, и садъ освѣтился разноцвѣтными фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая на насъ никакого вниманія. Пепко прошелъ по аллеѣ, чтобы встрѣтиться съ ними—опять никакого вниманія.

— Что онѣ тутъ дѣлаютъ? Что онѣ такое сами по себѣ, наконецъ?.. Меня этотъ женскій вопросъ интересуетъ...

Мы отправились въ залъ и тамъ встрѣтили еще нѣсколько такихъ же подозрительныхъ дамъ, разгуливавшихъ парочками. У одного столика сидѣлъ,—вѣрнѣе, лежалъ,—какой-то подозрительный мужчина. Онъ уронилъ голову на столъ и спалъ въ самой неудобной позѣ.

— Ба! да вѣдь это Карлуша, Карлъ Иванычъ Гаммъ,—изумился Пепко, разводя руками.—Вотъ такъ штука! А это—его хоръ, другими словами—олицетвореніе моихъ кормилицъ буквъ: *а*, *о* и *е*.

Пепко безъ церемоніи растолкалъ спавшаго хормейстера, который съ трудомъ поднялъ отяжелѣвшую голову и долго не могъ придти въ себя.

— Румочку водки...—проговорилъ онъ, наконецъ.

— Что вы тутъ дѣлаете, мейнъ герръ?

— Доннеръ веттеръ, я ничего не дѣлай... Доннеръ веттеръ, всего одна румочка водки, герръ Попъ.

— А зельтерской хотите, Карлъ Иванычъ?

— Швамдрюберъ... Я честный человѣкъ и не хочу зельтеръ.

Видимо Карлъ Иванычъ находился въ послѣднемъ періодѣ жесточайшаго запоя и ничего не могъ понять, кромѣ своей «эйнъ румочки».

— Милѣйшій нѣмецъ этотъ Карлъ Иванычъ,—объяснилъ Пепко, оставивъ въ покоѣ хромейстера.—Только

ужасно пьетъ... И талантливый человѣкъ при этомъ. Хоръ принадлежитъ его женѣ, т. е. даже не женѣ, а какому-то третьему подставному лицу. Чортъ ихъ разберетъ... Кстати, я еще не слыхалъ, какъ исполняются на сценѣ мои сладкіе звуки. Интересно во всякомъ случаѣ... Однимъ словомъ, сюрпризъ. Вотъ тебѣ и дача и невинныя забавы дѣтства. Я могу про себя воскликнуть словами Карамзина: «Бѣдная Лиза, гдѣ твоя невинность»... Гм... да... вообще... Однимъ словомъ, свинство. Я это уже чувствую...

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка подтвердила послѣднюю мысль Пепки своей очаровательной улыбкой.

— Другъ, я погибаю...—трагически прошепталъ Пепко, порываясь итти за ней.—О, ты, которая цвѣтка весенняго свѣжѣй и которой черныхъ глазъ глубина превратила меня въ чернила... «Гафизъ убитъ, а что его сгубило? Дитя, свой черный глазъ бы ты спросила»... Я теперь въ положеніи священной римской имперіи, которая мало-по-малу, не вдругъ, постепенно, шагъ за шагомъ падала, падала и, наконецъ, совсѣмъ разрушилась. О, моя юность, о, мое неопытное сердце...

Къ моему удивленію, Карлъ Иванычъ не дольше какъ черезъ часъ сидѣлъ за роялемъ и аккомпанировалъ своему хору. Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солисткой. Мы съ Пепкой представляли собой «благородную публику». Показались въ дверяхъ залы двѣ фуражки съ краснымъ околышемъ и скрылись. Очевидно, дачная публика стѣснялась.

— Браво!—кричалъ Пепко, аплодируя хору.—Да, мы должны поощрять искусство... Человѣкъ, бутылку пива!

Послѣдующія событія нашего перваго дачнаго дня были подернуты дымкой. За нашимъ столикомъ оказались и Карлъ Иванычъ, и очаровательная солистка, и какой-то чахоточный басъ.

— Меня зовутъ Мелюдэ,—рекомендовалась красавица.

Когда я проснулся на слѣдующій день, на полу нашей дачи врастяжку спалъ Карлъ Иванычъ Гаммъ. Пепко спалъ совсѣмъ одѣтый на лавкѣ, подложивъ связку лекцій вмѣсто подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыдно, и гадко, и хотѣлось убѣжать отъ самого себя.

Черезъ полчаса происходила такая трогательная сцена.

— Эй, ты, погибшее, но милое созданіе! — будилъ Пепко гостя.—Вставай, нѣмецъ...

— Доннеръ веттеръ... румочку...

Когда Карлъ Иванычъ сѣлъ, Пепко подошелъ къ нему, присѣлъ на корточки и проговорилъ:

— Послушай, Карлуша, ты—одна добрая, хорошая, нѣмецкая свинья, а я—просто русская свинья. Вмѣстѣ мы составляемъ свинство.

XVI.

Въ теченіе какой - нибудь недѣли мы совершенно «опредѣлились», какъ дачники. Мы уже приспособились къ новымъ условіямъ существованія и сдѣлались нераздѣльной, живой, органической частью дачнаго цѣлаго. Когда мы съ Пепкой гуляли, дачныя барышни смотрѣли на насъ съ чувствомъ собственности. «Наши тронулись», какъ говорилъ Пепко про другихъ дачниковъ. Благодаря нѣкоторымъ вольностямъ дачнаго существованія, мы знали всю подноготную не только нашихъ сосѣдей, но

и всѣхъ вообще: кто и гдѣ служитъ, сколько членовъ семьи, какой порядокъ жизни, даже какія добродѣтели и недостатки. Пепко завелъ послужной списокъ дачныхъ дѣвицъ и выставлялъ имъ баллы въ поведеніи.

— Интересно, что изъ этого выйдетъ къ осени,— соображалъ онъ, дѣлая въ умѣ какія-то таинственныя математическія комбинаціи.—Аптекарской дочери я уже поставилъ четыре въ поведеніи, потому что она на вокзалѣ дѣлала глазки тятенькину провизору... Не полагается это одной доброй дочери... Вотъ не знаю, какъ быть съ одной жидовочкой... Общая мѣрка не годится, потому что нужно принять во вниманіе темпераментъ. расу и термометръ Реомюра. Я замѣтилъ, что главное вліяніе на нее оказываетъ именно температура: при двѣнадцати градусахъ тепла она скромна, при пятнадцати градусахъ являются признаки смутнаго дѣвичьяго безпокойства, при восемнадцати она сама смотритъ на мужчинъ. Интересно, что съ ней будетъ при температурѣ въ тридцать градусовъ? Я сильно опасаюсь, что она въ іюлѣ бросится на шею первому чухонцу... Да, цифры безжалостны.

У насъ быстро сформировались свои дачныя привычки. Я, напримѣръ, любилъ вставать очень рано и отправлялся гулять. Это былъ интересный моментъ. Всѣ дачи еще спали. Исключеніе представляла дачная дѣтвора, которую въ это время кормили и поили мамки, бонны и няньки. Молодое дачное поколѣніе пользовалось въ эти часы неограниченной свободой дѣйствія и костюмовъ. Мамаши еще спали, а малыя дѣти не превращались еще въ жертвы нарядныхъ дѣтскихъ костюмчиковъ. Эта трагическая метаморфоза происходила только часамъ къ двѣнадцати, когда маленькіе мученики и мученицы по-

казывались во всеоружіи бѣлыхъ передниковъ, лѣтнихъ платьицъ и дальнѣйшихъ подробностей, каковыя не полагалось пачкать, мять и рвать.

А какъ хорошо было раннимъ утромъ въ паркѣ, гдѣ такъ и обдавало застоявшимся смолистымъ ароматомъ и ночной свѣжестью. Обыкновенно, я по цѣлымъ часамъ бродилъ по аллеямъ совершенно одинъ и на свободѣ обдумывалъ свой безконечный романъ. Я не могъ не удивляться, что дачники самое лучшее время дня просыпали самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Только разъ я встрѣтилъ Карла Иваныча, который наслаждался природой въ одиночествѣ, какъ и я. Онъ находился въ періодѣ выздоровленія и поэтому выглядѣлъ философски-уныло.

— Какъ поживаете, Карлъ Иванычъ?

— А благодаримъ къ вамъ: очень карошо. А гдѣ герръ Попъ? Безсовѣстельникъ, просыпываетъ лучшую дню...

Я возвращался домой только къ чаю, который устраивала мнѣ старуха, мать Алексѣя. Мы пользовались хозяйскимъ самоваромъ на условіи «сколько положите». Пепко спалъ въ сѣняхъ и просыпался только къ десяти часамъ, поэтому мнѣ приходилось наслаждаться одному. Я открывалъ окно и дѣлался свидѣтелемъ все одной и той же сцены. Напротивъ насъ была большая дача, населенная многочисленнымъ нѣмецкимъ семействомъ. Въ этотъ часъ утра, пока еще всѣ спали, родоначальница нѣмецкаго гнѣзда, очень почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и садилась на скамью. Она дѣлала это методически, съ нѣмецкой аккуратностью, и цѣлый часъ оставалась неподвижной, какъ статуя, наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе кати-

лись чухонскія таратайки, мимо дачъ сновали булочники, разносчики, медленно проѣзжалъ отъ дачи къ дачѣ мясникъ, летѣли на всѣхъ парахъ въ мелочную лавочку развязныя дачныя горничныя и кухарки. Однимъ словомъ, дачная жизнь закипала. Вѣроятно, старухѣ-нѣмкѣ былъ прописанъ свѣжій воздухъ, и она дышала самымъ добросовѣстнымъ образомъ опредѣленное количество времени, какъ было предписано. Это скромное занятіе обыкновенно нарушалось появленіемъ дачнаго мужика Васьки. Онъ вывертывался откуда-то изъ-за угла, выходилъ на шоссе, оглядывался и начиналъ монологъ приблизительно въ такой формѣ:

— Дачники... ххе!.. А наплевать, вотъ тебѣ и дачники!.. Выйдетъ какая-нибудь нѣмецкая кикимора, одѣнетъ на себя банты да фанты и сидитъ идоломъ... тьфу!.. Вотъ взялъ бы да своими руками удавилъ... Сидѣла бы въ городѣ, а туда же, на дачи тащится!

Васька принималъ угрожающе-свирѣпый видъ. Вѣроятно, съ похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-нибудь помѣстить накипѣвшую пьяную злость, и Васька начиналъ травить нѣмецкую бабушку. Отставивъ одну ногу впередъ, Васька визгливымъ голосомъ неожиданно выкрикивалъ самое неприличное ругательство, отъ котораго у бѣдной нѣмки встряхивались всѣ бантики на безукоризненно бѣломъ чепцѣ.

— Дачники... Да я васъ всѣхъ распатроню!.. Зачѣмъ сюда наѣхали? Какія такія особенныя дѣла?..

Опять ругательство, и опять ленты нѣмецкаго чепца возмущаются. Ваську бѣситъ то, что нѣмка продолжаетъ сидѣть, не то что русская барыня, которая сейчасъ бы убѣжала и даже дверь за собой затворила бы на крючокъ. Васькѣ остается только выдерживать характеръ, и

онъ начинаетъ ругаться залпами, не обращаясь въ частности ни къ кому, а такъ, въ пространство, какъ лаетъ песъ. Крахмальный чепчикъ въ тактъ этихъ залповъ вздрагиваетъ какъ осиновый листъ, и Ваську это еще больше злитъ.

Я два раза дѣлалъ попытку прекратить это безобразіе, но добился какъ разъ обратныхъ результатовъ. Васька только ждалъ реплики и обрушилъ все негодованіе на меня.

— Вотъ я ужо доберусь до васъ, скубенты... Произведу въ лучшемъ видѣ. Вотъ какъ расчешу... да.

Нашимъ спасителемъ явился городовой, который выходилъ на свой постъ къ восьми часамъ. Завидѣвъ вѣрнаго стража отечества, Васька удиралъ куда-то за уголъ и уже изъ-подъ прикрытія посылалъ по нашему адресу нѣсколько заключительныхъ проклятій. Городовой дѣлалъ видъ, что гонится за нимъ, и наступалъ желанный миръ. Одинъ разъ, впрочемъ, Васька, попался какъ куръ во щи. Ему пришла дикая фантазія забраться на крышу своей избушки и оттуда громить дачниковъ. Городовой воспользовался этимъ обстоятельствомъ и устроилъ форменную осаду при помощи старосты и четырехъ мужиковъ.

— Слѣзай-ка, Вася, будетъ тебѣ баловать,—уговаривалъ городовой.

— А ты кто есть таковъ человѣкъ? ревѣлъ Васька съ крыши.—Да я изъ тебя лучину нащеплю... Ну-ка, полѣзай сюда, оболдуй!..

— Въ самомъ дѣлѣ, Васька, слѣзай...—усовѣщивалъ староста, хмурый и важный мужикъ.—Будетъ тебѣ фигуры-то показывать, а то вѣдь мы и того...

— Въ карцъ поведете?—сомнѣвался Васька.—Посидите-ка сами въ карцу... Покорно благодарю.

— Будетъ тебѣ, шалая голова. Сказано—слѣзай...

Начались формальные переговоры, при чемъ Васька выговорилъ себѣ свободное отступленіе. Но только онъ слѣзъ съ крыши, какъ непріятель нарушилъ всѣ условія,—и староста и городовой точно впились въ Ваську и нещадно поволокли въ карцъ.

— Это таки не модель!..—оралъ Васька, упираясь.— По какому такому закону живого человѣка по шеѣ?

Подвиги Васьки, вообще, нарушали весь мирный строй дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурилъ» его таинственный жилецъ, какой-то Иванъ Павлычъ. Разъ ночью они вдвоемъ напугали всю улицу. Мы уже ложились съ Пепкой спать, когда послышалось похоронное пѣніе.

Но дачникъ умеръ бы у себя на дачѣ, а пѣніе доносилось съ улицы. Мы одѣлись и попали къ мѣсту дѣйствія одними изъ первыхъ. Прямо на шоссе, въ пыли, лежалъ Васька, скрестивъ по-покойницки руки на груди. Надъ нимъ стоялъ какой-то средняго роста господинъ въ военномъ мундирѣ и хриплымъ басомъ читалъ:

— О бла-женн-номъ ус-пе-ніи вѣч-ный по-кой по-да-а-ждь, Господи... Вновь представленному рабу Твоему Василію... И сотвори ему вѣ-е-ечную па-а-мять!..

— Господинъ, такъ невозможно,— уговаривалъ городовой,—Иванъ Павлычъ, невозможно-съ... Помилуйте, этакое, можно сказать, безобразіе. Васька, вставай... Вотъ я тебя, кудлатаго, какъ начну обихаживать. Иванъ Павлычъ, голубчикъ, терпленья нѣтъ.

— Па-азвольте...—азартно отвѣчалъ Иванъ Павлычъ,

наступая на городового.—А ежели онъ, Васька, хочетъ принять христіанскую кончину? Невозможно?

— Иванъ Павлычъ, то-есть никакъ невозможно... Васька, вставай!

Произошла цѣлая исторія. Сбѣжались дачники и приняли участіе. Кто-то уговорилъ Ивана Павлыча уйти въ ресторанъ, а Васька попалъ въ руки городового. Онъ защищался отчаянно, пока не обезсилѣлъ.

— Н-на, получай...—хрипѣлъ Васька, отдавая свою особу въ руки правосудія.—Только не подавись, смотри.

— Ты у меня разговаривать, идолъ?

— А ты зачѣмъ по скулѣ?... Разѣ это порядокъ? Да я тебя...

За вычетомъ этихъ маленькихъ неудобствъ, какъ озорничество дачнаго мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо и мирнъ. Удобства для наблюедвія этой жизни были на каждомъ шагу, и я любилъ бродить около дачъ, особенно въ дальнихъ уголкахъ, какъ деревушки Кабаловка и Заманиловка. Тамъ были такія милыя дачки, прятавшіяся въ лѣсу. И, должно быть, тамъ жилось хорошо. По крайней мѣрѣ, мнѣ такъ казалось... Я часто встрѣчалъ импровизированныя кавалькады, возвращеніе съ веселыхъ пикниковъ, просто прогулки и втайнѣ завидовалъ этимъ счастливымъ людямъ, особенно сравнивая свое собственное положеніе. Оставшаяся въ Петербургѣ «академія» и наши знакомыя швеи здѣсь замѣнились пьяницей-нѣмцемъ и хористками, — обмѣнъ не особенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная жажда жизни, и я презиралъ обстановку и людей, среди которыхъ приходилось вращаться. Въ самомъ дѣлѣ, что это за жизнь и что за люди—стыдно сказать. А время проходитъ, тѣ лучшіе годы, о которыхъ гово-

ритъ поэтъ. Отъ природы я былъ всегда склоненъ къ мечтательности, а здѣсь для этихъ упражненій матеріалъ представлялся кругомъ. Я ставилъ себя въ разныя геройскія положенія, создавалъ цѣлыя сцены и романы и даже удивлялся своей собственной находчивости, остроумію и непобѣдимости. Природная скромность и застѣнчивость смѣнялись противоположными качествами. О, я хотѣлъ жить за всѣхъ, чтобы все испытать и все перечувствовать. Вѣдь такъ мало одной своей жизни, да и та проходитъ чортъ знаетъ какъ. Очень незавидное существованіе бѣдняка-студента, заброшеннаго среди чужихъ людей. Можно было, конечно, познакомиться съ приличнымъ обществомъ, но тутъ являлось неразрѣшимое препятствіе: не было подходящаго костюма, а появиться гдѣ-нибудь въ звѣриномъ образѣ—смѣшно. Оставалось продолжать роль «оригинала», которая дѣлалась тяжелой именно теперь, когда просто хотѣлось жить, какъ жили всѣ другіе не оригиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяніе. Вѣдь вся жизнь такъ пройдетъ, межъ пальцевъ, все только будешь собираться жить и думать, что настоящее гнусное положеніе положеніе только пока, такъ, а завтра начнется уже суть жизни. Я зналъ, какъ много людей изживаютъ всю жизнь съ этой дешевенькой философіей и получаютъ счастливыя завтра только тамъ, послѣ смерти. Вѣдь такъ страшно жить, наконецъ, да и не стоитъ. За этимъ унылымъ настроеніемъ наступала реакція, и я говорилъ себѣ: «Нѣтъ, постойте, я еще буду жить и добьюсь своего... Всѣ вы, которые сейчасъ наслаждаетесь жизнью въ полную мѣру, будете мнѣ завидовать... Да... да и еще разъ да!» Основаніемъ для такихъ гордыхъ мыслей служилъ мой романъ: вотъ на-

пишу, и тогда вы узнаете, какой есть человѣкъ Василій Поповъ... Средство было самое вѣрное, а остальное—вопросъ времени. Мое мечтательное настроеніе переходило почти въ галлюцинаціи, до того я видѣлъ себя тѣмъ другимъ человѣкомъ, котораго такъ упорно не хотѣли замѣчать другіе. Наша дачная лачуга и общій складъ существованія заставляли думать объ иной жизни.

Кстати, Пепко началъ пропадать въ «Розѣ» и часто возвращался подъ хмелькомъ въ обществѣ Карла Иваныча. Нѣмецъ отличался голубиной незлобивостью и никому не мѣшалъ. У него была удивительная черта: музыку онъ писалъ по утрамъ, именно съ похмелья, точно хотѣлъ въ мірѣ звуковъ получать просвѣтлѣніе и очищенное. Стихи Пепки аранжировались иногда очень удачно, и нѣмецъ говорилъ съ гордостью, ударяя себя кулакомъ въ грудь:

— О, это большой человѣкъ писалъ... Настоящій большой!.. А маленькій человѣкъ—пьяница...

Разъ Пепко вернулся изъ «Розы» мрачнѣе ночи и улегся спать съ жестикуляціей самоубійцы. Я, по обыкновенію, не разспрашивалъ его, въ чемъ дѣло, потому что утромъ онъ самъ все разскажетъ. Дѣйствительно, на другой день за утреннимъ чаемъ онъ раскрылъ свою душу, продолжая оставаться самоубійцей.

— Поздравляю: къ намъ переѣзжаютъ Вѣрочка и Наденька...

— Куда къ намъ?

— А сюда въ Парголово... Ты, конечно, будешь радъ, потому что ухаживалъ за этой индюшкой Наденькой. А, чортъ...

— Гдѣ ты ихъ встрѣтилъ?

— Да въ «Розѣ»... Сижу съ нѣмцевъ за столикомъ, пью пиво, и вдругъ вваливается этотъ старый дуракъ, который жужжалъ тогда мухой, а подъ ручку съ нимъ Вѣрочка и Наденька. Однимъ словомъ, семейная радость... «Ахъ, какой сюрпризъ, Агаѳонъ Павлычъ! Какъ мы рады васъ видѣть... А вы совсѣмъ безсовѣстный человѣкъ: даже не пришли проститься передъ отъѣздомъ». Тьфу!..

— Я не понимаю, чѣмъ онѣ тебѣ мѣшаютъ?—удивился я, хотя и понималъ истинную причину его недовольства: онъ боялся, что появится въ pendant дѣвица Любовь.

— А, чортъ...—ругался Пепко. — Вѣдь пришла же фантазія этимъ дуракамъ нанять дачу именно въ Парголовѣ, точно не стало другихъ мѣстъ. Ужъ именно чортовы куклы... Тьфу!..

Пепко волновался цѣлый день и съ горя напился жесточайшимъ образомъ. Его скромное исчезновеніе изъ Петербурга уже не было тайной...

XVII.

Я продолжалъ мечтать, пополняя недочеты и прорѣхи дѣйствительности игрой воображенія. Мое настроеніе принимало болѣзненный характеръ, граничившій съ помѣшательствомъ. Мысль о послѣднемъ приходила мнѣ не разъ, и чтобы провѣрить себя, я сообщалъ свои мечты Пепкѣ. Нужно отдать полную справедливость моему другу, который обладалъ одной изъ величайшихъ добродѣтелей, именно—умѣньемъ слушать.

— Такъ жить нельзя, Пепко, какъ мы живемъ... Это— жалкое прозябаніе, нищета, несчастье. Возьмемъ хоть

твой «женскій вопросъ»... Ты такъ легко къ нему относишься, а между тѣмъ здѣсь похоронена цѣлая трагедія. Въ извѣстномъ возрастѣ мужчина испытываетъ мучительную потребность въ любви и реализуетъ ее въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ самымъ неудачнымъ образомъ. Взять, напримѣръ, хоть тебя...

— Ну, меня-то можно оставить въ покоѣ.

— Нѣтъ, просто какъ примѣръ. Вѣдь ты любишь женщинъ?

— О!..

— А между тѣмъ это только иллюзія. Разбери свое поведеніе и свои отношенія къ женщинамъ. Ты размѣниваешься на мелкую монету и удовлетворяешься болѣе или менѣе печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

— Я—погибшій развратникъ.

— И этого нѣтъ, потому что и въ порокахъ есть своя обязательная хронологія. Я не хочу сказать, что именно я лучше—всѣ одинаковы. Но вѣдь это страшно, когда человѣкъ сознательно толкаетъ себя въ пропасть... И чистота чувства, и нетронутость силъ, и весь духовный ансамбль — куда это все уходитъ? Нельзя безнаказанно подвергать природу такому насилію.

— Интересно, продолжай. Изъ тебя вышелъ бы недурной проповѣдникъ для старыхъ дѣвъ...

— Нѣтъ, я не имѣю намѣренія заниматься твоимъ исправленіемъ, а говорю вообще и главнымъ образомъ о себѣ. Ты обратилъ вниманіе на дачу напротивъ, гдѣ живутъ нѣмцы?

— Эге, тихоня... Вотъ оно куда дѣло пошло! Тамъ есть нѣкоторая бѣлокурая Гретхенъ или Маргарита. Ну, что же, желаю успѣха, ибо независтливъ...

Я недавно встрѣтилъ эту дѣвушку на вокзалѣ и со стороны полюбовался ей. Какая она вся чистенькая, именно чистенькая,—это сказывается въ каждомъ движеніи, въ каждомъ взглядѣ. Она чистенькой ложится спать, чистенькой встаетъ и чистенькой проводитъ цѣлый день.

— Прибавь къ этому, что она выйдетъ замужъ за самаго прозаическаго Карла Иваныча, который будетъ курить дешевыя сигары, дуть пиво и наплодитъ цѣлую дюжину новыхъ Гретхенъ и Карловъ. Я, вообще, не люблю нѣмокъ, потому что онѣ по натурѣ—кухарки... Твой выборъ неудаченъ.

— А между тѣмъ ты ошибаешься, и жестоко ошибаешься... Я съ ней познакомился и могу тебя разувѣрить.

— Ты? познакомился? Однако ты того, вообще порядочный плутъ...

— Совершенно случайно познакомился...

— То-то тебя благочестіе начало заѣдать... Понимаю!..

— Нѣтъ, ты слушай... Я разъ гулялъ вечеромъ. Навстрѣчу идетъ стадо коровъ. Она шла передо мной и страшно перепугалась. Конечно, я воспользовался случаемъ и предложилъ ей руку. Она такъ мило стѣснялась, но страхъ сдѣлалъ свое дѣло...

— Мнѣ это нравится: коровы въ качествѣ добраго генія. Для начала недурно...

— Не перебивай, пожалуйста... Она шла гулять, и мы отправились вмѣстѣ. Она быстро привыкла ко мнѣ и очень мило болтала все время. Представь себѣ, что она давно уже наблюдаетъ насъ и составила представленіе о русскомъ студентѣ, какъ о чемъ-то ужасномъ. Она знаетъ о нашихъ путешествіяхъ въ «Розу», знаетъ, что

пьяный Карлъ Иванычъ спитъ у насъ, знаетъ, что мы большіе неряхи и, вообще, что не умѣемъ жить.

— Позволь, ей-то какое дѣло до насъ?..

— Дачное право... Потомъ она говорила, что ей насъ бываетъ жаль. Какъ это было мило высказано...

— Воображаю!..

Пепко даже озлился и фукнулъ носомъ, какъ старый котъ, на котораго брызнули холодной водой.

— Потомъ она разсказывала о себѣ, какъ училась въ пансіонѣ, какъ получила конфирмацію, какъ занимается теперь чтеніемъ нѣмецкихъ классиковъ, немножко музыкой (Пепко сморщилъ носъ), любитъ цвѣты, немножко поетъ (Пепко закрылъ ротъ, чтобы не расхохотаться,— поющая нѣмка, это превосходно!), учитъ братишекъ, ухаживаетъ за бабушкой... Однимъ словомъ, это цѣлый міръ, и весь ея день занятъ съ утра до ночи. Представь себѣ, она очень развитая дѣвушка и, главное, такая умненькая... Какъ разъ навстрѣчу попался намъ ея дядя; онъ служитъ гдѣ-то инспекторомъ. Она еще разъ мило смутилась, а нѣмецкій дядя посмотрѣлъ на меня довольно подозрительно.

— Я его какъ-то видѣлъ — самая отвратительная морда.

— Нѣтъ, не морда... Напротивъ, самый добродушный нѣмецъ, хотя немного и поврежденный мыслью о всесокрушающемъ величіи Германіи. Онъ меня пригласилъ къ себѣ, и я... я былъ у нихъ уже два раза. Очень милое семейство... Мы уговорились какъ-нибудь въ воскресенье отправиться въ Юкки.

— Partie de plaisir съ бутербротами? Очень мило... Что же ты молчалъ до сихъ поръ?

— Вольно же тебѣ пропадать въ «Розѣ»...

— Воображаю, какъ ты меня аттестовалъ... Вѣдь это законъ природы, что истинные друзья выстраиваютъ свою репутацію самымъ скромнымъ образомъ на очерненіи своихъ истинныхъ друзей—единственный вѣрный путь. Да, превосходно... Послѣ поѣздки въ Юкки твоя Гретхенъ приметъ православіе, а ты будешь цѣловать руку у этой старой фрау съ бантами... Что же, все въ порядкѣ вещей. Жаль только одного, что ты плохъ по части нѣмецкаго языка. Впрочемъ, это отличный предлогъ—она будетъ давать тебѣ уроки, старая фрау будетъ вязать чулокъ, а ты будешь пожимать маленькія нѣмецкія ручки подъ столомъ...

— Ты угадалъ: я уже беру уроки... Какая она милая, эта Гретхенъ, если бы ты зналъ. И какая веселая... Смѣется какъ русалка.

— Русалка изъ картофеля?

Дальше я признался, что, дѣйствительно, увлекся этой нѣмочкой и представилъ цѣлый рядъ доказательствъ, что бракъ есть лотерея и что самыя безошибочныя впечатлѣнія—тѣ, которыя получаются первыми, а слѣдовательно...

— Поздравляю!—ядовито заявилъ Пепко.—Значитъ, Исаія ликуй...

— Въ томъ-то и дѣло, что есть одно препятствіе... гмъ... да... У Гретхенъ есть мать, больная женщина...

— У которой тридцать лѣтъ болятъ зубы?

— Нѣтъ, какой-то ревматизмъ... Да, и представь себѣ, эта мать возненавидѣла меня съ перваго раза. Прихожу третьяго дня на урокъ, у Гретхенъ заплаканные глаза... Что-то такое вообще случилось. Когда бабушка вывернулась изъ комнаты, она мнѣ откровенно разсказала все и даже просила извиненія за родительскую несправед-

ливость. Гмъ... Знаешь, эта мутерхенъ принесла мнѣ большую пользу, и Гретхенъ такъ горячо жала мнѣ руку на прощаньи.

— Ага!.. Одобряю вполнѣ эту нѣмецкую одну добрую мать, которой мѣшаютъ только ревматизмы выгнать тебя въ три шеи. А что же папахенъ?

— Отецъ какой-то странный человѣкъ, ни во что не вступается и держится дома гостемъ... Кажется, дядя имѣетъ больше вліянія. Я подозрѣваю, что тутъ кроется нѣкоторый конфликтъ,—именно, что бѣдный нѣмчикъ женился на богатой нѣмочкѣ и теперь несетъ добровольное иго.

— Дуракъ нѣмецкій, говоря проще.

— Право же, онъ очень милый человѣкъ, хотя и со странностями.

Свой разсказъ я закончилъ мечтами о будущемъ, напирая главнымъ образомъ на то, что устойчивая нѣмецкая кровь въ слѣдующемъ поколѣніи исправитъ неровности и всполохи русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотрудничествомъ въ газетахъ, поступлю на службу куда-нибудь въ контору и т. д. У насъ будетъ маленькая своя квартира, цвѣты на окнахъ, рояль, и Пепко будетъ приходить пить чай. Все это я разсказывалъ съ такимъ убѣжденіемъ, что Пепко мнѣ повѣрилъ на добрую половину. Такой опытъ меня поощрялъ къ дальнѣйшимъ фантазіямъ. Черезъ недѣлю я разсказалъ Пепкѣ, что, благодаря проискамъ нѣмецкой матери, мой романъ кончился и что въ довершеніе всего явился какой-то двоюродный братъ—студентъ изъ дерптскихъ буршей. Я ревновалъ, мучился и рѣшился покончить все разомъ. Богъ съ ними, съ нѣмцами...

— А! испугался, что нѣмецкій буршъ тебѣ зеркало души

наковыряетъ?—злорадствовалъ Пепко, воспользовавшись случаемъ.

— Нѣтъ, не совсѣмъ такъ... Буршъ глупъ до святости, а дѣло въ томъ... какъ это тебѣ сказать?.. У нихъ бываетъ одна знакомая, русская дѣвушка. Знаешь, дачка во Второмъ Парголовѣ съ качелями? Да, такъ я познакомился съ ней и только по сравненіи оцѣнилъ всѣ достоинства нашей собственной, славянской женщины. Однимъ словомъ, я, на повѣрку оказалось, совсѣмъ не любилъ Гретхенъ, а только обманывалъ самаго себя. Что можетъ быть лучше русской дѣвушки? Какая жизненная сила, какая дорогая простота! Не даромъ сказалъ какой-то французъ, что будущее цивилизаціи виситъ на губахъ славянской женщины.

Дѣйствительно, такая русская дѣвушка существовала, дѣйствительно жила во Второмъ Парголовѣ на дачѣ съ качелями и дѣйствительно произвела на меня сильное впечатлѣніе. Случилось послѣднее утромъ часовъ въ одиннадцать, когда я съ своими мечтами возвращался изъ длинной прогулки по парку. Я шелъ задумавшись. Заставилъ меня остановиться и поднять голову чей-то звонкій смѣхъ. Какъ разъ это и была дача съ качелями, а на качеляхъ сидѣла *она* въ бѣломъ лѣтнемъ платьѣ, перехваченномъ красной широкой лентой вмѣсто пояса. Ей на видъ было не больше шестнадцати лѣтъ, но она выглядѣла сформировавшейся дѣвушкой. И какое лицо—красивое, свѣжее, полное жизни. Сѣрые большіе глаза смотрѣли съ такой милой серьезностью, на спинѣ трепалась цѣлая волна слегка вившихся русыхъ шелковистыхъ волосъ, концы красной ленты развѣвались по воздуху, широкополая соломенная шляпа валялась на пескѣ... Мнѣ показалось, что незнакомка смотритъ прямо мнѣ въ

сердце, и я весь застылъ въ одной позѣ. Дѣвушка сидѣла на качели, ухватившись руками за веревки, при чемъ можно было видѣть эти чудныя руки до самаго плеча. Было еще дѣйствующее лицо, горбунъ, который за длинную веревку раскачивалъ хохотавшую шалунью. Мое появленіе точно погасило смѣхъ. Горбунъ оглянулся въ мою сторону и, какъ мнѣ показалось, посмотрѣлъ на меня такими злыми глазами, точно по меньшей мѣрѣ хотѣлъ меня проглотить живьемъ. Я смутился, даже покраснѣлъ и пошелъ своей дорогой, унося въ душѣ чудное видѣнье. Эту живую картину я потомъ реализовалъ въ своихъ мистификаціяхъ Пепкѣ, а по утрамъ нарочно проходилъ мимо дачи съ качелями, чтобы хотя издали полюбоваться чудной дѣвушкой въ бѣломъ платьѣ. По справкамъ оказалось, что она дочь какого-то инженера и живетъ съ отцомъ, а горбунъ—дальній родственникъ. Какъ я завидовалъ этому горбуну, который осмѣливался смотрѣть на нее, говорить съ ней, дышать однимъ воздухомъ съ ней!

Въ моихъ разсказахъ теперь приняли самое дѣятельное и живое участіе отецъ-инженеръ, безумно любившій свою красавицу-дочь, и по-сказочному злой горбунъ, оберегавшій это живое сокровище. Отецъ не отличался большимъ характеромъ и баловалъ свою красавицу. Дѣвушка въ бѣломъ платьѣ была и капризна, и эгоистка, и пустовата, какъ всѣ избалованныя дѣти. Она не понимала отца и не могла ему платить той же монетой; и онъ это чувствовалъ, мучился и не могъ передѣлать самого себя. Впереди дѣвушку въ бѣломъ платьѣ ожидала незавидная участь. Я слишкомъ поторопился, предупреждая событія и давая каждый день по новой главѣ,—Пепко догадался, но сдѣлалъ видъ, что вѣритъ

какъ раньше, и охотно присоединился къ моимъ фантазіямъ, развивая основную тему. Ему больше всего нравилась психологія горбуна, какъ провѣрка нормальнаго средняго человѣка.

— А знаешь что, братику,—проговорилъ Пепко однажды, когда мы импровизовали свою «исторію дѣвушки въ бѣломъ платьѣ»:—вѣдь это и есть то, что называется психологіей творчества. Да, да... Именно умѣть сосредоточить свое вниманіе такъ, чтобы получались живые люди, которыхъ можно видѣть, съ которыми можно разговаривать какъ съ живыми людьми. Но вопросъ въ томъ, *какъ* сосредоточить вниманіе именно такимъ образомъ? Путь одинъ: *неудовлетворенное чувство*... да. Ты представь себѣ голоднаго человѣка, сильно голоднаго—вѣдь всѣ мысли и чувства у него сосредоточены на ѣдѣ, и онъ лучше всякаго завзятаго гастронома представляетъ цѣлую съѣдобную оперу. Онъ видитъ эти кушанья, ощущаетъ ихъ запахъ, вообще создаетъ... Вотъ гдѣ тайна всякаго творчества. А такъ какъ любовь составляетъ центральный пунктъ въ нашей жизни, то естественно, что только отсюда должно проистекать все остальное. Желаніе желаній, какъ называетъ Шопенгауэръ любовь, заставляетъ поэта писать стихи, музыканта создавать гармоническія звуковыя комбинаціи, живописца писать картину, пѣвца пѣть,—все идетъ отъ этого желанія желаній и все къ нему же возвращается. Возьми литературу, которая существуетъ нѣсколько столѣтій, и вездѣ и все основано именно на этомъ, и такъ же будетъ, когда и насъ съ тобой не будетъ. Однимъ словомъ, я бы издалъ законъ, чтобы поэтамъ, беллетристамъ и вообще художникамъ показывать красивыхъ женщинъ только издали, и тогда наступилъ бы золотой вѣкъ искусства.

— Но вѣдь это жестоко по меньшей мѣрѣ.

— Нисколько, потому что всѣ эти господа художники жили бы удесятеренной жизнью въ своихъ произведеніяхъ. Да, да... Это вѣрно.

XVIII.

Бѣлыя ночи... Что можетъ быть лучше петербургской бѣлой ночи? Зачѣмъ я лишенъ дара писать стихи, а то я непремѣнно описалъ бы эти ночи въ звучныхъ риѳмахъ. Пепко пишетъ стихи, но у него нѣтъ «чувства природы». Несчастный предпочитаетъ простое газовое освѣщеніе и увѣряетъ, что только лунатики могутъ восхищаться бѣлыми ночами.

— Прежде всего, луна—предразсудокъ, — увѣряетъ онъ серьезнымъ образомъ.

— Тогда все небо нужно считать предразсудкомъ?

— И все небо предразсудокъ, вѣрнѣе—блестящая ложь. Достаточно сказать, что свѣтъ отъ ближайшей къ землѣ звѣзды доходитъ до насъ только черезъ восемь тысячъ лѣтъ, а отъ дальнихъ звѣздъ черезъ сотни тысячъ... Значитъ, я вижу не настоящее небо, а только его призракъ. А луну я прямо ненавижу, какъ самую лукавую планетишку, которая и свѣтитъ-то краденымъ свѣтомъ. Поэтому, вѣроятно, и большинство кражъ совершается именно ночью... Вообще, ночь располагаетъ къ гнуснымъ поступкамъ, и луна можетъ служить эмблемой воровства. Вотъ солнце—это вполнѣ порядочное свѣтило, которое свѣтитъ своимъ собственнымъ свѣтомъ, и я уважаю его, какъ порядочнаго человѣка. Когда ты будешь дѣлать описанія небеснаго свода, рекомендую тебѣ одно сравненіе, которое, кажется, еще не встрѣ-

чалось въ изящной литературѣ: небо — это голубая шелковая ткань, усыпанная серебряными пятачками, гривенниками, пятіалтынными и двугривенными.

— Можно даже сказать: крейцерами и франками?

— Отчего же не сказать и такъ... Въ такихъ сравненіяхъ самое главное — пріятная неожиданность; чтобы у читателя защекотало въ носу. Ты даже можешь впередъ уплатить мнѣ за вышеприведенное блестящее сравненіе... Напримѣръ, бутылка пива въ «Розѣ»? Это меня поощритъ къ дальнѣйшимъ сравненіямъ.

Пепко былъ неисправимъ, и спорить съ нимъ было безполезно.

А мнѣ такъ нравились эти чудныя бѣлыя ночи. Отъ нихъ вѣяло какой-то сказочно-меланхолической красотой... Въ воздухѣ точно взвѣшена серебристая пыль. Всѣ краски выцвѣтали и покрывались серебристымъ налетомъ, какъ будто весь земной шаръ опустили въ гальванопластическую ванну и высеребрили. Впрочемъ, это дрожавшееe и переливавшееся живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившіяся подъ нимъ краски, принимало выцвѣтшіе гобеленовскіе тона и нѣжность акварели. Я сравнилъ бы день съ картиной, написанной грубыми масляными красками, а ночь съ той же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это сравненіе принадлежитъ мнѣ, и я не обязанъ поощрять Пепку новой бутылкой пива. Да, хороши бѣлыя ночи... Онѣ нагоняли на меня и тоску, и жажду жизни, и то неопредѣленно-хорошее настроеніе, которое можетъ передать только музыкальный аккордъ. Я не могъ спать въ такую ночь и бродилъ мимо дачъ, гдѣ тоже не спали, любуясь красотою чуднаго освѣщенія. Мнѣ было пріятно сознаніе, что есть еще другіе лунатики и что

они смутно переживаютъ то же самое, что носилъ я въ себѣ.

Какъ это иногда случается въ жизни, самыя тонкія ощущенія и самыя изящныя эмоціи помѣщались рядомъ съ грубыми проявленіями человѣческой натуры. Достаточно сказать, что прямо отъ наслажденій бѣлой ночью я попадалъ въ кабакъ, т. е. въ ресторанъ «Розу», гдѣ Пепко культивировался довольно прочно. Общество арфистокъ, пьянаго тапера, интенданта Летучаго и К°,—однимъ словомъ, проза въ самой обидной формѣ. Пепко обладалъ удивительной способностью необыкновенно быстро ассимилироваться вездѣ и сдѣлался въ «Розѣ» своимъ человѣкомъ. Арфистки совѣтовались съ нимъ, повѣряли какія-то тайны; Пепко дошелъ до того, что даже лѣчилъ одну изъ этихъ несчастныхъ созданій.

— Какъ тебѣ не стыдно!—укорялъ я легкомысленнаго друга.—Вѣдь это шарлатанство...

— Во-первыхъ, а не виноватъ, что Мелюдэ такая хорошенькая, а во-вторыхъ, мое шарлатанство отличается отъ докторскаго только тѣмъ, что я не беру за него гонорара...

Мелюдэ—кличка хорошенькой паціентки по хору. Это было очень изящное и миленькое созданіе, почти красавица въ стилѣ нѣмецкой Гретхенъ. Изъ живой рамы бѣлокурыхъ волосъ глядѣло такое изящное, тонкое личико, съ красиво очерченнымъ носикомъ, дѣтски-свѣжимъ ротикомъ, съ какой-то особенной граціей каждой линіи и голубыми дѣтскими глазами. Ей было всего восемнадцать лѣтъ, но эти дѣтскіе глаза уже смотрѣли мертвымъ взглядомъ, отражая въ себѣ безсонныя пьяныя ночи, бродяжничество въ качествѣ арфистки по

кабакамъ и вообще улицу. Оставалась одна внѣшняя оболочка красивой и свѣжей дѣвушки, прикрывавшая собой полное нравственное паденіе. Я испытывалъ каждый разъ какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ протягивала мнѣ свою изящную тонкую ручку и смотрѣла прямо въ лицо немигающими, наивно открытыми глазами,—получалось такое же ощущеніе, какое испытываешь, здороваясь съ тѣми больными, которые еще двигаются на ногахъ, имѣютъ здоровый видъ и про которыхъ знаешь, что они безповоротно приговорены къ смерти. Пепко, кажется, былъ другого мнѣнія и велъ какія-то таинственныя и длинныя бесѣды съ этимъ падшимъ ангеломъ. Разъ я сдѣлался невольнымъ свидѣтелемъ одного трагическаго финала. Пепко тономъ проповѣдника приглашалъ Мелюдэ бросить трактирную жизнь и сдѣлаться порядочной женщиной.

— Вѣдь стоитъ только захотѣть,—повторялъ онъ, дѣлая удареніе на послѣднемъ словѣ.

Она посмотрѣла на него своими дѣтскими глазами и расхохоталась прямо въ лицо. Пепко ужасно сконфузился и почуствовалъ себя мальчишкой, а красивое чудовище продолжало хохотать.

— Ты забылъ только одно, Пепко: всѣ вы, мужчины, подлецы...—говорила Мелюдэ, задыхаясь отъ хохота.— Особенно мнѣ нравятся вотъ такіе проповѣдники, какъ ты. Вѣдь хорошія слова такъ дешево стоятъ...

Пепко со всѣмъ хоромъ былъ «на ты».

Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхивалъ головой, какъ собака, проглотившая муху, что-то мычалъ и, наконецъ проговорилъ:

— А вѣдь она права...

— Кто?

— Мелюдэ... Физіологи дѣлаютъ такой опытъ: вырѣзаютъ у голубя одну половину мозга, и голубь начинаетъ кружиться въ одну сторону, пока не подохнетъ. И Мелюдэ тоже кружится... А затѣмъ она очень хорошо сказала относительно подлецовъ; вѣдь въ каждомъ изъ насъ притаился неисправимый подлецъ, котораго мы такъ тщательно скрываемъ всю нашу жизнь,—вѣрнѣе, вся наша жизнь заключается въ этомъ скромномъ занятіи. Изъ вѣжливости я говорю только о мужчинахъ... Впрочемъ, я, кажется, впадаю въ философію, а въ большомъ количествѣ это скучно.

Проживая въ своей избушкѣ самымъ мирнымъ образомъ, мы и не предчувствовали, что стоимъ наканунѣ событій, выражаясь газетнымъ стилемъ. Я уже сказалъ, что наши знакомыя, сестры Глазковы, тоже переселились на лѣто въ наше Третье Парголово. У нихъ была нанята такая же дача, какъ и у насъ, т. е. простая деревенская изба. Разница была въ величинѣ и въ томъ, что женскія руки сумѣли убрать ее и прикрасить, благодаря дешевенькимъ дачнымъ обоямъ, драпировкамъ изъ дешеваго ситца и цвѣтамъ. Мы встрѣчались съ ними, но прежнее знакомство какъ-то плохо вязалось. Главнымъ препятствіемъ являлась здѣсь невидимо присутствовавшая тѣнь дѣвицы Любочки, о которой Пепко не желалъ вспоминать. Онъ не безъ основанія предполагалъ, что Наденька или Вѣрочка гдѣ-нибудь случайно ее встрѣтятъ и, конечно, не преминутъ открыть его убѣжище. Дѣвицы тоже относились къ Пепкѣ немного подозрительно и не упускали случая сдѣлать болѣе или менѣе ядовитый намекъ по адресу Любочки. Однимъ словомъ, получалось то, что называется натянутыми отношеніями.

Какъ-то уже вошло въ обычай, что даже капитальныя событія начинаются съ пустяковъ и мелочей. Въ данномъ случаѣ началомъ событія послужила приклеенная къ гостепріимнымъ дверямъ «Розы» простая бѣлая бумажка, на которой было начертано: «Сего 17 іюня имѣетъ быть данъ инструментально-вокально-музыкально-танцовальный семейный вечеръ съ плату 20 к. на персона. А дитю пускаютъ весма даромъ». Очевидно, это безграмотное объявленіе было составлено пьянымъ таперомъ, оказавшимся единственнымъ грамотнымъ человѣкомъ во всемъ хорѣ. Это невинно-безграмотное объявленіе сдѣлало то, что въ первое же воскресенье въ «Розѣ» появились сестры Глазковы, въ сопровожденіи жужжавшаго мухой толстяка. Пепко питалъ слабость къ хореографіи и танцовалъ съ барышнями до ожесточенія. На объявленіе пришли еще кое-какіе дачники, и дешевенькое веселье оформилось Набралось человѣкъ двадцать. Вообще, время провели недурно, и только подъ конецъ вечера Пепко едва не подрался съ какимъ-то служащимъ на финляндской желѣзной дорогѣ. Собственно, это было лингвистическое недоразумѣніе: Пепко не говорилъ по-шведски, а чухонецъ не желалъ понимать по-русски. Стороны хотѣли разрѣшить это взаимное непониманіе при помощи вѣнскихъ стульевъ и пустыхъ бутылокъ изъ-подъ пива, и, вѣроятно, произошло бы настоящее побоище, если бы въ дѣло не вмѣшалась Мелюдэ, изъ-за которой собственно и вышла вся исторія. Она отлично знала трактирную психологію и потушила бурю однимъ движеніемъ: схватила два стакана пива и подала врагамъ,—каждый изъ нихъ имѣлъ полное основаніе думать, что пиво отъ чистаго сердца подано именно ему, а другому только для отвода глаза.

По крайней мѣрѣ, Пепко давалъ впослѣдствіи такое толкованіе въ свою пользу.

— Я вообще не понимаю, за что меня такъ любятъ женщины,—хвастался онъ.—А чухонецъ-то въ какихъ дуракахъ остался...

Между прочимъ, Пепко страдалъ особаго рода маніей мужского величія и былъ убѣжденъ, что всѣ женщины безнадежно влюблены въ него. Иногда это проявлялось въ такихъ явныхъ формахъ, что онъ изъ скромности утаивалъ имена. Я плохо вѣрилъ въ эти безкровныя побѣды, но успѣхъ былъ несомнѣнный. Мелюдэ въ этомъ мартирологѣ являлась послѣдней жертвой, хотя впослѣдствіи интендантъ Летучій и увѣрялъ, что видѣлъ собственными глазами, какъ раннимъ утромъ изъ окна комнаты Мелюдэ выпрыгнулъ не кто другой, какъ глупый желѣзнодорожный чухонецъ.

Эти невинныя развлеченія были неожиданно прерваны. Какъ теперь помню роковое воскресенье, когда мы съ Пепкой отправились въ «Розу» вечеромъ. Оба находились въ самомъ хорошемъ настроеніи, какъ и слѣдуетъ людямъ, приготовившимся повеселиться. Когда я у кассы бралъ входный билетъ, меня кто-то тронулъ за руку. Оглядываюсь—Наденька Глазкова, которая улыбалась съ какой-то особенной таинственностью. Молчитъ и улыбается съ вызывающимъ кокетствомъ. Я инстинктивно обернулся и встрѣтился лицомъ къ лицу съ высокой, удивительно красивой дѣвушкой, которая тоже смотрѣла на меня чуть-чуть прищуренными глазами и чуть-чуть улыбалась.

— Извините...—пробормоталъ я ни къ селу, ни къ городу.

— Шура, позволь тебѣ представить Василія Иваны-

ча,—рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбаться.—Онъ сочиняетъ большой романъ... Да.

Лицо Шуры вдругъ приняло серьезное выраженіе, и она почти торжественно протянула мнѣ свою руку. Я еще больше смутился и готовъ былъ наговорить Наденькѣ дерзостей, потому что она своей рекомендаціей ставила меня въ самое нелѣпое положеніе. Но вмѣсто дерзостей я проговорилъ какимъ-то не своимъ голосомъ:

— Позвольте быть вашимъ кавалеромъ.

Она просто и серьезно подала мнѣ руку, и я торжественно ввелъ въ залъ своихъ дамъ. Вся эта немногосложная и ничтожная по содержанію сцена произошла на разстояніи какихъ-нибудь двухъ минутъ, но мнѣ показалось, что это была сама вѣчность, что я уже не я, что всѣ люди превратились въ какихъ-то жалкихъ букашекъ, что общая зала «Розы» ужасная мерзость, что со мной подъ руку идетъ все прошедшее, настоящее и будущее, что полъ подъ ногами немного колеблется, что пахнетъ какими-то удивительными духами, что ножки Шуры отбиваютъ пульсъ моего собственнаго сердца. Да, такія минуты не повторяются, какъ сама молодость. А Наденька Глазкова заглядывала мнѣ въ лицо и улыбалась. Я, должно-быть, тоже, улыбался, и должно-быть очень глупо улыбался... Но женщины умѣютъ читать между строкъ, и Наденька отлично понимала, что дѣлается у меня на душѣ. О, я готовъ былъ итти вотъ съ этой незнакомкой Шурой подъ руку цѣлую жизнь и чувствовалъ, какъ сердце замираетъ въ груди отъ наплыва неизвѣданнаго чувства. Это была она, та первая любовь, которая приходитъ какъ пожаръ и не оставляетъ камня на камнѣ. И теперь, черезъ много лѣтъ, въ воображеніи проносятся знакомыя черты чуднаго дѣвичьяго лица, и

какая-то запоздалая тоска охватываетъ уставшее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наивное, съ большими сѣрыми глазами, удивительнымъ цвѣтомъ кожи, съ строгими линіями, съ выраженіемъ какой-то дѣтской довѣрчивости. Темные волнистые волосы были собраны въ одну косу, а на лбу зачесаны гладко, безъ противныхъ кудряшекъ. Одѣта была первая любовь въ черное шелковое платье и въ черную накидку; черная шляпа, черныя перчатки и черный зонтикъ дополняли этотъ костюмъ не по сезону. Именно черный цвѣтъ всего больше шелъ къ ней и она была такъ хороша, что не нуждалась въ сезонныхъ костюмахъ. Высокій ростъ придавалъ ей видъ королевы, которая только-что сошла съ престола и милостиво вмѣшалась въ толпу обыкновенныхъ людишекъ.

— Меня зовутъ Александра Васильевна,—говорила она, усаживаясь къ нашему столику.

XIX.

Весь вечеръ пронесся въ какомъ-то туманѣ. Я не помню, о чемъ шелъ разговоръ, что я самъ говорилъ,—я даже не замѣтилъ, что Пепко куда-то исчезъ, и былъ очень удивленъ, когда лакей подошелъ и сказалъ, что онъ меня вызываетъ въ буфетъ. Пепко имѣлъ жалкій и таинственный видъ. Онъ стоялъ у буфета съ рюмкой водки въ рукахъ.

— Что такое случилось, Пепко?

— Очень пріятная исторія... Сейчасъ ѣду въ Петербургъ и задушу эту гадину Ѳедосью.

Пепко былъ блѣденъ, губы дрожали, и мнѣ показалось, что онъ сошелъ съ ума. При чемъ этотъ трагическій тонъ, рюмка водки, удушеніе Ѳедосьи? Машиналь-

но выпивъ рюмку и позабывъ закусить, Пепко отвелъ меня въ сторону и прошепталъ:

— *Она* здѣсь... понимаешь? Захожу давеча въ садъ, чтобы увидѣть Мелюдэ, а тамъ на скамеечкѣ сидитъ *она*.

— Да кто *она*?

— Ахъ, какой ты... ну, она, Любочка. Сейчасъ меня за рукавъ, слезы, упреки,—однимъ словомъ, полный репертуаръ. И вотъ все время мучила... Это ее проклятая Ѳедосья подвела, т. е. сказала мой адресъ. Я съ ней разсчитаюсь...

— Да вѣдь Любочка могла достать нашъ адресъ и помимо Ѳедосьи?

— Нѣтъ, ужъ я это знаю.., оставь. Теперь одно спасенье—бѣжать. Всѣ великіе люди въ подобныхъ случаяхъ такъ дѣлали... Только дѣло въ томъ, что и для трагедіи нужны деньги, а у меня кромѣ нѣсколькихъ крейцеровъ и кредита въ буфетѣ ничего нѣтъ.

Я съ своей стороны могъ бы прибавить; что и для любви тоже нужны деньги, но трагедія пересилила, и половина моихъ крейцеровъ перешла къ Пепкѣ. Онъ какъ-то особенно конфузливо взялъ деньги и проговорилъ:

— Я знаю, что ты будешь меня презирать... Я самъ презираю себя. Да... Прощай. Если *она* придетъ къ намъ на дачу, скажи, что я утонулъ. Во всякомъ случаѣ, я совсѣмъ не гожусь на амплуа бѣлошвейнаго предмета... Ты только вникни: предметъ... тфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся къ трагическому положенія пріятеля и мысленно соображалъ, хватитъ ли моихъ крейцеровъ, въ случаѣ, если Александра Васильевна захочетъ поужинать. Никогда еще я такъ не презиралъ свою бѣдность... Ка-

кихъ-нибудь десять рублей могли меня сдѣлать счастливымъ, потому что нельзя же было угощать богиню пивомъ и бутербродами.

— Прощай, Вася!

— Прощай, Пепко!

Я сейчасъ-же забылъ о пепкинской трагедіи и вспомнилъ о немъ только въ антрактѣ, когда гулялъ подъ руку съ Александрой Васильевной въ трактирномъ садикѣ. Любочка сидѣла на скамейкѣ и ждала... Я узналъ ее, но по малодушію сдѣлалъ видъ, что не узнаю, и прошелъ мимо. Это было безцѣльно-глупо, и потомъ мнѣ было совѣстно. Бѣдная дѣвушка, вѣроятно страдала, ожидая возвращенія коварнаго «предмета». Александра Васильевна крѣпко опиралась на мою руку и въ короткихъ словахъ разсказала свою біографію.

— Мама живетъ на Пескахъ... Она получаетъ небольшую пенсію. Раньше я работала на магазинъ... Когда будете въ Петербургѣ, непремѣнно заверните къ намъ. Слышите: непремѣнно...

Эта просьба походила на то, если бы начали упрашивать землю вращаться около своей оси, и я великодушно обѣщалъ быть на Пескахъ непремѣнно. Потомъ мнѣ удалось сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо засмѣялась. Она удивительно хорошо смѣялась и дѣлалась еще красивѣе. Этотъ смѣхъ меня ободрилъ, и я уже начиналъ придумывать смѣшное, а дѣвушка опять смѣялась, смѣялась больше потому, что стояла такая дивная бѣлая ночь, что ей, дѣвушкѣ, было всего восемнадцать лѣтъ, что кавалеръ дѣлалъ героическія усилія быть остроумнымъ, что, вообще, при такихъ обстоятельствахъ ничего не остается, какъ только смѣяться.

Вечеръ промелькнулъ съ какой-то сумасшедшей быстротой. Былъ одинъ трагическій моментъ, когда я предложилъ Александрѣ Васильевнѣ поужинать въ одной изъ садовыхъ бесѣдокъ,—я даже теперь черезъ двадцать лѣтъ, не могу себѣ представить, чѣмъ бы я могъ заплатить за эту безумную роскошь. Но вѣдь моя богиня хотѣла ѣсть, и я замѣтилъ, что она съ жадностью посмотрѣла на сосѣдній столикъ, гдѣ были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глазкова.

— Нѣтъ, мы не будемъ ужинать въ ресторанѣ,— заявила она съ рѣшительнымъ видомъ:—и подадутъ грязно, и масло прогорьклое... Вообще, здѣсь не стоитъ ужинать, и мы это устроимъ лучше у насъ дома. Не правда-ли, Шура?

Отвѣтомъ былъ голодный взглядъ, обращенный на сосѣдняго цыпленка. Бѣдная богиня очень хотѣла кушать... А я готовъ былъ расцѣловать мою спасительницу Наденьку. Вообще это была замѣчательно милая дѣвушка, которая въ теченіе цѣлаго вечера упорно жертвовала собой,—больше того, она старалась оставаться незамѣтной, на что рѣшатся очень немногія женщины. Я питалъ къ ней благодарное чувство, которое было испорчено только однимъ эпизодомъ. Ресторанъ закрывался, и намъ слѣдовало уходить. Я вспомнилъ про несчастную Любочку, скитавшуюся скорбной тѣнью въ саду, и сообщилъ объ этомъ Наденькѣ.

— Я ее видѣла...—равнодушно отвѣтила дѣвушка.

— Видѣли? Вы съ ней здоровались?..

— Нѣтъ...

Меня больше всего поразилъ самый тонъ, которымъ Наденька говорила. А, вѣроятно, Любочка страшно на-

скучалась и хочетъ тоже ѣсть... Отчего бы ее не пригласить поужинать вмѣстѣ съ нами?

Наденька отвѣтила на мой нѣмой вопросъ одной фразой.

— Она можетъ уѣхать съ послѣднимъ поѣздомъ... Я вообще не понимаю, зачѣмъ она притащилась сюда и зачѣмъ прячется въ саду. Вообще, глупо...

Это была спеціально женская жестокость, которая въ то время меня очень удивляла, а въ данномъ случаѣ какъ-то уже совсѣмъ не вязалась съ проявленными въ теченіе вечера Наденькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцвѣтныхъ фонариковъ въ саду погасла сама, другую половину гасилъ сторожъ. Въ залѣ было уже совсѣмъ темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно что оборвалось въ груди.

— Я имѣю дурную привычку крѣпко опираться на руку своего кавалера,—объяснила Александра Васильевна, когда мы выходили изъ «Розы».

— О, пожалуйста...

Наденька опять впала въ самопожертвенное настроеніе, отказалась отъ моей другой руки и быстро пошла впередъ одна, оставивъ насъ tête-à tête. Впрочемъ, этотъ невинный маневръ имѣлъ и свое спеціальное значеніе— именно, дѣвушка, вѣроятно, хотѣла предупредить относительно ужина свою одну добрую мать безъ словъ. Когда я остался одинъ съ Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожиданно охватило меня, былъ страхъ, страхъ за собственное ничтожество, осмѣлившееся служить опорой совершенству. Въ довершеніе всего меня совершенно оставило остроумное настроеніе, и я рѣшительно не могъ ничего придумать, чѣмъ занять даму·

Впрочемъ, она шагала такой усталой походкой, что не спасло бы никакое остроуміе. Мы дошли до мѣста почти молча, и Александра Васильевна только изъ вѣжливости удерживала голодную зѣвоту. Эта маленькая неудача служила только введеніемъ къ слѣдующей: одна добрая мать безъ словъ встрѣтила насъ такъ сурово, что мысль о домашнемъ ужинѣ могла показаться чуть не святотатствомъ. По лицу Наденьки я замѣтилъ, что у нея только-что вышло бурное объясненіе съ матерью, и она даже готова заплакать. Я удивился, гдѣ эта милая дѣвушка взяла силы сказать мнѣ:

— Вы, конечно, Василій Иванычъ, останетесь поужинать съ нами...

Милая Наденька жертвовала собой еще разъ, и можно себѣ представить ея положеніе, если бы я взялъ да и остался. Но я этого, конечно, не сдѣлалъ и началъ прощаться. Наденька понимала, какъ мнѣ больно уходить въ свою нору и съ особой выразительностью пожала мнѣ руку.

— Приходите завтра!—крикнула она мнѣ вслѣдъ.— Я Шуру не отпущу...

Это было надрадой за мою проницательность,—женщиоы ничего такъ не цѣнятъ, какъ это пониманіе безъ словъ.

Я возвращался домой въ какомъ-то чаду, напрасно стараясь связать въ одно цѣлое впечатлѣнія этого рокового вечера. Прежде всего, я ужасно досадовалъ на свою ненаходчивость при возвращеніи изъ «Розы». А между тѣмъ, какъ мнѣ много хотѣлось сказать Шурѣ, мучительно хотѣлось. И все какія хорошія вещи... О, только она одна въ цѣломъ мірѣ могла понять меня, а я шелъ рядомъ съ ней болванъ-болваномъ! Зато теперь—какіе остроумные діалоги я велъ съ ней, какъ былъ краснорѣчивъ,

находчивъ и какъ непринужденно предъявлялъ ея вниманію сокровища своего ума. Было просто жаль, что Александра Васильевна лишена возможности видѣть меня во всемъ блескѣ. Навѣрно, она составила себѣ не особенно лестное понятіе о моей особѣ и даже, можетъ-быть, считаетъ меня просто болваномъ... Но есть завтра—слышите, Шура?—есть солнце, которое взойдетъ завтра съ спеціальной цѣлью показать вамъ вашего покорнаго слугу совершенно въ иномъ свѣтѣ. Да, вы будете пріятно изумлены, Шура, потому что еще никогда не встрѣчали такого удивительнаго молодого человѣка. Завтра, завтра, завтра...

Мнѣ хотѣлось пѣть, хотѣлось думать стихами, хотѣлось разбудить все Третье Парголово и сказать всѣмъ, что Шура красавица и что она завтра останется на весь день.

— Шура, Шура...—повторилъ я вслухъ, точно въ этомъ имени скрыто было какое-то заклинаніе.

Странно, что первое, что обратило на себя мое вниманіе при возвращеніи въ свою избушку, были... сапоги. Да, тѣ высокіе студенческіе сапоги, въ которыхъ я обыкновенно ходилъ. Мнѣ показалось, что они, эти сапоги, являлись оскорбленіемъ изящныхъ прюнелевыхъ ботинокъ, черныхъ лайковыхъ перчатокъ, чернаго зонтика, черной шляпы и особенно чернаго шелковаго платья. Вѣдь это было нахальствомъ, что такіе нелѣпые сапожищи осмѣливались шагать рядомъ съ прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра... Позвольте, Пепко уѣхалъ въ моихъ штиблетахъ, и я цѣлый день долженъ буду оставаться «оригиналомъ». Свои штиблеты Пепко отдалъ въ починку, надѣлъ мои и уѣхалъ... Что же это будетъ? Полцарства за самые скромные штиблеты... И какъ мнѣ

это давеча въ голову не пришло, когда Пепко собрался удрать? Ахъ, извергъ естества... Эта маленькая подробность привела меня въ отчаяніе и нагнала цѣлый рой какихъ-то уже совсѣмъ безсвязныхъ мыслей. Напримѣръ, припоминая разговоръ съ Александрой Васильевной въ саду, я точно открылъ трещину въ томъ, что еще часъ назадъ было и естественно, и понятно, и просто—именно: одна добрая мать, получающая *маленькую* пенсію, адресъ *Пески*, работа *на магазинъ*, и тутъ же шелковое платье, зонтикъ, перчатки и т. д. Мнѣ вдругъ захотѣлось вернуться на дачу Глазковыхъ, вызвать Наденьку и спросить ее, что это значитъ. Да, узнать все сейчасъ же, разъяснить... Я весь задрожалъ при той мысли, что на мой вопросъ Наденька только пожметъ плечами и улыбнется, какъ улыбнулась давеча. Нѣтъ, это ужасно, это безчеловѣчно, это... этому нѣтъ названія. Смертный приговоръ рядомъ съ этимъ является милой шуткой...

Потомъ я сразу успокоился. Доказательство нелѣпости предыдущихъ сомнѣній было подъ рукой: стоило только закрыть глаза и представить себѣ это дивное лицо... Развѣ этотъ чистый взглядъ осмѣлится омрачить хотя одна нечистая мысль? Она—совершенство, а все остальное пустяки. По естественной ассоціаціи идей я логически перешелъ къ собственной особѣ. Во-первыхъ, красивъ я или «немного лучше чорта», какъ большинство мужчинъ? Какъ-то раньше я мало обращалъ вниманія на свою наружность, а теперь испытывалъ мучительную потребность быть именно красивымъ, красивымъ только для того, чтобы имѣть право думать о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный носъ, хорошій для мужчины ростъ, небольшія руки; но вѣдь это еще очень немного, больше чѣмъ немного. У насъ съ Пепкой даже

не было зеркала, и я не могъ сейчасъ же провѣрить свои физическія достоинства. Впрочемъ, для мужчины наружность вещь не первой важности, и ее можно съ успѣхомъ замѣнить громкимъ именемъ, успѣхомъ, извѣстностью; женщины летятъ на эти пустяки, какъ мотыльки на огонь. Да, я буду знаменитъ, чортъ возьми, и не для себя, а для нея... Она будетъ гордиться тѣмъ, что первая открыла во мнѣ будущую знаменитость, когда остальной міръ оставался еще въ возмутительномъ невѣдѣніи. Нѣтъ, вы всѣ меня признаете: будете завидовать, а я буду думать о ней, жить для нея, дышать ею...

Однимъ словомъ, въ моей головѣ несся какой-то ураганъ, и мысли летѣли впередъ съ страшной быстротой, какъ тѣ англійскіе скакуны, которые берутъ одно препятствіе за другимъ съ такой красивой энергіей. Въ моей головѣ тоже происходила скачка на дорогой призъ, какого еще не видалъ міръ.

Эта внутренняя работа мысли и чувства дѣлалась просто невыносимой, благодаря тому, что не могла ничѣмъ проявиться во внѣшнихъ формахъ. Бѣжавшій позорно Пепко подвергался большой опасности выслушать цѣлую исповѣдь первой любви... У меня явилось даже подозрѣніе, что не бѣжалъ ли онъ вмѣстѣ и отъ меня, заподозрѣвъ двойную опасность. Вообще, я къ нему относился сейчасъ враждебно. Не угодно ли: человѣкъ убѣжалъ ни раньше, ни послѣ, какъ именно сегодня,—убѣжалъ человѣкъ, испытывавшій мое терпѣніе своими исповѣдями самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Нѣтъ, какъ хотите, а это нехорошо, безсовѣстно, подло... Однимъ словомъ, не по-товарищески.

Я десять разъ укладывался спать, и изъ этого ничего не выходило. Сонъ бѣжалъ отъ моихъ глазъ, какъ вы-

ражался Пепко высокимъ слогомъ. Вдобавокъ, въ нашей избушкѣ ужасно душно... Этотъ низкій потолокъ просто давилъ меня. Измучившись окончательно, я поднялся съ своей постели, подошелъ къ окну и открылъ его. Вдругъ мнѣ показалось... Нѣтъ, это, вѣроятно, была тѣнь. Послѣ нѣкотораго колебанія я взглянулъ въ окно и увидѣлъ... Нѣтъ, я не увидѣлъ, а почувствовалъ какъ-то всѣмъ тѣломъ, что это она, несчастная Любочка, которая сидѣла на скамейкѣ у нашей калитки. Какая она маленькая въ этой позѣ... Настоящій ребенокъ. И поза такая безпомощная, какъ у замерзающаго человѣка. У меня явилось давешнее малодушное желаніе не замѣтить ея, но я преодолѣлъ себя и тихо спросилъ:

— Это вы, Любочка?..

Она вскочила, сдѣлала движеніе убѣжать, но только закрыла лицо руками и безсильно опустилась на свою скамейку. О, какой ты мерзавецъ, Пепко...

XX.

Одѣться было дѣломъ одной мунуты. Я торопился точно на пожаръ, а Любочка и не думала уходить. Она сидѣла попрежнему на лавочкѣ, въ прежней убитой позѣ. Бѣлая ночь придавала ея блѣдному лицу какой-то нехорошій пепельный оттѣнокъ.

— Любочка, что вы тутъ дѣлаете?—спрашивалъ я, выходя въ калитку.

Она подняла на меня свои кроткіе большіе глаза съ опухшими отъ слезъ вѣками. Меня охватила какая-то невыразимая жалость. Мнѣ вдругъ захотѣлось ее обнять, приласкать, наговорить тѣхъ словъ, отъ которыхъ дѣ-

лается тепло на душѣ. Помню, что больше всего меня подкупала въ ней эта дѣтская покорность и беззащитность.

— Любочка, вамъ холодно?

— Нѣтъ...

— Вы хотите ѣсть?

— Нѣтъ...

— Вы устали?

— Нѣтъ... Если вамъ не трудно, дайте мнѣ стаканъ воды.

Это была трогательная просьба. Только воды, и больше ничего. Она выпила залпомъ два стакана, и я чувствовалъ, какъ она дрожитъ. Да, нужно было предпринять что-то энергичное, рѣшительное, что-то сдѣлать, что-то сказать, а я думалъ о томъ, какъ давеча не хорошо поступилъ, сдѣлавъ видъ, что не узналъ ея въ саду. Кто знаетъ, какія страшныя мысли роятся въ этой дѣвичьей головѣ...

— Знаете что, Любочка, идите спать въ нашу избушку, а я пойду гулять въ паркъ. Мнѣ, все равно, не спится, а до утра осталось немного... Потомъ мы поговоримъ серьезно.

Это предложеніе точно испугало ее. Любочка опять сдѣлала такое движеніе, какъ человѣкъ, у котораго единственное спасеніе въ бѣгствѣ. Я понялъ, что это значило, и еще разъ возненавидѣлъ Пепку: она не рѣшалась переночевать въ нашей избушкѣ, потому что боялась возбудить ревнивыя подозрѣнія въ моемъ другѣ. Мнѣ сдѣлалось обидно отъ такой постановки вопроса, точно я имѣлъ въ виду воспользоваться ея беззащитнымъ положеніемъ. «Она глупа до святости», мелькнула у меня мысль въ головѣ.

— Мнѣ рѣшительно ничего не нужно,—прошептала она въ отвѣтъ на мои обидныя мысли.—Ничего .. Только, ради Бога, не гоните меня.

— Послушайте, Любочка, вѣдь это сумасшествіе! Да, настоящее сумасшествіе... Вѣдь вы знаете, что Пепко уѣхалъ, вѣрнѣе сказать—бѣжалъ?..

— Да, знаю..

— Зачѣмъ же вы остались, въ такомъ случаѣ?

Она посмотрѣла на меня и совершенно серьезно отвѣтила:

— Не знаю... Да мнѣ и некуда идти... Я ничего не знаю.

— Послушайте, нужно же имѣть хотя маленькое самолюбіе: человѣкъ бѣгаетъ отъ васъ самымъ позорнымъ образомъ, ведетъ себя какъ... какъ... ну, какъ негодяй, если хотите знать.

— Что вы, что вы?!—испугалась еще разъ Любочка, вскакивая.—Это я сама виновата... Да, сама, а Агаѳонъ Павлычъ хорошій.

— Хорошій?.. ха-ха!

Меня начала душить безсильная злость. Что вы будете тутъ дѣлать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова была не въ порядкѣ. А она смотрѣла на меня полными ненависти глазами и тяжело дышала. «Онъ хорошій, хорошій, хорошій»... говорили эти покорные глаза и вся ея фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сдѣлалось сѣрымъ,—близился солновосходъ. Гдѣ-то въ дачномъ садикѣ чирикнула первая птичка. Бѣлая ночь кончалась. Любочка опять впала въ свое полузабытье. Въ сущности я только теперь хорошенько разсмотрѣлъ ее. Она была почти красива, вѣрнѣе сказать—миловидна. Эти большіе

испуганные глаза смотрѣли съ такой затаенной скорбью. Меня, между прочимъ, поразила одна особенность—современный женскій костюмъ совсѣмъ не приспособленъ для такихъ положеній, въ какомъ находилась сейчасъ Любочка. Шерстяная юбка была некрасиво смята, шляпа съѣхала на бокъ, лѣтняя накидка висѣла какой-то тряпкой, сложенный зонтикъ походилъ на сломанное крыло птицы; однимъ словомъ, все это не годилось для трагической обстановки, напоминая будничную дешевенькую суету.

— Нужно же что-нибудь дѣлать, Любочка,—заговорилъ я, набираясь силъ.—Такъ нельзя...

— Что нельзя?

— Да вотъ сидѣть такъ...

— Идите спать... А я посижу здѣсь... Можетъ-быть, я васъ компрометирую?

— А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете и уснете въ нашей избушкѣ? Что можетъ подумать о вашемъ поведеніи Пепко!.. Какъ это страшно...

— Вы его не любите...

— И даже очень не люблю.

Она закрыла лицо и зарыдала. Теперь ужъ я сдѣлалъ движеніе въ ожиданіи истерики.

— Я... я его такъ люблю...—шептала Любочка, не отнимая рукъ.—А васъ ненавижу... Да, ненавижу, ненавижу, ненавижу!.. Вы его не любите и разстраивате... Не отъ меня онъ убѣжалъ, а отъ васъ.

— Отъ меня?

— Да, вы, вы... Вы думаете, что я совсѣмъ дура и ничего не понимаю? Ха-ха!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, чтобы спрятать отъ меня. Я все знаю... и ненавижу васъ... всѣхъ...

Разговоръ принялъ совсѣмъ неожиданный оборотъ, и я немного растерялся въ качествѣ опытнаго заговорщика и предателя.

— Вотъ что, Любочка... Идемте гулять?

— Не хочу... Я останусь здѣсь и дождусь его. Вѣдь когда-нибудь онъ вернется изъ города... Вотъ на зло вамъ всѣмъ и буду сидѣть.

Это, очевидно, былъ бредъ сумасшедшаго. Я молча взялъ Любочку за руку и молча повелъ гулять. Она сначала отчаянно сопротивлялась, бранила меня, а потомъ вдругъ стихла и покорилась. Въ сущности, она отъ усталости едва держалась на ногахъ, и я боялся, что она повалится, какъ снопъ. Положеніе не изъ красивыхъ, и въ душѣ я проклиналъ Пепку въ тысячу первый разъ. Да, прекрасная логика: *онъ* во всемъ обвинялъ Ѳедосью, *она* во всемъ обвиняла меня,—мнѣ оставалось только пожать руку Ѳедосьѣ, какъ товарищу по человѣческой несправедливости.

— Куда вы меня тащите?—взмолилась Любочка, изнемогая.

— Не знаю... Войдите и въ мое положеніе: что я буду дѣлать съ вами? Оставить васъ я не могу, какъ это дѣлаютъ нѣкоторые... Утѣшать—безполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и остановились, наконецъ, на пустой горкѣ, мимо которой спускалась тропинка на вокзалъ. Нашлась спасительная скамейка, на которую мы могли присѣсть. Солнце уже поднималось,—солнце холодное, безъ лучей. Предъ нашими глазами разлеглось чухонское болото, перерѣзанное финляндской желѣзной дорогой; налѣво въ пыльной мглѣ едва брезжился Петербургъ. Моя дама сидѣла безмолвно, какъ тѣнь. Глаза у нея слипались, но она продолжала бороть-

ся со сномъ. Былъ моментъ, когда ей хотѣлось расплакаться,—я это видѣлъ по дрожавшимъ губамъ,—но дневной свѣтъ, видимо, дѣйствовалъ на нее отрезвляющимъ образомъ.

— Бѣдный, гдѣ-то *онъ* провелъ ночь...—думала она вслухъ.

Да, бѣдный... Чортъ бы его побралъ!..

Она посмотрѣла на меня и улыбнулась.

— Воображаю, какъ вы меня проклинаете въ душѣ,—проговорила она, продолжая улыбаться.—Цѣлую ночь няньчитесь... Я васъ, кажется, бранила?

— Да... Вѣрнѣе сказать, вы сами не знали, что говорили.

— Миленькій, простите... Я такъ страдала, такъ измучилась... Идите, голубчикъ, спать, а я посижу здѣсь. Съ первымъ поѣздомъ уѣду въ Петербургъ... Кланяйтесь Агаѳону Павлычу и скажите, что онъ напрасно считаетъ меня такой... такой нехорошей. Вѣдь только отъ дурныхъ женщинъ бѣгаютъ и скрываются...

На мой нѣмой вопросъ она сама отвѣтила:

— Вы боитесь, что я опять пріѣду? Конечно, пріѣду, но на этотъ разъ буду умнѣе и не буду лѣзть къ нему на глаза... Хотя издали посмотрѣть... только посмотрѣть... Вѣдь я ничего не требую... Идите.

— Нѣтъ... Я все равно сегодня не буду спать.

— Почему?

— Я влюбленъ...

— Вы? Когда это случилось?

— Вчера, въ восемь часовъ вечера...

— Въ Надю?

— Нѣтъ.

— Ахъ, да, эта высокая, съ которой вы гуляли въ

саду. Она очень хорошенькая... Если бы я была такая, Агаѳонъ Павлычъ не уѣхалъ бы въ Петербургъ. Вы на ней женитесь? Да? Вы о ней думали все время? Какъ пріятно бумать о любимомъ человѣкѣ... Точно самъ лучше дѣлаешься... Какъ-то немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я долго бродила мимо дачъ... Вездѣ огоньки, всѣ счастливы, у всѣхъ свой уголъ... Какъ имъ всѣмъ хорошо, а я должна была бродить одна, какъ собака, которую выгнали изъ кухни. И я все время думала...

— О чемъ?

— Вѣдь и мы могли бы такъ же жить на дачѣ съ Агаѳономъ Павлычемъ... Я такъ бы ждала его каждый день, когда онъ вернется изъ города. Онъ пріѣзжаетъ со службы усталый, сердитый, а у меня все чисто, прибрано, обѣдъ вкусный... У насъ была бы маленькая дѣвочка, которую онъ обожаетъ. Тихо, хорошо... Потомъ мы состарѣлись бы, дѣвочка уже замужемъ и вдругъ... Нѣтъ, это страшно! Мнѣ представилось, что Агаѳонъ Павлычъ умеръ раньше меня, и я хожу въ траурѣ... Знаете, такая длинная-длинная вуаль изъ крепа... Переѣзжаю жить къ дочери и все плачу, плачу... Каждый день хожу къ нему на могилу, приношу цвѣтовъ и опять плачу. Вѣдь никто не знаетъ, какой онъ былъ хорошій, добрый, какъ любилъ меня... Вы не смѣйтесь надо мной, Василій Иванычъ. Если вы дѣйствительно любите ту дѣвушку, такъ все поймете...

— Я не смѣюсь.

— И вдругъ ничего нѣтъ... и мнѣ такъ жаль себя, ту дѣвочку, которой никогда не будетъ... За что? Мнѣ самой хочется умереть... Можетъ-быть, тогда Агаѳонъ Павлычъ пожалѣетъ меня, хорошо пожалѣетъ... А я ужъ ни-

чего не буду понимать, не буду мучиться... Вы думали когда нибудь о смерти?

— Нѣтъ, какъ-то не случалось.

— Значитъ, вы еще не любите. Если человѣкъ любитъ, онъ все понимаетъ, рѣшительно все, и обо всемъ думаетъ... Я цѣлые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люблю Агаѳона Павлыча. Онъ хорошій...

Мнѣ опять сдѣлалось жаль Любочку, въ которой мучительно умиралъ цѣлый міръ и все будущее. Она была права: любовь дѣлала ее почти умной, и она многое понимала такъ, какъ въ нормальномъ состояніи никогда не понимала. Ея наивная философія навѣяла на меня невольную грусть. Въ самомъ дѣлѣ, отъ какихъ случайностей зависитъ иногда вся жизнь: не будь у насъ сосѣда по комнатамъ «черкеса», мы никогда не познакомились бы съ Любочкой, и сейчасъ эта Любочка не тосковала бы о «хорошемъ» Пепкѣ. По аналогіи я повторилъ про себя свою вчерашнюю встрѣчу съ Александрой Васильевной—тоже случайность и тоже... Дальше я старался ничего не думать, потому что мое солнце уже поднялось, и рѣшительный день наступилъ. А она, навѣрно, спитъ молодымъ, крѣпкимъ сномъ и давно забыла о моемъ существованіи...

Мы просидѣли на горкѣ до перваго поѣзда, отходившаго въ Петербургъ въ восемь часовъ утра. Любочка замѣтно успокоилась,—вѣрнѣе, она до того устала, что не могла даже горевать. Я проводилъ ее на вокзалъ.

— Желаю вамъ счастья... много счастья!—шепнула она, выглядывая изъ окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь отъ усталости. Представьте мое изумленіе, когда въ сѣняхъ я увидѣлъ спавшаго мертвымъ сномъ Пепку. Онъ и не думалъ уѣзжать

въ Петербургъ и, какъ я догадывался, весело проводилъ время въ обществѣ Мелюдэ и пьянаго Гамма, пока я отваживался съ Любочкой. Зачѣмъ нужно было обманывать еще меня? Мнѣ ужасно хотѣлось пнуть его ногой, обругать, приколотить... Меня больше всего возмущало то, что человѣкъ спалъ спокойно послѣ всѣхъ тѣхъ гадостей, какія надѣлалъ въ теченіе одного вечера,—спрятался отъ обманутой дѣвушки, обманулъ лучшаго друга... Воображаю, какъ Пепко хохоталъ и дурачился съ Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

— Пепко!

Пепко не шевелился, но я видѣлъ, что онъ проснулся и притворяется спящимъ. Это была послѣдняя ложь...

— Пепко, я тебя презираю...

Мнѣ показалось, что, когда я отвернулся, Пепко сдержанно хихикнулъ. Это животное было способно на все...

Я заснулъ не раздѣваясь. Это былъ даже не сонъ, а какая-то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудилъ осторожный стукъ въ окно,—въ окнѣ мелькалъ черный зонтикъ, точно о переплетъ рамы билась крыломъ черная птица.

— Какъ вамъ не стыдно!.. слышался голосъ Наденьки.—Вставайте и догоняйте насъ съ Шурой. Мы идемъ въ паркъ.

Изъ-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки и самымъ нахальнымъ образомъ подмигивала мнѣ по адресу чернаго зонтика.

— Мало-по-малу, не вдругъ, постепенно, шагъ за шагомъ падала, падала священная римская имперія и совсѣмъ развалилась...—бормоталъ онъ ухмыляясь.

Я отвѣтилъ ему молчаливымъ презрѣніемъ.

XXI.

Я такъ торопился, что даже забылъ о штиблетахъ и вспомнилъ объ этомъ обстоятельствѣ только на улицѣ, догоняя дѣвушекъ. Я несся точно на крыльяхъ. Помню, что я догналъ ихъ какъ разъ напротивъ той дачи съ качелями, на которой мы съ Пепкой разыгрывали нашъ «романъ дѣвушки въ бѣломъ платьѣ». Эта дѣвушка какъ разъ была налицо,—она тихо раскачивалась на своей качели съ книгой въ рукахъ. Мнѣ показалось, что она съ какимъ-то укоромъ подняла на меня свои чудные глаза, точно я измѣнялъ ей каждымъ своимъ шагомъ. Но развѣ могло быть какое-нибудь сравненіе этого ребенка съ настоящей женской красотой, живымъ олицетвореніемъ которой являлась она, Александра Васильевна. При дневномъ свѣтѣ она показалась мнѣ еще лучше. Какъ она граціозно шла, какой ростъ, какое выраженіе лица... «Она покоится стыдливо въ красѣ торжественной своей», мелькнули у меня въ головѣ стихи Пушкина, а бѣдная дѣвушка въ бѣломъ платьѣ все блѣднѣла и блѣднѣла пока не растаяла, какъ снѣгурочка.

— Вы остаетесь на цѣлый день?— говорилъ я, здороваясь съ своей дамой сердца.

— Надя этого хочетъ...—наивно отвѣтила она и улыбнулась, посмотрѣвъ на подругу.—Я уѣду вечеромъ, съ девятичасовымъ поѣздомъ.

Я чуть не вскрикнулъ: цѣлый день счастья! Меня эта мысль точно испугала... Цѣлый день—это побольше вѣчности. Мнѣ почему-то припомнился вычитанный гдѣ-то Пепкой анекдотъ о Гете, скромно признавшемся передъ смертью, что онъ былъ счастливъ въ жизни всего чет-

верть часа. А я буду счастливъ цѣлый день, цѣлую вѣчность... Самая обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня являлась міровымъ событіемъ, передъ которымъ блѣднѣло все остальное. Это было торжественное шествіе царицы, для которой свѣтило солнце, цвѣты лили свой ароматъ, благоговѣйно шептали деревья, а воздухъ окружалъ свѣтлымъ облакомъ... Я могъ только удивляться слѣпотѣ встрѣчавшихся на дорогѣ людей, которые упорно не хотѣли замѣчать проходившаго мимо нихъ совершенства. Несчастные, они ничего не понимали, а между тѣмъ все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мнѣ казалось, что онъ принадлежитъ мнѣ, и я показываю его своей избранницѣ. Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и разными способами устраняла себя, предоставляя намъ полную свободу. Наденька любила рвать цвѣты, хотя это и было строго воспрещено аншлагами, Наденька любила дурачиться, какъ козочка, и пряталась за деревьями, Наденька уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать... А я опять шелъ подъ руку съ Александрой Васильевной, опять чувствовалъ, какъ она опирается на мою руку, опять что-то разсказывалъ, и опять она такъ хорошо и довѣрчиво улыбалась.

— Скажите, пожалуйста, какъ пишутъ романы?—спрашивала она.—Я люблю читать романы... Вѣдь этого нельзя придумать, и гдѣ-нибудь все это было. Я всегда хотѣла нознакомиться съ романистомъ.

Наденька поусердствовала, и я долженъ былъ фигурировать въ качествѣ реализовавшагося романиста. Это была ложь, но въ данный моментъ я такъ вѣрилъ въ себя, что маленькая хронологическая неточность ничего не значила,—пока я печаталъ только разсказики у Ива-

на Иваныча «на затычку», но скоро, очень скоро всѣ узнаютъ, какія капитальныя вещи я представлю удивленному міру. Положимъ, я забѣгалъ немного впередъ своей славѣ, но важно вѣрить въ себя, въ свою миссію, въ свои идеалы. Однимъ словомъ, я разыгрывалъ роль романиста самымъ безсовѣстнымъ образомъ и между прочимъ сейчасъ же воспользовался разработаннымъ совмѣстно съ Пепкой романомъ дѣвушки въ бѣломъ платьѣ, поставивъ героиней Александру Васильевну и измѣнивъ начало. Я прямо взялъ нашу вчерашнюю встрѣчу и къ ней придѣлалъ романъ нашей дѣвушки въ бѣломъ платьѣ. На мою долю выпадала выигрышная роль героя, преодолѣвающаго очень серьезныя препятствія. Въ сущности я дѣлалъ самый безсовѣстный плагіатъ и нисколько не стѣснялся. Мой герой, т. е. я, высказывалъ Александрѣ Васильевнѣ все то, что я чувствовалъ и переживалъ самъ. Кромѣ того, я не пощадилъ своего друга и для контраста провелъ параллель несчастнаго романа Любочки и кое-что кстати позаимствовалъ изъ бесѣды съ ней. Подъ конецъ я самъ удивлялся самому себѣ, т. е. своей находчивости,—вѣдь это было цѣлое и обстоятельное объясненіе въ любви, замаскированное романической фабулой.

— И вы все это написали?—наивно удивлялась Александра Васильевна, окончательно убѣждаясь въ моемъ призваніи романиста.

— Да... т. е. еще не кончилъ. Необходимо кое-что исправить, кое-что дополнить, вообще—докончить.

— Ахъ, какъ это интересно, Василій Иванычъ...

— Когда выйдетъ моя книга, я преподнесу ее вамъ первой...

— Мнѣ? О, я очень благодарна...

Видимо она не догадывалась, въ чемъ заключается суть моего будущаго романа, и не узнавала себя въ нарисованной мной героинѣ. Конечно, она немножко наивна... да. Даже — какъ это выразиться повѣжливѣе?—почти глупа той красивой и милой глупостью, которую самые умные и самые строгіе мужчины такъ охотно прощаютъ хорошенькимъ женщинамъ. Увы! она никогда не получила романа дѣвушки въ бѣломъ платьѣ, потому что онъ такъ и остался въ отдѣлѣ неосуществившихся добрыхъ намѣреній, хотя въ данномъ случаѣ и сослужилъ мнѣ хорошую службу. Неужели Пепко правъ, увѣряя, что наши лучшія намѣренія никогда не осуществляются, и каждый авторъ долженъ умереть, не исполнивъ того, что онъ считаетъ лучшей частью самого себя? Только золотая посредственность довольна собой, а настоящій авторъ вѣчно мучится роковымъ сознаніемъ, что могъ бы сдѣлать лучше, да и нѣтъ такой вещи, лучше которой нельзя было бы представить. Всякая форма—только жалкое приближеніе къ авторскому замыслу...

Какъ это хорошо, когда чувствуешь, что *она* тебѣ вѣритъ и самъ вѣришь себѣ... Именно, такъ и было въ данномъ случаѣ. Александра Васильевна сама разболталась и такъ мило разсказывала мнѣ разныя мелочи изъ своей жизни.

— Вы только не смѣйтесь надо мной,—упрашивала она кокетливо.

— Почему вы думаете, что я буду смѣяться надъ вами?

Она сдѣлала серьезное лицо, посмотрѣла на меня и отвѣтила съ самой милой наивностью:

— Вы такой умный...

Мнѣ оставалось только расписаться въ собственной геніальности, что я сдѣлалъ молчаніемъ, хотя и смутился отъ собственнаго величія. Кажется, это ужъ немножко много, а, главное, преждевременно. Впрочемъ, я такъ далеко зашелъ, что дѣйствительность совершенно тонула въ цѣломъ морѣ вымысловъ и галлюцинацій. Я уже былъ знаменитъ по той простой причинѣ, что *она* шла рядомъ со мной и такъ довѣрчиво опиралась на мою руку. Вѣдь я ее велъ къ такому свѣтлому будущему и впередъ отдавалъ ей всю свою славу, всю жизнь. И вѣковыя деревья соглашались со мной, и плывшія въ небѣ облака, и бродившія между деревьями тѣни...

Наденькѣ, наконецъ, надоѣло разыгрывать роль добраго генія, и она заявила безъ церемоній:

— Господа, я хочу ѣсть... Голодна до безсовѣстности.

— Что же, отлично... Мы позавтракаемъ въ ресторанчикѣ доброй лѣсной феи, она же и ундина,—согласился я.—Это отсюда въ двухъ шагахъ...

У меня въ карманѣ былъ всего одинъ рубль, и я колебался, какъ устроиться съ нимъ: предложить дамамъ катанье на лодкѣ или «легкій» завтракъ. Наденька разрѣшила мои сомнѣнія.

Мы весело отправились къ доброй лѣсной феѣ, и я впередъ рисовалъ себѣ этотъ уютный лѣсной уголокъ, который послужитъ пріютомъ нашей любви,—въ моемъ воображеніи она уже любила меня, и я говорилъ «мы». Я впередъ любилъ этотъ пріютъ и добрую лѣсную фею. Небольшая дачка совсѣмъ пряталась подъ столѣтними соснами.

— Вотъ и пріютъ доброй лѣсной феи,—торжественно провозгласилъ я, вводя своихъ дамъ въ палатку маленькаго садика.

Наденька уже раскрыла ротъ, чтобы разсмѣяться, но взглянула на одинъ изъ столиковъ, задрапированныхъ акаціями, и превратилась въ нѣмой вопросъ. За столикомъ сидѣли Пепко и Любочка... Встрѣча была настолько неожиданна, что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, какъ дальніе родственники. Любочка смотрѣла на меня торжествующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не понималъ. Это былъ какой-то нелѣпый сонъ, и я съ облаковъ упалъ прямо на землю. Пепко по присущей ему безсовѣстности подошелъ къ Наденькѣ и попросилъ представить его «прелестной незнакомкѣ», а я подошелъ къ Любочкѣ.

— Вы удивлены, да?—спрашивала она, подавая мнѣ два пальца, и прибавила, сверкая глазами:—Ловко вы меня обманывали цѣлую ночь, а я оказалась умнѣе васъ. Доѣхала до Шувалова и сообразила все... Конечно, Агаѳонъ Павлычъ долженъ быть дома, и вы меня все время водили за носъ. Дождалась обратнаго поѣзда и вернулась... Ха-ха! Я видѣла, какъ вы погнались за своими дамами, и накрыла Агаѳона Павлыча. Онъ и не думалъ никуда уѣзжать... Я вамъ этого никогда, никогда не прощу!.. Вы безсовѣстный человѣкъ... Я даже не могла себѣ представить, что такіе люди вообще могутъ быть. Вы—чудовище...

Мнѣ ничего не оставалось, какъ только поднять плечи и сдѣлать большіе глаза. Я понялъ, что Пепко продалъ меня самымъ безсовѣстнымъ образомъ и за мой счетъ вышелъ сухъ изъ воды.

— Вотъ и отлично,—повторялъ Пепко, потирая руки.—Мы тутъ позавтракаемъ совсѣмъ по-семейному...

Это безсовѣстное животное, кажется, разсчитывало на мой несчастный рубль, сохраняя за собой престижъ лю-

безнаго кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся прогулка была испорчена. Въ довершеніе всего Пепко смотрѣлъ на Александру Васильевну такими глазами, что мнѣ хотѣлось «дать ему на морда», какъ говорилъ Гаммъ. А Пепко ничего не хотѣлъ замѣчать и даже подмигнулъ мнѣ: дескать, знаемъ, что знаемъ. Мои дамы были недовольны обществомъ Любочки, къ которой отнеслись почти враждебно. Недавняя непринужденность исчезла разомъ, и скромный завтракъ прошелъ совсѣмъ скучно. Торжествовала одна, Любочка, и сама первая взяла Пепку за руку, когда мы поднялись.

Эта встрѣча отравила мнѣ остальную часть дня, потому что Пепко не хотѣлъ отставать отъ насъ со своей дамой и довелъ свою дерзость до того, что забрался на дачу къ Глазковымъ и выкупилъ свое вторженіе какой-то лестью одной доброй матери безъ словъ. Послѣдняя, вообще, благоволила къ нему и оказывала нѣкоторые знаки вниманія. А мнѣ нельзя было даже переговорить съ Александрой Васильевной наединѣ, чтобы досказать конецъ моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала для меня... Дорогія минуты летѣли какъ птицы, а солнце не хотѣло останавливаться. Вечеръ наступалъ съ ужасающей быстротой. Моя любовь уже покрывалась холодными тѣнями и тяжелымъ предчувствіемъ близившейся темноты.

— Вы меня проводите на вокзалъ...—устало проговорила Александра Васильевна, когда вечерній чай кончился и кой-гдѣ на дачахъ замелькали огоньки.—Мнѣ пора домой...

О, милая, какъ она была хороша, завоевывая себѣ нѣсколько свободныхъ минутъ, Наденька не пошла провожать, сославшись на головную боль. Она же задержа-

ла Любочку подъ какимъ-то предлогомъ... Мы отправились вдвоемъ. Я нарочно замедлялъ шаги, чтобы опоздать на поѣздъ и выгадать лишній часъ. Мы медленно спускались съ горы, болтая о какихъ-то пустякахъ, а я испытывалъ жуткое чувство, точно разставался съ своей дамой навсегда. Бываютъ пророческіе сны и роковыя предчувствія... Въ то же время я чувствовалъ, что сегодняшній день имѣетъ рѣшающее значеніе и что онъ не вернется никогда; что совершилось что-то такое огромное и подавляющее и что я уже не могу вернуться къ своему прошлому. А маленькія ножки все шли впередъ, къ тому неизвѣстному будущему, которое должно было разлучить насъ навсегда... Мнѣ вдругъ сдѣлалось жаль себя, жаль за сѣренькое существованіе, за неизжитую молодость, за неудовлетворенный проблескъ счастья. Вѣдь съ ней уходила моя первая любовь, цѣлый свѣтлый міръ, все будущее... Вотъ остается жить только маленькое разстояніе, отдѣляющее насъ отъ вокзала. Кто знаетъ, что могло бы быть, если бы поѣздъ опоздалъ, но поѣзда опаздываютъ совсѣмъ не тогда, когда это нужно. Онъ подошелъ къ станціи какъ разъ въ моментъ, когда подходили мы, такъ что я едва успѣлъ купить билетъ. Это ужъ второй разъ сегодня я провожаю: тамъ я радъ былъ избавиться, а здѣсь готовъ былъ удержать поѣздъ руками. У меня даже мелькнула мысль ѣхать провожать въ городъ, но—увы!—въ карманѣ оставался всего одинъ пятачокъ.

— До свиданія...—говорила Александра Васильевна, появляясь въ окнѣ вагона.—Не забудьте, я васъ буду ждать. Непремѣнно...

Она что-то хотѣла еще сказать, но поѣздъ уже тронулся, и сказанная ею фраза улетѣла на воздухъ.

Я возвращался домой въ самомъ мрачномъ настроеніи, какъ человѣкъ, который нашелъ сокровище и сейчасъ же его потерялъ. Я почему-то припомнилъ психилогію творчества, которую развивалъ Пепко, и горько усмѣхнулся. Она уже начиналась.

XXII.

— Пепко, ты большой негодяй.

— Гмъ... Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй созданъ негодяемъ и не виноватъ, что природа создала его именно негодяемъ, а нехорошо то, когда люди порядочные, т. е. тѣ, которые считаютъ себя порядочными, знаются съ негодяями. Скажи мнѣ, кто твои друзья и т. д.

— Это игра словъ, а я говорю серьезно. Самое скверное то, что ты утратилъ всякій аппетитъ порядочности. Да... Ты еще можешь смѣяться надъ собственными безобразіями, а это признакъ окончательнаго паденія. Глухой не слышитъ звуковъ, слѣпой не видитъ свѣта, а ты не чувствуешь тѣхъ гадостей, которыя продѣлываешь. Однимъ словомъ, ты долженъ жениться на Любочкѣ...

Заключеніе было такъ неожиданно, что Пепко сѣлъ на своемъ дѣвственномъ ложѣ, какъ онъ называлъ матрацъ, посмотрѣлъ на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто меня такъ не выводило изъ себя, какъ этотъ дурацкій хохотъ. Я ненавидѣлъ Пепку въ эти моменты и не скупился на дерзости. Его поведеніе въ послѣднее время возмущало меня до глубины души, а теперь въ особенности, потому что я весь былъ полонъ самыми возвышенными чувствами. Александра Василь-

ѐвна являлась для меня мѣрой всѣхъ вещей, и, обличая Пепку, я думалъ о ней. Я былъ увѣренъ, что она сказала бы то же самое, что говорилъ сейчасъ я самъ.

— Послушай, время пророковъ миновало,—отвѣчалъ Пепко, успокоившись отъ хохота.—Да... Напримѣръ, явись Исаія или Іеремія и начни обличать прогрессирующую современность—имъ бы пришлось не сладко.. Да и самое слово въ наше время потеряло всякую цѣну, мы не вѣримъ словамъ, потому что беремъ ихъ на прокатъ. Слово ветхаго человѣка было полно крови, оно составляло его ограническое продолженіе, поэтому оно и имѣло громадное значеніе. Какой смыслъ твоего обличенія? Вѣдь обличать имѣетъ право только тотъ, кто самъ не сдѣлаетъ ничего дурного, а ты сдѣлаешь хуже, чѣмъ я. Если не сдѣлалъ, то еще сдѣлаешь. Вся разница между нами только въ томъ, что я избалованъ женщинами... Развѣ я виноватъ?

— Женщинами? Ха-ха!.. Мелюдэ и Любочка...

— Гмъ... Совершенства на землѣ, къ сожалѣнію, нѣтъ, и опять-таки я въ этомъ не виноватъ.

— Нѣтъ, ужъ, извини: есть совершенство. Понимаешь: есть!..

Мой отвѣтъ былъ высказанъ съ такимъ азартомъ, что Пепко посмотрѣлъ на меня испытующимъ окомъ, издалъ носовой свистъ и проговорилъ успокоеннымъ тономъ:

— По-ни-ма-ю... Мы влюблены. Что же, священная римская имперія тоже была разрушена...

— Молчи, несчастный!..

Эта глупая по своему существу сцена заставила меня задуматься. Мнѣ казалось, что Пепко былъ правъ относительно моей предполагаемой преступности. Я даже немного покраснѣлъ, когда онъ высказалъ свою мысль,

точно онъ видѣлъ мои собственныя сомнѣнія. Дѣло было такъ. Проходя мимо дачи съ качелями, я машинально засмотрѣлся на дѣвушку въ бѣломъ платьѣ,—она была какъ-то особенно хороша въ этотъ роковой моментъ, хороша, какъ весеннее утро, когда ликуетъ одинъ свѣтъ, и нѣтъ ни одной тѣни. Мнѣ показалось, что и она тоже смотритъ на меня, и я почувствовалъ какую-то сладкую истому. Потомъ у меня мелькнула въ головѣ страшная мысль: я измѣнялъ Александрѣ Васильевнѣ... Развѣ я имѣлъ право смотрѣть на другихъ женщинъ? Продолжая мысль Пепки о моей непроявившейся преступности, я пришелъ въ недоумѣніе. А если бы эта дѣвушка въ бѣломъ платьѣ полюбила меня? По-настоящему полюбила... Вѣдь я по своей испорченности могу думать объ этомъ, слѣдовательно допускаю такую возможность. И мнѣ не было бы непріятно... О, какое чудовище я вынашивалъ въ собственной груди! Пепко, по крайней мѣрѣ, дѣйствуетъ откровенно, какъ откровенно лѣсной звѣрь рветъ другого звѣря. Онъ—человѣкъ минуты и растворяется безъ остатка въ настоящемъ, какъ брошенная въ стаканъ воды крупинка соли. Я начиналъ чувствовать себя погибшимъ человѣкомъ и чувствовалъ, что единственное спасеніе—это увидать Александру Васильевну,—одинъ ея взглядъ разогналъ бы угнетавшіе меня призраки.

Тутъ явилось неопреодолимое препятствіе испортившее все. Вѣдь не могъ же я явиться къ ней въ своихъ высокихъ сапогахъ... Сдѣлавъ осмотръ своего сборнаго репортерскаго костюма, я пришелъ къ печальному заключенію, что онъ удовлетворяетъ еще меньше, чѣмъ сапоги. Оставался компромиссъ, именно добыть чужой костюмъ. Гардеробъ Пепки находился въ положеніи

излюбленной имъ разрушавшейся священной римской имперіи и заставлялъ желать многаго. Студенты-товарищи разъѣхались по домамъ. Однимъ словомъ, скверно, какъ только можетъ быть скверно. На меня напало отчаяніе. Въ самомъ дѣлѣ, судьба могла бы быть немного повѣжливѣе... Я повѣрилъ свое горе Пепкѣ, и онъ отнесся къ нему съ большимъ сочувствіемъ, чѣмъ тронулъ меня.

— Нѣтъ, въ этихъ сапожищахъ невозможно,—размышлялъ онъ, оглядывая меня.—Слава и женщины не любятъ, когда къ нимъ подходятъ въ скверныхъ сапогахъ. Да... Это, такъ сказать, міровой вопросъ. Я даже подозрѣваю, что и священная римская имперія разрушилась главнымъ образомъ потому, что римляне не додумались до сапогъ.

— Отвяжись ты съ своей римской имперіей!

— А она, значитъ, приглашала тебя къ себѣ? Гмъ... Для начала недурно. Пикантная штучка...

— Не смѣй такъ говорить...

— Если взять за бока академію...—вслухъ думалъ Пепко.—Гришукъ выше тебя ростомъ, Фрей толще, Порфирычъ санкюлотъ... гмъ... Ничего не выйдетъ, какъ ни верти. Молодинъ куда-то пропалъ... Да и неловко съ такими франтиками амикошонствовать... Знаешь что, Вася...

Пепко повертѣлъ пальцемъ около лба и проговорилъ съ авторитетомъ старшины присяжныхъ засѣдателей:

— Тебѣ ничего не остается, какъ только кончить твой романъ. Получишь деньги и тогда даже мнѣ можешь оказать протекцію по части костюма!.. Мысль!.. Единственный выходъ... Одна нужда исскусствомъ дви-

гала отъ вѣка и побуждала человѣка на бремя тяжкое труда, такъ сказалъ Вильямъ Шекспиръ.

Пепко вторично угадалъ мою мысль. Я уже думалъ объ этомъ, хотя не съ экономической точки зрѣнія. У меня явилась потребность именно въ такой работѣ, которая открывала необъятный просторъ фантазіи. Вотъ единственный случай, когда можно излить на бумагу всѣ свои чувства, всѣ свои мысли и заставить другихъ чувствовать и думать то же самое. Это будетъ замаскированная исповѣдь, то, чего нельзя создать никакимъ трудомъ, никакой добросовѣстностью. Мнѣ припомнилась аллегорическая картина, изображавшая происхожденіе живописи. Южная лунная ночь. У стѣны стоятъ молодой человѣкъ и молодая дѣвушка. Онъ углемъ вычерчиваетъ на стѣнѣ абрисъ ея головки. Ахъ, какъ это справедливо и вѣрно... Вѣдь и я буду дѣлать то же, но только не въ области живописи, которую Гейне называетъ плоской ложью, а создамъ чудный женскій образъ словомъ. Все остальное будетъ только фономъ, подробностями, свѣтотѣнью, а главное—она, которая выйдетъ въ ореолѣ царицы.

— О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человѣкъ тебя любитъ,—повторилъ я самому себѣ принимаясь за работу съ ожесточеніемъ.—Я буду достоинъ тебя...

Но этотъ порывъ привелъ къ цѣлому ряду самыхъ печальныхъ открытій. Поречитавъ свои рукописи, я пришелъ къ грустному заключенію, что все написанное мной рѣшительно никуда не годится, какъ плохая выдумка неопытнаго лгуна. Не было жизни, потому что не было знанія жизни, и мои дѣйствующія лица походили на манекеновъ изъ папье-маше. Я только теперь понялъ, что

придумывать жизнь нельзя, какъ нельзя довольствоваться фотографіями. За внѣшними абрисами, линіями и красками должны стоять живые люди, нужно ихъ видѣть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процессъ въ психологіи творчества, еще болѣе таинственный, чѣмъ зарожденіе какого-нибудь реально живого существа. Въ самомъ дѣлѣ, какая страшная сила заложена въ произведенія, созданныя двѣ тысячи лѣтъ назадъ и вызывающія у насъ слезы на глазахъ сейчасъ. Это такая неизмѣримо-громадная задача, передъ которой цѣпенѣлъ умъ. Нужно было быть избранникомъ, солью земли, чтобы набраться рѣшимости приступить къ такой задачѣ. И, представьте себѣ, то, что называется классической литературой, самыя выдающіяся произведенія были написаны за много лѣтъ раньше, чѣмъ явилась критика съ своимъ аршиномъ. При чемъ тутъ эта критика, и какъ она бѣдна... Я много читалъ и нигдѣ не нашелъ того, что сейчасъ раскрывалось передъ моими глазами. Нѣтъ, неправда: въ исповѣди Ж. Ж. Руссо есть одно мѣсто, гдѣ онъ близко подходилъ къ истинѣ, объясняя процессъ зарожденія своихъ призведеній. Кстати, я припомнилъ афоризмъ Любочки, что влюбленный человѣкъ понмаетъ все, какъ я сейчасъ понималъ все. Да, все... Это смѣло сказано и можетъ вызвать снисходительную улыбку, но это правда, и я еще разъ обращаюсь къ сравненію: любовь—это молнія, которая всполохомъ выхватываетъ громадную картину жизни, и вы видите эту картину въ мельчайшихъ подробностяхъ, ускользающихъ отъ вниманія въ обыкновенное время.

Бываютъ такіе моменты, когда человѣкъ начинаетъ провѣрять себя, спускаясь въ душевную глубину. Вѣдь себя нельзя обмануть, и нѣтъ суровѣе суда, какъ тотъ,

который человѣкъ производитъ молча надъ самимъ собой. Эта психологическая анатомія не оставляетъ камня на камнѣ. Въ такія только минуты мы дѣлаемся искренными вполнѣ. Провѣряя самого себя, я пришелъ къ выводамъ и заключеніямъ самаго неутѣшительнаго характера и внутренно обличалъ себя. Прежде всего, не доставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только съ чистотой драгоцѣннаго металла, гарантированнаго природой отъ опасности окисленія. Эту чистоту замѣняла условная порядочность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. На этомъ скромномъ основаніи не могло развиться въ полную величину ни одно чувство, и оно появилось на свѣтъ уже тронутымъ и саморазлагающимся, какъ новый листъ растенія, который развертывается изъ почки съ роковыми пятнами начинающагося гніенія. Гнилостное зараженіе происходило еще въ зародышѣ. Какъ видите, я нисколько не обманывалъ себя отнсительно собственной особы и меньше всего вѣрилъ въ такъ называемые молодые порывы. Эта безпощадная критика имѣла тотъ смыслъ, что такимъ душевнымъ тономъ средняго человѣка нельзя писать, потому что все исходитъ изъ таинственныхъ глубинъ нашего чувства. Мой романъ сейчасъ меня приводитъ въ отчаяніе, какъ величайшая нелѣпость, вылѣпленная съ грѣхомъ пополамъ по чужому шаблону. Я въ отчаяніи швырнулъ свою рукопись въ уголъ.

— Ты это что?—удивился Пепко, никогда не терявшій присутствія духа и лишенный способности приходить въ отчаяніе.—Малодушіе?.. Разочарованіе въ собственной особѣ?

Я молчалъ и только смотрѣлъ на него злыми глазами,

Эта самодовольная посредственность не могла ничего понять, такъ что слова были излишни. Въ Пепкѣ я ненавидѣлъ сейчасъ самого себя.

— Мы желали быть великими... г-мъ...—думалъ вслухъ Пепко, начиная шагать по конурѣ.—Желаніе по своему существу довольно скромное, какъ всякое стремленіе къ совершенству, прогрессу и еще чортъ знаетъ къ чему-то зазвонистому, сногсшибательному. Хе-хе... Прежде чѣмъ человѣкъ что-нибудь сдѣлалъ, онъ разрѣшаетъ вопросъ о своей правоспособности на таковое величіе и геройство. Очень недурно и даже мило... Настоящій большой талантъ внѣ всякой условной мѣры, вѣрнѣе—онъ самъ мѣра самому себѣ. Всѣ эти рамочки, шаблоны и трафареты существуютъ только для жалкой посредственности... Настоящій большой человѣкъ никогда не будетъ думать, есть у него талантъ или нѣтъ, какъ не думаетъ объ этомъ рѣка, когда въ весеннее половодье выступаетъ изъ береговъ, какъ недумаетъ соловей, который поетъ свою любовь. Вышло одно, именно, это томящая потребность выложить свою душу, охватить міръ, подняться вверхъ... Даже самая добродѣтель теряетъ здѣсь всякую цѣну, потому что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохновеніе, высокій порывъ.

— Рѣка, берущая, начало изъ нечистаго источника, не можетъ быть чистой, т. е. утолять жажду.

— Все это прописная мораль, батенька... Если ужъ на то пошло, то посмотри на меня: передъ тобой стоитъ великій человѣкъ, который напишетъ «пѣсни смерти». А вѣдь ты этого не замѣчалъ... Живешь вмѣстѣ со мной и ничего не видишь. Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой монетой...

— Твое величіе совершенно недоступно... невооруженному глазу.

— Въ тебѣ говоритъ зависть, мой другъ, но ты еще можешь проторить себѣ путь къ безсмертію, если впослѣдствіи напишешь свои воспоминанія о моей бурной юности. У всѣхъ великихъ людей были такіе друзья, которые нагрѣвали свои руки около огня ихъ славы... Dixi. Да, «пѣсни смерти»—это вся философія жизни, потому что смерть все, а жизнь нуль.

XXIII.

Мое отчаяніе продолжалось цѣлую недѣлю, потомъ оно мнѣ надоѣло, потомъ я окончательно махнулъ рукой на литературу. Не всякому быть писателемъ... Я старался не думать о писаной бумагѣ, хоть было и не легко разставаться съ мыслью о грядущемъ величіи. Началась опять будничная сѣренькая жизнь, походившая на дождливый день. Распрощавшись навсегда съ собственнымъ величіемъ, я обратился къ настоящему, а это настоящее, въ лицѣ редактора Ивана Ивановича, говорило:

— Что вы пишете мелочи, молодой человѣкъ? Вы написали бы намъ вещицу побольше... Да-съ. Главное—названіе. Что тамъ ни говори, а названіе — все... Французы это отлично, батенька, понимаютъ: «Огненная женщина», «Руки, полныя крови, розъ и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное въ названіи, чтобы у читателя заперло духъ отъ одной обложки...

Первый мѣсяцъ своей дачной жизни мы съ Пепкой какъ-то совсѣмъ порвали и съ академіей и съ Петербургомъ. Не «необходимость жевать» напоминала намъ

о томъ и о другомъ. Буквы а, е и о, которые Пепко называлъ своими кормилицами, давали ничтожный заработокъ, репортерской работы лѣтомъ не было, вообще приходилось серьезно подумать о томъ, что и какъ жевать. А тутъ еще Любочка, которая начала систематически донимать Пепку. Она являлась ровно черезъ день, какъ на службу, и теперь уже не стѣснялась моимъ присутствіемъ, чтобы разыгрывать сцены ревности, истерики и даже обмороки. Пепко только скрипѣлъ зубами отъ подавленной ярости, но ничего не могъ подѣлать. При появленіи Любочки я обыкновенно уходилъ, коварно предоставляя друга его собственной судьбѣ. Возвращаясь, я заставалъ самую мирную картину: Пепко обладалъ секретомъ успокоивать Любочку. Мнѣ казалось, что онъ пускалъ въ ходъ тотъ же маневръ, какъ хозяинъ моей первой квартиры. Онъ заговаривалъ Любочку пустыми словами. Она была счастлива, какъ подёнка, и уѣзжала домой съ улыбкой на лицѣ. Пепко провожалъ ее тоже съ улыбкой, а когда поѣздъ отходилъ, впадалъ въ моментальную ярость и начиналъ ругаться даже по-чухонски.

— Она изъ меня всѣ жилы вытянула... Что я буду дѣлать? Отчего я не турецкій султанъ и не могу бросить ее воду, зашивъ предварительно въ мѣшокъ? Отчего я не могу ее заточить куда нибудь въ монастырь, какъ дѣлалось въ доброе старое время? Проклятіе вамъ, всѣ женщины, всѣ, всѣ... Я чувствую, что меня оставляютъ послѣднія силы, и я могу только воскликнуть съ милашкой Нерономъ: какой великій артистъ погибаетъ!.. Проклятіе... и еще разъ проклятіе... О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это притворство, это мертвая петля, это отрава...

— Послушай, ты говоришь какъ старинный византійскій хронографъ....

— Женщина—это воплощеніе всяческой неправды и грѣха. Она создана на нашу погибель, вотъ эта самая милая женщина... И вѣдь какими дѣтскими средствами онѣ насъ пугаютъ—смѣшно сказать. Любочка твердитъ одно: утоплюсь, отравлюсь, брошусь подъ поѣздъ. Нарочно читаетъ газеты, вырѣзываетъ изъ нихъ подходящіе случаи самоубійства и преподноситъ ихъ мнѣ въ назиданіе. Какъ это тебѣ понравится? И вѣдь знаю, отлично знаю, что не отравится и не утопится, а всетаки какъ-то жутко... Чортъ ее знаетъ, что ей взбредетъ въ башку! Благодарю покорно... Оставитъ еще записку: «Умираю отъ несчастной любви къ такому-то студенту». Всѣ газеты перепечатаютъ, потомъ носу никуда нельзя будетъ показать... О, женщины, проклятіе вамъ! Не даромъ въ Китаѣ считается верхомъ неприличія спросить почтеннаго человѣка о его женѣ или дочеряхъ...

— Послушай, Пепко, вѣдь это прекрасная тема...

— Тема? Тьфу... Знаешь чѣмъ все кончится: я убѣгу въ Америку и осную тамъ секту ненавистниковъ женщинъ. Въ члены будутъ приниматься только тѣ, кто дастъ клятву не говорить ни слова съ женщиной, не смотрѣть на женщину и не думать о женщинѣ.

— Бѣдныя женщины!.. А я все-таки воспользуюсь твоей темой и даже названіе придумалъ: «Романъ Любочки».

— А, чортъ, все равно... Катай Ивану Иванычу. Только названіе нужно другое... Что-нибудь этакое, понимаешь, забористое: «На волосокъ отъ погибели».

«Бури сердца», «Тигръ въ юбкѣ». Иванъ Иванычъ съ руками оторветъ...

— Да, но... гм... Какъ-то претитъ, Пепко.

— Э, вздоръ! Печатаясь у Ивана Иваныча, никто не мѣшаетъ тебѣ сдѣлаться Шекспиромъ... Это даже полезно, потому что расширяетъ горизонтъ. Необходимо пройти школу...

Пепко умѣлъ возвышаться до настоящаго краснорѣчія, какъ я уже говорилъ, но въ данномъ случаѣ его слова для меня были пустымъ звукомъ. Конечно, я писалъ кое-какія мелочи для Ивана Иваныча, но здѣсь шемъ вопросъ о «большой вещицѣ», а это уже совсѣмъ другое дѣло. У меня уже составился цѣлый планъ настоящаго романа во вкусѣ Ивана Иваныча, и оставалось только осуществить его. Но даже въ замыслѣ мнѣ все это казалось жалкимъ предательствомъ, почти измѣной, потому что все это было только сдѣлкой и подлаживаньемъ. Писать для настоящаго большого журнала и писать для Ивана Иваныча—вещи несоизмѣримыя, и я впередъ чувствовалъ давленіе невидимой руки. Съ этой именно точки зрѣнія забракованный мной собственный романъ показался мнѣ особенно милымъ. Да, онъ выдуманъ, онъ вмѣсто живыхъ лицъ даетъ монекеновъ, онъ не художественное произведеніе вообще, но зато онъ писался вполнѣ свободно, писался для избранной публики, писался вообще съ тѣмъ подъемомъ духа, который только и дѣлаетъ автора. А отъ Ивана Иваныча вѣяло спертымъ воздухомъ мелочной лавочки и ремесленничествомъ, которое сводится на угожденіе публикѣ. Тутъ не до идей и высокихъ помысловъ... Я впередъ предвидѣлъ, какъ отъ такой работы будетъ понижаться мой собственный душевный уровень, какъ

я потеряю чуткость, языкъ, оригинальность и размѣняюсь на мелочи. Вообще, скверно. И это съ самаго начала, а что же будетъ потомъ?

Я опять перечитывалъ свой романъ и начиналъ находить въ немъ нѣкоторыя достоинства, какъ описанія природы, двѣ-три удачныхъ сцены, двѣ-три характеристики. Есть авторы, которые выступаютъ сразу въ своемъ настоящемъ амплуа, и есть другіе авторы, которые поднимаются къ этому амплуа точно по лѣсенкѣ. Вдумываясь въ свое сомнительное дѣтище, я отнесъ себя къ послѣднему разряду. Да, впереди предстоялъ цѣлый рядъ неудачъ, разочарованій и ошибокъ, и только этимъ путемъ я могъ достигнуть цѣли. Я нисколько не обманывалъ себя и видѣлъ впередъ этотъ тернистый путь. Что же, у всякаго своя дорога... Вѣдь музыкантъ, прежде чѣмъ перейти къ композиторству, долженъ пройти громадную школу, художникъ тоже, и одна теорія ни тому ни другому не даетъ еще ничего, кромѣ знанія. Автору приходится сразу выступать композиторомъ, и въ этомъ громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный періодъ, который только постепенно смѣняется тѣмъ *своимъ*, что одно только и дѣлаетъ автора. Въ этомъ *своемъ*, какъ бы оно мало ни было, заключается весь авторъ; разница только въ степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и каптенармусы.

Всѣ эти мысли и чувства проходили у меня довольно безсвязно, путались, сбивали другъ друга и производили тотъ хаосъ, въ которомъ трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать... Ждать было нечего. Скрѣпя сердце я принялся за работу для Ивана Иваныча. Помню, какъ мнѣ было совѣстно писать: «Романъ

въ трехъ частяхъ». Названіе пока еще не выяснилось, вѣрнѣе — было нѣсколько названій. Я старался писать потихоньку отъ Пепки, когда онъ пропадалъ въ «Розѣ» или отправлялся съ Любочкой гулять въ паркъ. Стоялъ уже іюль. Погода была жаркая, и работа туго подвигалась впередъ. Мнѣ все казалось, что я пишу не то, что слѣдуетъ, и начинаю торговать собой. Это было мучительное сознаніе, которое отправляло всю работу. Предо мной неотступно стоялъ Иванъ Иванычъ съ своей жирной улыбочкой и поощрительно говорилъ: «Ничего, уйдетъ на затычку...» А за нимъ стояла громадная толпа, которая требовала закрученной темы, кровавыхъ эпизодовъ, экстравагантной завязки. Я начиналъ ненавидѣть и эту толпу и самого Ивана Иваныча, которые совмѣстно давили меня. Вѣдь, кажется, можно было написать хорошую «вещицу» и для этой толпы, о которой авторъ могъ и не думать, но это только казалось, а въ дѣйствительности получалось совсѣмъ не то: еще ни одно выдающееся произведеніе не появлялось на страницахъ изданій такихъ Ивановъ Иванычей, какъ причудливая орхидея не появится гдѣ-нибудь около забора. Всякому овощу свое мѣсто и свое время.

Разъ я сидѣлъ и писалъ въ особенно уныломъ настроеніи, какъ пловецъ, отъ котораго бѣжитъ желанный берегъ все дальше и дальше. Мнѣ опротивѣла моя работа, и я продолжалъ ее только изъ упрямства. Все равно, нужно было кончать такъ или иначе. У меня въ характерѣ было именно упрямство, а не выдержка характера, какъ у Пепки. Отсюда проистекали неисчислимыя послѣдствія, о которыхъ послѣ.

Итакъ, я сидѣлъ за своей работой. Въ раскрытое окно такъ и дышало лѣтнимъ зноемъ. Пепко проводилъ эти

часы въ «Розѣ», гдѣ проходилъ курсъ бильярдной игры или гулялъ въ тѣни акацій и черемухъ съ Мелюдэ. Гдѣ-то сонно жужжала муха, гдѣ-то слышалась лѣнивая перебранка нашихъ милыхъ хозяевъ, въ окно летѣла пыль съ шоссе.

— О, юноша, который пренебрегъ радостями земли и предался сладкому труду, — раздался въ окнѣ знакомый голосъ.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигивающее лицо Порфира Порфирыча. Онъ былъ, по обыкновенію, навеселѣ, причмокивалъ и топтался на мѣстѣ. Изъ-за его спины заглядывали въ мое окно лица остальныхъ членовъ «академіи». Они были всѣ тутъ налицо, и даже самъ Спирька съ его краснымъ носомъ.

— Господа, пожалуйте...— приглашалъ я, пряча свою рукопись.

Компанія ввалилась въ нашу хибарку и наполнила все пространство, такъ что нечѣмъ сдѣлалось дышать.

— Ото дворюга...— хрипло басилъ Гришукъ, который чуть не доставалъ головой потолка.—А гдѣ Пепко, сучій сынъ? Уѣхалъ и адреса не оставилъ, а мы же сами нашли.

— Не въ этомъ дѣло...—бормоталъ Селезневъ.—Мы хотѣли подышать свѣжимъ воздухомъ, какъ это дѣлаютъ теперь всѣ порядочные люди, и сдѣлать вамъ сюрпризъ. Адресъ-то я разыскалъ... Зашелъ къ Ѳедосьѣ и разыскалъ. Тамъ еще познакомился съ нѣкоторой ученой дѣвицей, которая тоже собирается къ вамъ въ гости. Говоритъ, что ее приглашалъ Пепко. А впрочемъ, не въ этомъ дѣло...

Селезневъ протянулъ сжатый кулакъ, и я понялъ, что

у него есть деньги, и что онъ опять предлагаетъ мнѣ братски раздѣлить ихъ.

— Что же мы будемъ здѣсь сидѣть зря?—заговорилъ Спирька, вытирая свою рожу шелковымъ платкомъ.— Мы вѣдь пріѣхали подышать воздухомъ... Гдѣ у васъ здѣсь воздухъ-то полагается?

Можно себѣ представить пріятное изумленіе Пепки, когда вся «академія» ввалилась въ садикъ «Розы». Онъ, дѣйствительно, гулялъ съ Мелюдэ, которая, при видѣ незнакомыхъ мужчинъ, вдругъ почувствовала себя женщиной, взвизгнула и убѣжала.

— Это что — спрашивалъ Спирька, провожая глазами убѣгавшую даму. — Ахъ, не хорошо, молодой человѣкъ, и даже весьма вредно... Ужо вотъ маменькѣ, напишу, какую вы здѣсь тѣнь наводите.

Дальнѣйшія событія послѣдовали въ обычномъ порядкѣ. Явился «человѣкъ» съ салфеткой, явилась бутылка водки, бутерброды, селянка, ботвинья и т. д. Фрей былъ по обыкновенію молчаливъ, молча пилъ рюмку за рюмкой и молча сосалъ свою трубочку. Спирька раскраснѣлся, хлопалъ всѣхъ по плечу и предлагалъ всѣмъ денегъ. Гришукъ впалъ въ тяжелое настроеніе, которое имъ овладѣвало послѣ десятой рюмки. Селезневъ причмокивалъ, борматалъ, подмигивалъ и все носился съ своимъ кулакомъ, въ которомъ оказалась зажатой «красная бумага», т. е. десять рублей. Пепко былъ на высотѣ призванія и распоряжался въ качествѣ тороватаго хозяина. Все равно, Спирька заплатитъ за всѣхъ. У меня такъ шумѣло въ головѣ и я былъ радъ, что опять вижу «академію». Люди въ сущности очень хорошіе... Настоящее веселье началось съ появленіемъ Гамма, котораго Пепко отрекомендовалъ какъ своего лучшаго друга.

— Ну, нѣмецкая фигура, показывай свой воздухъ...— заплетавшимся языкомъ приставалъ къ нему Спирька.— Тутъ была эта штучка... Ахъ, развей горе веревочкой!..

День промелькнулъ незамѣтно, а тамъ загорѣлись разноцвѣтные фонарики и таинственная мгла покрыла «Розу». Гремѣлъ хоръ, пьяный Спирька плясалъ въ присядку съ Мелюдэ, цѣловалъ Гамма и вообще развернулся по-купечески. Пьяный Гришукъ спалъ въ саду. Бодрствовалъ одинъ Фрей, попрежнему пилъ и попрежнему сосалъ свою трубочку. Была уже полночь, когда Спирька бросилъ на полъ хору двадцать-пять рублей, обругалъ ни за что Гамма и заявилъ, что хочетъ дышать воздухомъ.

— Жена спроситъ... гдѣ былъ? Ну, а я скажу... ежели я дышалъ...

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улицѣ, т. е. на шоссе. Подняли даже Гришука, который только моталъ головой. Пепко повелъ компанію черезъ Второе Парголово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянулъ пѣсню, кто-то подхватилъ, и мирныя обители огласились неистовымъ ревомъ. Впереди шелъ Селезневъ, выкидывая какіе-то артикулы, какъ тамбуръ-мажоръ. Помню, какъ мы поровнялись съ дачей, гдѣ жила «дѣвушка въ бѣломъ платьѣ». Въ мезонинѣ распахнулось окно, въ немъ показалось испуганное дѣвичье лицо и сейчасъ же скрылось...

«Романъ дѣвушки въ бѣломъ платьѣ» былъ конченъ.

XXIV.

Эту главу я могъ бы назвать: «Пробужденіе льва», какъ Пепко называлъ тотъ моментъ, когда просыпался утромъ.

— Мнѣ кажется, что я только-что родился, —увѣрялъ онъ, валяясь въ постели.—Да... Вѣдь каждый день вѣчность, по крайней мѣрѣ, цѣлый вѣкъ. А какъ я засыпаю, мнѣ кажется, что я умираю. Каждое утро, это—новое рожденіе, и только наше неисправимое легкомысліе скрываетъ отъ насъ его великое значеніе и внутренній смыслъ. Я радуюсь, когда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей крови, что живу и хочу жить... Вѣдь такъ немного дней отпущено намъ на долю. Однимъ словомъ, пробужденіе льва...

Разсужденія, несомнѣнно, прекрасныя; но то утро, которое я сейчасъ буду описывать, являлось яркимъ опроверженіемъ пепкиной философіи. Начать съ того, что въ собственномъ смыслѣ утра уже не было, потому что солнце уже стояло надъ головой—значитъ, былъ лѣтній полдень. Я проснулся отъ легкаго стука въ окно и сейчасъ же заснулъ. Стукъ повторился. Я съ трудомъ поднялъ тяжелую вчерашнимъ похмельемъ голову и увидалъ заглядывавшее въ стекло женское лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

— Пепко, вставай... Къ тебѣ.

— Къ чорту...—мычалъ Пепко.

Онъ лежалъ на полу въ самой разтерзанной позѣ, какъ птица, которую раздавило колесомъ.

— Пепко, это свинство.

Пепко сѣлъ, покачалъ похмельной головой, и взглянувъ въ окно, только развелъ руками. Онъ узналъ медичку Анну Петровну. Я вчера совершенно забылъ предупредить его, что она собирается къ намъ.

— Голубушка, Анна Петровна, подождите сущую малость,—взмолился Пепко, вскакивая горошкомъ.—Вотъ такъ фунтъ!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положенія, кромѣ жестокаго похмелья, заключалась главнымъ образомъ въ томъ, что даже войти въ нашу избушку не было возможности: сѣни были забаррикадированы мертвыми тѣлами «академіи». Окончаніе вчерашняго дня пронеслось въ очень смутныхъ сценахъ, и я могъ только удивляться, какъ попалъ къ намъ нѣмецъ Гаммъ, котораго Спирька хотѣлъ бить и который теперь спалъ, положивъ свою нѣмецкую голову на русское брюхо Спирьки.

— Господа, вставайте...—сдѣлалъ я попытку разбудить.

Отвѣтилъ только одинъ голосъ Спирьки, проговоривъ въ изнеможеніи:

— Испить бы... Все нутро горитъ.

Потомъ голосъ прибавилъ умоляющимъ тономъ:

— Гдѣ я?

Въ сѣняхъ было темно, и Спирька успокоился только тогда, когда при падавшемъ черезъ дверь свѣтѣ увидѣлъ спавшаго Фрея, Гришука и Порфирія Порфирыча. Всѣ, спали какъ зарѣзанные. Пепко сдѣлалъ попытку разбудить, но изъ этого ничего не вышло, и онъ трагически поднялъ руки кверху.

— Что я буду дѣлать? О, что я буду дѣлать?.. Это какой-то свиной хлѣвъ, а не жилище порядочныхъ людей. Нечего сказать, товарищи...

— Ты иди сейчасъ съ Анной Петровной гулять въ паркъ,—совѣтовалъ я, а я тѣмъ временемъ все устрою. Ты потомъ найдешь насъ въ «Розѣ»...

— Но вѣдь у меня башка трещитъ, какъ у чорта... Я ничего не понимаю, наконецъ. О, несчастный юноша!..

— Ничего, на свѣжемъ воздухѣ оправишься...

— Я чувствую себя свиньей, винной бочкой... Нѣтъ ли хоть нашатырнаго спирта?

— Ступай, ступай... Анна Петровна ждетъ. Оказывается, что ты самъ приглашалъ ее въ гости...

Большаго наказанія для Пепки нельзя было придумать. Я въ окно поздоровался съ гостьей и сказалъ, что Пепко сейчасъ выйдетъ. Анна Петровна сегодня выглядѣла свѣжѣе обыкновеннаго и казалась такой миловидной. Въ видѣ уступки лѣтнему сезону на черной касторовой шляпѣ у нея былъ неумѣло прицѣпленъ какой-то сиреневый бантъ. Вотъ посмѣялась бы Наденька надъ этимъ наивнымъ украшеніемъ,—она была великая мастерица по части дамскихъ туалетовъ.

— Къ намъ сейчасъ нельзя войти...—сбивчиво объяснялъ я.—Дача у насъ крошечная, а вчера къ намъ пріѣхали изъ города гости...

— А, понимаю,—протянула Анна Петровна однимъ звукомъ, и потрепанный черный зонтикъ въ ея рукѣ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.—Я пріѣхала, кажется, не во-время.

— Вы не можете пріѣхать не во-время,—галантно заявилъ Пепко, показываясь въ калиткѣ.—Я васъ давно поджидалъ... погода стоитъ отличная...

Анна Петровна съ нечальной улыбкой посмотрѣла на его измятое лицо, на опухшіе красные глаза и какъ-то брезгливо подала свою маленькую худую ручку.

— Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна...

— Отлично... Я такъ давно не дышала свѣжимъ воздухомъ.

Пепко подошелъ ко мнѣ и прошепталъ:

— Кажется, намъ теперь лучше не ходить по Второму Парголову послѣ вчерашняго концерта?

— Ступай въ паркъ Третьимъ Парголовымъ... Намъ теперь входъ во Второе Парголово закрытъ навсегда.

Этотъ вопросъ Пепки поднялъ въ моей памяти яркую картину нашего вчерашняго безобразія. Это было не теоретическое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вторымъ Парголовымъ все кончено... Что подумала вчера о насъ эта милая дѣвушка въ бѣломъ платьѣ? Нѣтъ, это ужасно... Идетъ орава пьяныхъ людей и горланитъ пѣсни. Такъ могли сдѣлать пьяные дворники, дачный мужикъ, чухонцы. возвращающіеся изъ города.. И въ числѣ этихъ забулдыгъ и трактирныхъ завсегдатаевъ идетъ будущій русскій писатель? О, онъ никогда не будетъ писателемъ... Слышите, дѣвушка въ бѣломъ платьѣ: никогда! Меня охватило такое отчаяніе, что я готовъ былъ расплакаться, какъ ребенокъ. Неужели это былъ я? Гдѣ же разумъ, характеръ, совѣсть, гдѣ самая простая порядочность? Достаточно было пріѣхать пьяному купцу, книжнику, чтобы мы всѣ напились какъ сапожники. Обидно, возмутительно, несправедливо... И какъ должна насъ презирать вотъ эта сѣрая дѣвушка Анна Петровна, вся такая чистенькая, свѣтлая и какъ-то печально-серьезная. Она явилась живой совѣстью нашего безобразнаго поведенія... Объ Александрѣ Васильевнѣ я старался не думать: это было святотатствомъ.

— Послушайте, а гдѣ моя красная бумага?—умоляюще спрашивалъ хриплымъ голосомъ проснувшійся Селезневъ.

Онъ шарилъ около себя руками и приходилъ въ отчаяніе: деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этотъ случай разсмѣшилъ Спирьку до слезъ.

— Ахъ, Порфирычъ, жаль мнѣ тебя... Вотъ тебѣ и несгараемый шкапъ! Ошибку давалъ...

Старикъ вскочилъ, одѣлся и побѣжалъ въ паркъ ра-

зыскивать потерянныя деньги, а Спирька лежалъ и хохоталъ.

— Говорилъ вчера: отдай мнѣ на сохраненіе... Ахъ, прокуратъ, прокуратъ!.. Ну, да деньги дѣло наживное: не радуйся—нашелъ, не тужи—потерялъ.

Черезъ часъ вся компанія сидѣла опять въ садикѣ «Розы», и опять стояла бутылка водки, окруженная разной трактирной снѣдью. Всѣ опохмелялись съ какимъ-то молчаливымъ ожесточеніемъ, хлопая рюмку за рюмкой. Исключеніе представлялъ только одинъ я, потому что не могъ даже видѣть, какъ другіе пьютъ. Особенно усердствовалъ вернувшійся съ безуспѣшныхъ поисковъ Порфиръ Порфирычъ и сейчасъ же захмелѣлъ. Спирька продолжалъ надъ нимъ потѣшаться и придумывалъ разныя сентенціи.

— Можетъ-быть, бѣдный человѣкъ нашелъ твои десять цѣлковыхъ, ну, Богу помолится за тебя... Все же однимъ грѣхомъ меньше.

— Не въ этомъ дѣло... гмъ... Послѣднія были.

— А я такъ дѣлаю: постоянно молю Бога, чтобы самому кого не обидѣть, а ежели меня кто обидитъ—мнѣ же лучше. Такъ-то, малиновая голова...

Гришукъ и Фрей упорно молчали, какъ люди, которые шли на что-то съ отчаянной рѣшимостью.

— Эй,ты, зебра полосатая, еще ейнъ фляшъ!—приказывалъ Спирька трактирному человѣку и хохоталъ: слово «зебра» ему казалось очень смѣшнымъ.

«Академія» была уже на первомъ взводѣ, когда появился Пепко въ сопровожденіи своей дамы. Меня удивила рѣшимость его привести ее въ этотъ вертепъ и отрекомендовать «друзьямъ». По глазамъ дѣвушки я замѣтилъ, что Пепко успѣлъ наговорить ей про академи-

ковъ ни вѣсть что, и она отнеслась ко всѣмъ съ особеннымъ почтеніемъ, потому что видѣла въ нихъ литераторовъ.

— Зачѣмъ ты затащилъ ее сюда?—журилъ я Пепку.

— Во-первыхъ, дома у насъ нѣтъ ни чаю ни сахару, во-вторыхъ, у меня башка трещитъ съ похмелья, а дома ни одной капли водки, и въ-третьихъ... да, въ-третьихъ...

Пепко прищурилъ одинъ глазъ, покривилъ лицо и проговорилъ съ особенной таинственностью, точно сообщилъ секретъ величайшей важности:

— Я—несчастный человѣкъ, и больше ничего...

— Анна Петровна влюблена въ тебя?—предупредилъ я исповѣдь.

— И даже очень... Три раза сказала, что скучаетъ, потомъ начала обращать меня на путь истины... Трогательно! Точно съ младенцемъ говоритъ... Однимъ словомъ, мнѣ нельзя сказать съ молоденькой женщиной двухъ словъ, и я просто боялся остаться съ ней дольше съ глазу на глазъ.

— Боялся, что она бросится къ тебѣ на шею? Ахъ, ты, шутъ гороховый...

Воображаю, какъ вознегодовала бы Анна Петровна, если бы только подозрѣвала мысли Пепки. Мнѣ вчужѣ было совѣстно за нее.

— Вы ужъ насъ извините, барышня,--оправдывался Спирька за всѣхъ.—Человѣкъ не камень, въ другой разъ и опохмелиться захочетъ... Вышла у насъ вчера небольшая ошибочка. Я такъ полагаю, что это не иначе, какъ отъ свѣжаго воздуху. Ошибетъ человѣка, ну, онъ и закуритъ...

Дѣвушка наскоро выпила стаканъ чаю и начала прощаться. Она поняла, кажется, въ какое милое общество

попала, особенно, когда появилась Мелюдэ. Интересно было видѣть, какъ встрѣтились эти двѣ дѣвушки, представлявшія крайніе полюсы своего женскаго рода. Мелюдэ съ нахальствомъ трактирной гетеры сдѣлала видъ, что не замѣчаетъ Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

— Я въ первый разъ вижу такъ близко этого сорта женщину...—говорила Анна Петровна съ своей больной улыбкой.—Какая она красивая... Мнѣ очень было интересно посмотрѣть на нее. Зачѣмъ вы меня увели?

— Нѣтъ, Анна Петровна, это не годится... Да и интереснаго мало. Лучше я вамъ разскажу...

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней по пятамъ гналась красивая тѣнь этой жертвы общественнаго темперамента.

Появленіе «академіи» имѣло роковое значеніе въ нашемъ лѣтнемъ сезонѣ, потому что послужило поворотнымъ пунктомъ. Приходилось отсиживаться въ своей избушкѣ. На прогулки я выходилъ или раннимъ утромъ или позднимъ вечеромъ. Мнѣ казалось, что всѣ указываютъ на насъ пальцами. Ничего не оставалось, какъ углубиться въ романъ для Ивана Иваныча, что я и дѣлалъ. Правда, что эта роль падшаго ангела доставалась не легко, но человѣкъ можетъ привыкнуть ко всему. Вообще было скверно и гадко на душѣ, и я долго не могъ забыть нашей дикой прогулки по Второму Парголову. Спеціально для Пепки этотъ день принесъ нѣкоторыя спеціальныя огорченія. Оказалось, что Анна Петровна пріѣзжала съ спеціальной миссіей завести переговоры съ Пепкой относительно Любочки, о положеніи которой она знала отъ Ѳедосьи. Первая неудача не остановила медичку, и она явилась къ намъ вторично, но на этотъ

разъ вмѣсто «академіи» столкнулась съ самой Любочкой, встрѣтившей ее крайне враждебно, какъ явную соперницу. Произошла пренелѣпая сцена, при чемъ Пепко очутился въ положеніи свиньи, которую палятъ на огнѣ со всѣхъ сторонъ.

— Васъ кто просилъ заступаться за меня? — наступала Любочка на Анну Петровну съ какимъ-то бабьимъ азартомъ.—Это мое дѣло...

— Да вѣдь я въ вашихъ же интересахъ хотѣла поговорить съ Агаѳономъ Павловичемъ...

— Покорно благодарю... Знаю я, какіе у васъ интересы. Отбить хотите у меня Агаѳона Павловича, вотъ и весь сказъ... Меня не проведете. А еще студентка!..

— Послушайте, вы забываетесь...

— Нѣтъ, это вы забываетесь и считаете меня круглой дурой. Не безпокойтесь, живая не дамся въ руки. Не таковская... Самой дороже стоитъ. Я вѣдь не посмотрю, что вы ученая, и прямо глаза выцарапаю... да. Я въ ваши дѣла не мѣшаюсь: любите, кого хотите, а меня оставьте.

Дальше послѣдовала непритворная истерика, угрозы по неизвѣстному адресу и вообще скандалъ въ благородномъ семействѣ. Положеніе Пепки было самое отчаянное, и онъ молча скрежеталъ зубами.

— Значитъ, мнѣ остается только уходить?—закончила сцену Анна Петровна, обращаясь къ Пепкѣ.—Я вступилась въ это дѣло именно потому, что имѣю несчастіе принадлежать къ одной съ вами корпораціи, и могу только пожалѣть...

— И уходите, и не нужно!..—голосила Любочка.—Жениха вы себѣ ищете, вотъ что... Да не туда попали. Адресъ не тотъ...

Въ сущности, своимъ неистовымъ поведеніемъ Любочка спасла Пепку въ глазахъ Анны Петровны.

— Это ужасно... ужасно... — повторяла она, когда я провожалъ ее на вокзалъ.

— Да, и не совсѣмъ красиво...

— И вы можете такъ спокойно говорить объ этомъ?— возмущалась Анна Петровна уже по моему адресу.— Какая испорченность...

— Будемте справедливы, Анна Петровна: при чемъ же я-то тутъ? Поставьте себя на мое мѣсто. Вообще самая грустная ошибка.

— Хороша ошибка!.. И такая женщина... Нѣтъ, скажите мнѣ, что могло ихъ связать?

При всемъ желаніи дать основательный отвѣтъ на этотъ наивный вопросъ, я только долженъ былъ пожать плечами. Мы говорили на двухъ разныхъ языкахъ...

XXV.

Нашъ лѣтній сезонъ закончился «исторіей сѣраго человѣка», о которой я и разскажу здѣсь, хотя и приходится нѣсколько забѣжать впередъ.

Вторая половина нашего дачнаго сезона прошла довольно скучно. Мы рѣдко показывались изъ дому и вели жизнь отшельниковъ. Не думаю, что этимъ мы исправили свою репутацію, которую, какъ извѣстно, достаточно потерять всего одинъ разъ. Пепко былъ особенно мраченъ и отдыхалъ только въ «Розѣ». Даже періодическія нападенія Любочки уже потеряли свой острый характеръ и, кажется, начинали надоѣдать ей самой. Она теперь ревновала Пепку къ Аннѣ Петровнѣ, упорно

и несправедливо, какъ это умѣютъ дѣлать только безнадежно влюбленныя женщины.

— Чортъ возьми, она наводитъ на меня дурныя мысли!—ругался Пепко, напрасно стараясь разсердиться. —Такъ я и въ самомъ дѣлѣ могу влюбиться въ Анну Петровну... Она мнѣ даже начинаетъ нравиться. Я такъ не люблю, когда женщина первая начинаетъ подавать реплики... Это мое несчастіе, что женщины не могутъ видѣть меня равнодушно...

— У тебя просто разстроенное воображеніе, Пепко Могу тебя увѣрить, что твоя единственная побѣда—это Любочка...

Я начиналъ вообще замѣчать какую-то перемѣну въ настроеніи Пепки. Отдавая должную дань концу лѣта, онъ часто принималъ задумчивый видъ и мурлыкалъ про себя:

. . . . . Отъ ликующихъ,
Праздно болтающихъ,
Обагряющихъ руки въ крови
Уведя меня въ станъ погибающихъ
За великое дѣло любви.

Мнѣ лично было какъ-то странно слышать эти слова именно отъ Пепки съ его рафинированнымъ индифферентизмомъ и органическимъ недовѣріемъ къ каждому большому слову. Въ немъ это недовѣріе прикрывалось цѣлымъ фейерверкомъ какихъ-то бурныхъ парадоксовъ, афоризмовъ и полумыслей, потому что Пепко всегда держалъ камень за пазухой и относился съ презрѣніемъ какъ къ другимъ, такъ и къ самому себѣ.

Начались дождливые дни. Дунулъ холодный вѣтеръ. Пожелтѣвшіе листья засыпали аллеи парка. По усвоен-

ному маршруту я почти ежедневно обходилъ всѣ тѣ мѣста, которыя казались мнѣ освященными невидимымъ присутствіемъ Александры Васильевны. Да, она проходила здѣсь, садились отдохнуть, а сейчасъ холодный вѣтеръ точно отпѣвалъ промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это счастье? Оно начинало казаться мнѣ миѳомъ, выдумкой, плодомъ воображенія... Но вотъ эти сосны и ели, которыя видѣли ее,—значитъ, счастье было. Мое паломничество заканчивалось обыкновенно пріютомъ доброй феи, она же и Ундина. Помню, какъ мы подходили съ Пепкой къ этому пріюту въ дождливый и холодный осенній день. Ставни дачи были закрыты, въ садикѣ неизвѣстно откуда появились кучи сора, и на калиткѣ была прилѣплена бумажка съ надписью: «ресторанъ закрытъ». Пепко перечиталъ нѣсколько разъ эту бумажку, вздохнулъ и проговорилъ:

— Это намъ повѣстка: пора удирать съ дачи. На дняхъ Мелюдэ тоже уѣзжаетъ... Какъ будто даже чего-то жаль. Этакое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а въ сущности наплевать...

Я молчалъ, испытывая такое же подлое и слезливое чувство,—оно появилось съ первымъ желтымъ листомъ.

Кстати, вмѣстѣ съ сезономъ конченъ былъ и мой романъ. Получилась «объемистая» рукопись, которую я повезъ въ городъ вмѣстѣ съ остальнымъ скарбомъ. Свою работу я тщательно скрывалъ отъ Пепки, а онъ дѣлалъ видъ, что ничего не подозрѣваетъ. «Ѳедосьины покровы» мнѣ показались особенно мрачными послѣ лѣтняго приволья.

— Это же удивительно, что на всемъ земномъ шарѣ нигдѣ не нашлось мѣста подлѣе,—ворчалъ Пепко.— Гдѣ-то синѣетъ южное небо, гдѣ-то плещетъ голубая

морская волна, гдѣ-то растутъ пальмы и лотосы, а мы должны пропадать въ этой подлой дырѣ... И вѣдь это только такъ кажется, что все это пока, такъ, до поры до времени, а настоящее еще будетъ тамъ, впереди,—ничего не будетъ, кромѣ деликатной перемѣны одной дыры на другую. Тфу!.. Я вообще чувствую себя заживо погребеннымъ, въ родѣ шильонскаго узника. О, проклятіе несправедливой судьбѣ!

Ѳедосья встрѣтила насъ довольно холодно, а потомъ начала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. Анна Петровна попрежнему жила въ своей каморкѣ и попрежнему умѣла оставаться незамѣтной. Остальной составъ жильцовъ возобновился почти въ прежнемъ видѣ, за исключеніемъ Горгедзе, который кончилъ курсъ и уѣхалъ къ себѣ на Кавказъ. Да, все было попрежнему, какъ это умѣетъ дѣлать только скучное, безцвѣтное и вялое,—всякая энергія выражается перемѣнами въ томъ или другомъ смыслѣ. «Ѳедосьины покровы» такимъ образомъ являлись мѣрой своихъ обитателей. Всѣ эти грустныя мысли являлись въ невольной связи съ открывавшимся изъ нашего окна ландшафтомъ забора, осеннимъ дождемъ и какимъ-то уныніемъ, висѣвшимъ въ самомъ воздухѣ.

Въ одно непрекрасное утро я свернулъ въ трубочку свой романъ и отправился къ Ивану Иванычу. Та же контора, тотъ же старичокъ-секретарь и то же стереотипное приглашеніе зайти за отвѣтомъ «недѣльки черезъ двѣ». Я былъ увѣренъ въ успѣхѣ и не волновался особенно. «Недѣльки» прошли быстро. Отвѣтъ я получилъ лично отъ самого Ивана Иваныча. Онъ вынесъ «объемистую рукопись», по привычкѣ, какъ купецъ, взвѣсилъ ее на рукѣ и изрекъ:

— А вѣдь вещица-то не годится, молодой человѣкъ...

— Какъ не годится, Иванъ Иванычъ!..

— А такъ... Вы знаете, что по существу дѣла мы не обязаны отвѣчать, а просто не подходитъ, и все тутъ. У васъ удачнѣе маленькіе разсказики...

У меня какъ-то вдругъ закружилась голова отъ этого отвѣта. Пропадало около четырехсотъ рублей, распланированныхъ впередъ съ особенной тщательностью. Отвѣтъ Ивана Иваныча прежде всего лишалъ возможности костюмироваться прилично, т. е. имѣть пріятную возможность отправиться съ визитомъ къ Александрѣ Васильевнѣ. Въ первую минуту я даже какъ-то не повѣрилъ своимъ ушамъ.

— Да, не годится,—добродушно тянулъ Иванъ Иванычъ, какъ хирургъ, который по всѣмъ правиламъ науки отрѣзываетъ голову живому человѣку.—Приносите маленькую вещицу—напечатаю съ удовольствіемъ.

Это былъ вообще страшный ударъ. Съ возвращенной рукописью я отправился прямо въ портерную, гдѣ засѣдала «академія». Налицо оказался одинъ Фрей. Онъ молча выслушалъ меня и, не выпуская трубки, рѣшилъ:

— Что-нибудь неспроста... Я разузнаю... Хотите пива?

Я чувствовалъ только одно, что вполнѣ заслужилъ такой афронтъ: сама судьба карала за допущенный компромиссъ. Да, есть что-то такое, что справедливѣе насъ.

Черезъ нѣсколько дней Фрей мнѣ сообщилъ все «неспроста».

— У васъ есть врагъ... Онъ передалъ Ивану Иванычу, что вы гдѣ-то говорили, что получаете съ него по десяти рублей за каждаго убитаго человѣка. Онъ обидился, и я его понимаю... Но вы не унывайте: мы уст-

роимъ вашъ романъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Свѣтъ не клиномъ сошелся.

— Ахъ, дѣлайте, что хотите! Мнѣ рѣшительно все равно...

Это равнодушіе, кажется, понравилось Фрею, хотя онъ по привычкѣ и не высказалъ своихъ чувствъ. Онъ вообще напоминалъ одного изъ тѣхъ лоцмановъ, которые всю жизнь проводятъ чужія суда въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ и настолько свыкаются съ своимъ отвѣтственнымъ и рискованнымъ дѣломъ, что даже не чувствуютъ этого.

Итакъ, съ романомъ было все кончено. Впереди оставалось прежнее репортерство, мыканье по ученымъ обществамъ, вообще мелкій и малопроизводительный трудъ. А главное, оставалась связь съ «академіей», тѣмъ болѣе, что срокъ запрещенія «Нашей газеты» истекъ, и машина пошла прежнимъ ходомъ.

Мысль объ Александрѣ Васильевнѣ не оставляла меня все время. Я съ ней ложился и съ ней вставалъ. Весь вопросъ опять сводился на то, какъ явиться къ ней «оригиналомъ». Я готовъ былъ продать душу чорту, чтобы достать приличный костюмъ, и дѣлалъ отчаянныя попытки въ этомъ направленіи, которыя, къ сожалѣнію, не привели ни къ чему. Подходящаго костюма не нашлось ни у одного изъ товарищей, т. е. отдѣльныя подробности находились, но изъ нихъ еще не получалось приличнаго цѣлаго. Положеніе, во всякомъ случаѣ, получалось траги-комическое, и я не повѣрилъ своей тайны даже Пепкѣ. Все равно, онъ ничего бы не понялъ...

Здѣсь именно мнѣ приходится забѣжать впередъ, къ февралю мѣсяцу, когда въ клубѣ художниковъ, существовавшемъ въ Троицкомъ переулкѣ, устраивался студен-

ческій балъ. У меня въ этотъ вечеръ было засѣданіе въ Техническомъ обществѣ; но я предпочелъ отправиться на балъ, надѣясь встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ репортеровъ и отъ нихъ позаимствовать что-нибудь для отчета. Вопросъ о костюмѣ разрѣшился тѣмъ, что я досталъ у одного изъ товарищей лѣтнюю сѣрую пару. Никогда я не забуду этого костюма... Ничтожное по своей сущности стремленіе быть одѣтымъ, какъ другіе, отравило мнѣ весь вечеръ. Мнѣ казалось, что трехтысячная толпа смотритъ на одного меня, и всѣ улыбаются, поглядывая на «сѣраго человѣка». Чувство жуткое и непріятное, особенно когда всѣ одѣты во фраки и сюртуки. Я уныло бродилъ изъ залы въ залъ, тщетно отыскивая другого «сѣраго человѣка». Какъ на зло такого alter ego не оказалось, и я опять чувствовалъ, что всѣ смотрятъ на меня. Глупое чувство, нелѣпое, но оно меня мучило... Въ довершеніе всего, встрѣчаю Александру Васильевну, которая шла подъ руку съ какимъ-то франтикомъ во фракѣ. Она сейчасъ же оставила его руку и обратилась ко мнѣ съ упрекомъ:

— И вамъ не совѣстно? Нисколько?.. А я-то ждала васъ...

— Александра Васильевна, я былъ серьезно боленъ,— совралъ я съ самымъ серьезнымъ лицомъ.

— А какъ же Надя мнѣ говорила, что вы здоровы и просто не хотите быть у меня?.. Вы, просто, безсовѣстный человѣкъ...

Она, кажется, еще никогда не была такъ красива, какъ сейчасъ. И опять въ неизмѣнномъ черномъ шелковомъ платьѣ, еще сильнѣе вытѣнявшемъ матовую бѣлизну кожи. Она такъ просто взяла подъ руку «сѣраго человѣка» и пошла по заламъ. Это уже было геройство, и я чув-

ствовалъ себя на седьмомъ небѣ. Да, она была красива, настолько красива, что толпа почтительно разступалась передъ ней, провожая насъ почтительнымъ шепотомъ. «Сѣрый человѣкъ» шелъ подъ руку съ признанной царицей бала, и позабылъ все на свѣтѣ... Она о чемъ-то разспрашивала, онъ что-то отвѣчалъ, сознавая только одно, что она опять около него, цвѣтущая, красивая, чудная, восхитительная, какъ греза поэта. Она опять смѣялась, а «сѣрый человѣкъ» держалъ себя съ такимъ непринужденнымъ видомъ, точно ему было все равно или, вѣрнѣе сказать, вся трехтысячная толпа превратилась въ такихъ же сѣрыхъ человѣковъ. Свою смѣлость «сѣрый человѣкъ» довелъ до того, что пригласилъ даму на кадриль, каковая и была исполнена визави съ Пепкой, танцовавшимъ съ Анной Петровной.

— Трогательная картина... шепнулъ мнѣ Пепко, выдѣлывая solo во второй фигурѣ.--Похоже на семейную радость.

Анна Петровна съ какимъ-то печальнымъ изумленіемъ смотрѣла на мою даму и участливо улыбалась мнѣ.

— Какая красавица...--проговорила она, когда въ шестой фигурѣ перешла въ мои объятія.—Это даже несправедливо!..

Послѣ танцевъ Александра Вавильевна захотѣла пить, и я былъ счастливъ, что имѣлъ возможность предложить ей порцію мороженаго. Мы сидѣли за мраморнымъ столикомъ и болтали всякій вздоръ, который въ передачѣ является уже полной безсмыслицей. Ея кавалеръ демонстративно прошелъ мимо насъ уже три раза, но Александра Васильевна умышленно не замѣчала его, точно отвоевывала себѣ каждую четверть часа. Наконецъ, кончилось и мороженое. Она поднялась, подавая руку и устало проговорила:

— Проводите меня въ слѣдующую комнату, гдѣ сидитъ мой... кавалеръ.

Послѣднее слово она выговорила съ замѣтнымъ усиліемъ, а потомъ улыбнулась и прибавила:

— А вы все-таки безсовѣстный... Я жду васъ.

— О, конечно. Я буду такъ счастливъ видѣть васъ...

Сколько такихъ обѣщаній не выполняется никогда, гораздо больше, чѣмъ не сбывается сновъ. Но я вѣрилъ въ свои слова, отводя свою даму къ ея компаніи. Я даже не посмотрѣлъ, кто тамъ сидѣлъ, а отправился прямо въ «мертвецкую», гдѣ сейчасъ же напился съ горя и почуявствовалъ себя «сѣрымъ человѣкомъ» съ новой силой. Откуда-то появился Пепко, освободившійся отъ дамы. Онъ тоже былъ мраченъ Опьяняла вся обстановка: шумъ голосовъ, пѣніе, табачный дымъ. Когда я вышелъ въ залъ, публики оставалось едва одна половина. Къ моему удивленію, я замѣтилъ другого сѣраго человѣка, который внимательно наблюдалъ меня. Я вдругъ почувствовалъ облегченіе, точно встрѣтилъ родного брата. Такой же точно лѣтній костюмъ, такой же ростъ и даже лицомъ походитъ на меня. Я пошелъ къ нему, онъ двинулся навстрѣчу мнѣ. Потомъ... потомъ оказалось, что это было отраженіе въ стѣнномъ зеркалѣ моей собственной персоны. «Сѣрый человѣкъ» такъ и остался въ одиночествѣ.

XXVI.

Въ предыдущемъ очеркѣ я забѣжалъ впередъ, чтобы закончить исторію «сѣраго человѣка», а сейчасъ возвращусь къ моменту, когда Фрей взялъ у меня рукопись романа. Черезъ три дня онъ мнѣ объявилъ:

— Съ января будетъ издаваться новый журналъ «Кошница», матеріала у нихъ нѣтъ, и они съ удовольствіемъ напечатаютъ вашъ романъ. Только, чуръ, условіе: не слѣдуетъ дешевить.

— Постараюсь...

— Да, да... Не забывайте, что не вы одинъ, не слѣдуетъ сбивать цѣнъ.

Разговоръ происходилъ въ трактирѣ Агапыча, гдѣ мы снова водворились вмѣстѣ съ возстановленіемъ дѣятельности «Нашей газеты». Притягательной силой являлись привычка къ своему насиженному углу и нѣкоторый кредитъ, который открывалъ Агапычъ своимъ завсегдатаямъ. Вообще, мы здѣсь чувствовали себя по домашнему, какъ богатые люди въ своихъ клубахъ. Прислуга давно уже выдѣлила насъ изъ остальной, случайной публики и относилась къ намъ по-родственному, чему немало способствовало и то, что въ глазахъ этого трактирнаго человѣчества мы являлись представителями литературы. Лакеи съ салфетками подъ мышкой являлись той благосклонной публикой, которая уже служила для каждаго автора живымъ фономъ. Литературныя имена котировались на этой читательской биржѣ. Тутъ были уже твердыя, установившія фирмы, какъ Порфиръ Порфирычъ, разсказы котораго лакеи читали въ засосъ. Къ моему удивленію, я убѣдился, что тоже начинаю пріобрѣтать нѣкоторое имя, хотя и нахожусь еще въ періодѣ искуса. Сѣдой лакей Степанычъ какъ-то по-отечески шепнулъ мнѣ:

— Помилуйте-съ, читатели мы ваши разсказы... Ничего-съ, форменно, хоша супротивъ Порфира Порфирыча еще и не дошли-съ. У нихъ искра-съ...

Это были первые пары той несчастной литературной

славы, которая окутываетъ автора, какъ дымъ фабрику. Не скрою, что мнѣ было пріятно слышать отзывъ Степаныча: искаженная, искалѣченная и изувѣченная условіями мелкаго литературнаго рынка мысль невѣдомыми путями проникла къ читателю, и еще болѣе невѣдомыми путями возникала тамъ писательская физіономія. Невыгодное для меня сравненіе съ Порфиромъ Порфирычемъ нисколько не было обидно: онъ писалъ не Богъ знаетъ какъ хорошо, но у него была своя публика, съ которой онъ умѣлъ говорить ея языкомъ, ея радостями и горемъ, заботами и злобами дня. Принципіально великихъ людей нѣтъ, какъ принципіально нѣтъ холода; величіе создается только нашимъ эгоизмомъ. Нивеллирующей силой здѣсь является только одно чувство. Съ другой стороны, меня въ отзывѣ Степаныча поразило то привилегированное положеніе, которое занимаютъ по отношенію къ читателю беллетристы. Напримѣръ, тотъ же Степанычъ цѣнилъ и уважалъ Фрея, какъ «сурьезнаго газетчика», но его симпатіи были на сторонѣ Порфира Порфирыча. «Они, Порфиръ Порфирычъ, конечно, имѣютъ свою большую неустойку, значитъ, прямо сказать, слабость, а промежду прочимъ завернуть такое тепленькое словечко въ другой разъ, что самого буфетчика Агапыча слезой прошибутъ-съ»... Да, у насъ уже была своя маленькая публика, которая дѣлала насъ общественнымъ достояніемъ.

Кстати, во время моего разговора съ Фреемъ относительно «Кошницы», изъ остальныхъ членовъ «академіи» присутствовалъ одинъ Порфиръ Порфирычъ. Онъ сидѣлъ въ креслѣ и дремалъ. За послѣднее время старикъ сильно измѣнился и даже не могъ пить. Жаль было смотрѣть на это осунувшееся, пожелтѣвшее лицо съ умными и такими жалкими глазами. Многолѣтнее искусственное воз-

бужденіе напитками смѣнилось теперь страдальчествомъ завзятаго алкоголика. Притупленные и проржавѣвшіе нервы возбуждались только по инерціи, по привычкѣ къ знакомымъ словамъ: есть своя профессіонная энергія, которая переживаетъ всего человѣка. Такъ сейчасъ, когда Фрей заговорилъ о «новомъ журналѣ», Порфиръ Порфирычъ точно проснулся, причмокнулъ и даже подмигнулъ въ пространство. Ага, новый журналъ? Такъ-съ... Отлично. «Кошница»? Превосходно, хотя названіе и съ претензіей!

— Весьма одобряю...—тихо проговорилъ старикъ, улыбаясь, и прибавилъ съ грустной улыбкой:—Сколько будетъ новыхъ журналовъ, когда насъ уже и на свѣтѣ не будетъ! И литераторъ будетъ другой... Народится этакой чистоплюй и захватитъ литературу. Хе-хе... И еще горькимъ смѣхомъ посмѣется надъ нами, своими предками, ибо мы были покрыты грязью и несовершенствами. Да, посмѣется... А того не будетъ знать, черезъ какія трущобы мы брели, какія терніи рвали нашу душу, и какъ насъ обманывали на каждомъ шагу блуждающіе огоньки, дѣлавшіе ночь еще темнѣй. Чистоплюй онъ, и по своему чистоплюйству будетъ доволенъ всѣмъ, потому что будетъ думать только о себѣ. Вонъ названіе-то какое: «Кошница»... Этакъ какъ будто и славянофильствомъ попахиваетъ и о присовокупленіи чего-то говоритъ... А впрочемъ, не въ этомъ дѣло-то, о, юноша!

Старикъ закашлялся, схватившись за натруженную грудь, и долго не могъ притти въ себя.

— Да, «Кошница»...—шепталъ онъ, вытирая слезы, выступившія отъ натуги.—Отчего не «Цѣвница»? А впрочемъ, юноша, не въ этомъ дѣло... да. Мы въ потемкахъ кончимъ дни своего странствія въ сей юдоли, а вы пом-

ните... да, помните, что литература священна. Еще седмь тысящъ мужей не преклоняло колѣнъ предъ Вааломъ... Ты написалъ печатный листъ; чтобы его прочесть, нужно minimum четверть часа, а если ты авторъ, котораго будетъ публика читать нарасхватъ, то нужно считать, что каждымъ такимъ листомъ ты отнимаешь у нея сто тысячъ четвертей часа, или 25 тысячъ часовъ. Это составитъ... составитъ около тысячи дней, или около трехъ лѣтъ... Уже этотъ мехенический расчетъ представляетъ все величіе твоего призванія, а посему гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вмѣсто хлѣба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая тамъ живетъ, въ сердцѣ... Маленькій у тебя талантикъ, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна—человѣческое слово... Будь жрецомъ.

Отвлеченныя разсужденія сдѣлались теперь слабостью Порфира Порфирыча, точно онъ торопился высказать все, что наболѣло въ душѣ. Трезвый онъ былъ совсѣмъ другой, и мнѣ каждый разъ дѣлалось его жаль. За что пропалъ человѣкъ? Потомъ, я зналъ, чѣмъ кончились эти старческія изліянія: Порфиръ Порфирычъ бралъ меня подъ руку, отводилъ въ сторону и, оглядѣвшись, говорилъ шопотомъ:

— Помните... тогда... на дачѣ? Вѣдь вы видѣли у меня тогда красную бумагу? И вдругъ нѣтъ ничего... Нѣтъ— и кончено, все кончено.

— Послушайте, Порфиръ Порфирычъ, не стоитъ даже говорить объ этомъ... Вы заработаете десять такихъ красныхъ бумагъ, если захотите.

— Не стоитъ? Хе-хе... А почему же именно я долженъ былъ потерять деньги, а не кто-нибудь другой,

третій, пятый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но въ нихъ заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. Я теперь даже писать не могу... ей-Богу! Какъ начну, такъ мнѣ и полѣзетъ въ башку эта красная бумага: вѣдь я долженъ снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются руки. И мнѣ начинаетъ казаться, что я ихъ никогда не отработаю... Сколько бы ни написалъ, а красная бумага все-таки останется.

Бѣдняга начиналъ заговариваться. «Красная бумага» являлась для него роковымъ «пунктикомъ», и онъ постоянно возвращался къ этой темѣ, какъ магнитная стрѣлка къ сѣверу. Всѣ члены «академіи» были посвящены имъ въ эту тайну и рѣшили, что у Порфирыча заяцъ въ головѣ, какъ выражался Пепко. Потомъ Порфиръ Порфирычъ скрылся съ нашего горизонта; потомъ прошелъ слухъ, что онъ серьезно боленъ и лежитъ гдѣ-то въ больницѣ, а потомъ въ уличномъ листкѣ, въ которомъ онъ работалъ, появилось коротенькое извѣстіе о его смерти. Некрологъ, написанный дружеской рукой, въ теплыхъ выраженіяхъ вспоминалъ заслуги покойнаго, его незлобивость и даже «роковую слабость», которая взяла у литературы столько жертвъ. Между прочимъ, явился въ газеткѣ и посмертный разсказъ старика: «Бѣдный Іорикъ». Разсказъ былъ слабъ, вымученъ, и отъ него уже вѣяло тлѣніемъ,—внутренній человѣкъ умеръ раньше. Я припомнилъ, какъ Порфиръ Порфирычъ, подмигивая и причмокивая, говорилъ:

— Эге, а мы, литераторы, умѣемъ сводить концы... Развѣ собака умираетъ дома? И мы тоже...

На моихъ глазахъ это была еще первая литературная смерть, которая произвела сильное впечатлѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, какими невѣдомыми путями создается вотъ этотъ

русскій писатель, откуда онъ приходитъ, какая роковая сила выталкиваетъ его на литературную ниву? Положимъ, что писатель Селезневъ былъ маленькій писатель; но здѣсь не въ величинѣ дѣло, какъ въ одной ткани толщина и длина отдѣльныхъ нитокъ теряется въ общемъ. Есть роковыя силы, которыя заставляютъ человѣка дѣлаться тѣмъ или другимъ, и я увѣренъ, что никакой преступникъ не думаетъ о скамьѣ подсудимыхъ, а тюремщикъ, который своимъ ключокъ замыкаетъ ему весь вольный бѣлый свѣтъ, никогда не думалъ быть тюремщикомъ.

«Академія» жалѣла Порфира Порфирыча и даже устроила по немъ тризну, на которой главнымъ образомъ обсуждались «теплыя слова» некролога.

— Умеръ человѣкъ, такъ нѣтъ, и мертвому не даютъ покоя,—ворчалъ Фрей.—Къ чему эта похоронная ложь, и кому она нужна?..

— А все-таки...—спорилъ пьяный Гришукъ,—чтобы другіе чувствовали... да.

— А ты пошелъ на похороны? Ты навѣстилъ его въ больницѣ?

Вся «академія» была смущена этими простыми вопросами, и каждый постарался представить какое-нибудь доказательство своей невинности.

Меня удивило, что всѣхъ больше пораженъ былъ смертью Порфира Порфирыча мой другъ Пепко.

— Да, вообще...—бормоталъ онъ виновато.—Чортъ знаетъ, что такое, если разобрать!.. Помнишь его разсказъ про «веревочку»? Собственно, благодаря ему, мы и познакомились, а то, вѣроятно, никогда бы и не встрѣтились. Да, странная вещь эта наша жизнь...

Какъ свѣжую могилу покрываетъ трава, такъ жизнь

заставляетъ забывать недавнія потери, благодаря тѣмъ тысячамъ мелкихъ заботъ и хлопотъ, которыми опутанъ человѣкъ. Поговорили о Порфирѣ Порфирычѣ, пожалѣли старика—и забыли, уносимые впередъ своими маленькими дѣлами, соображеніями и расчетами. Такъ, мнѣ пришлось «устроивать» свой романъ въ «Кошницѣ». Отвѣтъ былъ полученъ сравнительно скоро, и Фрей сказалъ:

— Вотъ видите, у нихъ нѣтъ матеріала... Да и гдѣ его взять по нынѣшнимъ временамъ...

Я отправился въ редакцію «Кошницы», которая помѣщалась въ Троицкомъ переулкѣ. Бельэтажъ, двери отворилъ лакей, въ переднюю выбѣжали два ирландскихъ сеттера—вообще, совсѣмъ другое, чѣмъ у Ивана Иваныча. Редакція помѣщалась въ квартирѣ издателя, который и принялъ меня. Это былъ господинъ подъ тридцать лѣтъ, южнаго типа, безукоризненно одѣтый и сіявшій брильянтами.

— Это вашъ романъ? Онъ уже печатается... Кстати, ваши условія?

Я съ нѣкоторой робостью выговорилъ цыфру,—листъ былъ гораздо меньше, чѣмъ у Ивана Иваныча, и я и назначилъ ту же цѣну, выгадывая на разницѣ.

— Что же, хорошо...—согласился сіяющій господинъ.— Кстати, я только издатель, а редакціей завѣдуетъ...

Онъ назвалъ фамилію редактора, сообщилъ его адресъ и посмотрѣлъ на меня такими глазами, когда желаютъ покойной ночи.

Отъ издателя я полетѣлъ къ редактору, который жилъ у Таврическаго сада. Это былъ очень милый и очень образованный человѣкъ въ какомъ-то мундирѣ.

— Очень радъ съ вами познакомиться... Вы уже видѣли нашего издателя? Очень хорошо... Я *только* редакторъ.

Въ этотъ моментъ я не придалъ особеннаго значенія этимъ словамъ, потому что былъ слишкомъ счастливъ, какъ, вѣроятно, счастлива та женщина, которую такъ мило обманываетъ любимый человѣкъ. Есть и такое счастье...

Романъ принятъ, романъ печатается не въ газетѣ, а въ журналѣ «Кошница»,—отъ этого хоть у кого закружится голова. Домой я вернулся въ какомъ-то туманѣ и заключилъ Пепку въ свои объятія,—дольше скрываться было невозможно.

— Пепко, мой романъ печатается... Да, печатается! Понимаешь?..

— И ты радъ? И я тоже радъ... Значитъ, мы оба рады. На всякій случай поздравляю...

Извергъ даже не спросилъ, гдѣ печатается мой романъ, но я ему прощалъ впередъ, потому что, очевидно, Пепко ревновалъ меня къ моему первому успѣху. Конечно, теперь всѣ мнѣ завидовали, весь земной шаръ...

XXVII.

Съ Пепкой что-то случилось, начиная съ того, что онъ теперь отсиживался дома и выходилъ только утромъ на лекціи. Ѳедосья уже нѣсколько разъ иносказательно давала мнѣ понять, что онъ влюбленъ въ Анну Петровну. Единственнымъ основаніемъ для такого заключенія было то, что Пепко по вечерамъ пилъ чай у Анны Петровны и такимъ образомъ осуществлялъ того «мужчину», который, по соображеніямъ Ѳедосьи, долженъ былъ быть у каждой женщины, какъ бываютъ дѣтскія болѣзни. Кстати, Ѳедосья наносила Пепкѣ систематическій

вредъ, и я только могъ удивляться его терпѣнію. Дѣло въ томъ, что лѣтомъ Ѳедосья подружилась съ Любочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила къ ней. Онѣ о чемъ-то вѣчно шептались, и Пепко жилъ въ ожиданіи какого-нибудь скандала. Съ другой стороны, онъ не хотѣлъ уступать и казаться малодушнымъ, а поэтому продолжалъ свои вечерніе чаи у Анны Петровны. Часто случалось такъ, что Пепко сидитъ у медички, а Любочка—у Ѳедосьи. Я не понималъ въ данномъ случаѣ поведенія Анны Петровны, которая разъ уже имѣла крупную непріятность отъ Любочки. Впрочемъ, можетъ-быть, здѣсь объясненіемъ могло служить то, что медичка считала себя выше всякихъ подозрѣній и тоже не желала уступать. Такъ или иначе, но скандалъ все-таки разыгрался,— Любочка подкараулила вечеромъ Анну Петровну на улицѣ, бросилась на нее и, кажется, хотѣла откусить носъ. Къ счастью, никого не было поблизости, и дѣло обошлось семейнымъ образомъ. Любочка вбѣжала съ воплями и причитаніями къ Ѳедосьѣ и проявила большія наклонности къ буйству, такъ что потребовалось вмѣшательство Пепки.

— Если вы еще разъ сюда явитесь сюда, я... я...— задыхаясь и сжимая кулаки, кричалъ Пепко.—Да, я...

Онъ схватилъ Любочку за плечи и вытолкнулъ на улицу. Получилась сцена до послѣдней степени возмутительная, такъ что мнѣ пришлось вмѣшаться.

— Пепко, это гадость...

Пепко тяжело дышалъ и только смотрѣлъ на меня обезумѣвшими глазами. Онъ былъ блѣденъ какъ полотно, и побѣлѣвшія губы шевелились беззвучно, какъ у китайской куклы. Сцена происходила въ коридорѣ, и единственной свидѣтельницей была Ѳедосья, наслаждавшаяся

готовымъ вспыхнуть ратоборствомъ. Обезумѣвшій Пепко уже сдѣлалъ шагъ ко мнѣ, лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась впередъ,—вѣроятно, его бѣшенство обрушилось бы на меня, и мнѣ, вѣроятно, пришлось бы раздѣлить участь Любочки, но въ этотъ трагическій моментъ появилась въ дверяхъ Анна Петровна. Еще моментъ — и протянутая рука Пепки опустилась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и втолкнула къ себѣ въ комнату, какъ напроказившаго ребенка. Онъ повиновался, и я замѣтилъ, какъ у него дрожали губы.

Распорядившись съ Пепкой, Анна Петровна обратила теперь свое благосклонное вниманіе на меня.

— Вы... вы... вы...—шептала она хрипло.—Я васъ ненавижу... да. Сейчасъ разыгралась дикая и нелѣпая сцена, но вы хуже въ тысячу разъ *его* съ вашей безсильной добродѣтелью... У васъ не хватитъ силенки даже на маленькое зло. Вы—ничтожность, приличная ничтожность... Да, да, да...

Это было повтореніемъ сцены съ Любочкой ночью въ Парголовѣ, и я только разсмѣялся. Моя улыбка окончательно взбѣсила Анну Петровну.

— И вы еще можете смѣяться, несчастный? Наконецъ... наконецъ, если вы хотите знать... да, хотите... Я *его* люблю. Онъ въ тысячу разъ лучше васъ всѣхъ... да, лучше,

— Я могу только поздравить васъ съ счастливымъ пріобрѣтеніемъ...

— Вы—циникъ!!..

Признаюсь, я тоже былъ взбѣшенъ. Если Любочка могла себѣ позволить неистово, то она на это имѣла «полное римское право», какъ говорила Ѳедосья. По-

женски Любочка была вполнѣ послѣдовательна, потому что она была только женщиной и ничѣмъ другимъ. Но Анна Петровна совсѣмъ другое,—у нея должны были существовать нѣкоторые задерживающіе центры. Я подошелъ къ двери въ комнату Анны Петровны и крикнулъ:

-- Эй, ты, трусъ, выходи!.. Я имѣю сказать тебѣ нѣсколько теплыхъ словъ, которыя поднимутъ твою храбрость на приличную высоту!

— За дверью послышалось рычаніе Пепки, а затѣмъ онъ однимъ прыжкомъ былъ въ дверяхъ. Анна Петровна не растерялась и захлопнула у него дверь подъ носомъ, а мнѣ величественнымъ жестомъ показала на дверь моей комнаты. Я поклонился и пошелъ въ противоположный конецъ коридора, къ выходу. У меня горѣла голова, въ вискахъ стучала кровь, и я почему-то повторялъ про себя: «Нѣтъ, погодите, господа... да, погодите, чортъ возьми!» Я вышелъ на лѣстницу и нашелъ тамъ Любочку, которая сидѣла на ступенькѣ, схватившись руками за голову. Это была живая статуя страданья.

— Любочка, идите домой. Вамъ нечего здѣсь дѣлать, если не хотите, чтобы васъ били... Нужно имѣть хоть какую-нибудь гордость...

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнялъ отъ лица ея руку,—рука была холодна какъ ледъ.

— Любочка, вы простудитесь... Стоитъ ли рисковать своимъ здоровьемъ изъ-за какого-то негодяя.

— Онъ не виноватъ...— простонала Любочка.— Онъ хорошій...

На меня напала непонятная жестокость... Я молча повернулся, хлопнулъ дверью и ушелъ къ себѣ въ ком-

нату. Дѣлать я ничего не могъ. Голова точно была набита какой-то кашей. Походивъ по комнатѣ какъ звѣрь въ клѣткѣ, я улегся на кушеткѣ и пролежалъ такъ битый часъ. Кругомъ стояла мертвая тишина, точно «Ѳедосьины покровы» вымерли поголовно и живымъ человѣкомъ остался я одинъ.

— «Нѣтъ, погодите, господа...» повторялъ я про себя давешнюю безсмысленную фразу.

Въ самомъ дѣлѣ, я-то тутъ при чемъ? Благодарю покорно... Рѣжьтесь, отравляйтесь, деритесь,—я ничего больше знать не хочу и не разогну для васъ пальца. Да-съ, такъ и знайте... Свое негодованіе съ Пепки я по логикѣ разсерженнаго человѣка перенесъ на Анну Петровну... Вотъ вы какая, Анна Петровна! Отлично... Кто бы могъ подумать про васъ что-нибудь подобное! И какая энергія... Очень недурно, какъ въ плохомъ театрѣ, гдѣ комики говорятъ трагическимъ тономъ, а трагики вызываютъ неудержимый смѣхъ. А потомъ, какъ это мило: полное повтореніе того, что говорила лѣтомъ Любочка. О, женщины!.. какъ сказалъ Шекспиръ.

Сильныя волненія у меня всегда заканчивались безсовѣстно-крѣпкимъ сномъ,—вѣрнѣйшій призракъ посредственности, что меня сильно огорчало. Такъ было и въ данномъ случаѣ: я неожиданно заснулъ, продолжая давешнюю сцену, при чемъ во снѣ оказался гораздо болѣе находчивымъ и остроумнымъ, чѣмъ въ дѣйствительности. Вѣроятно, я такъ бы и проспалъ до утра, если бы меня не разбудилъ осторожный стукъ въ дверь.

— Войдите...

Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый женскій голосъ проговорилъ:

— Да у васъ совсѣмъ темно.

— Виноватъ... Я сейчасъ зажгу лампу.

Зажигая лампу, я чувствовалъ, что незнакомка пристально разсматриваетъ меня.

— Вы, вѣроятно, удивлены, молодой человѣкъ, что къ вамъ въ одиннадцать часовъ ночи врывается совершенно незнакомая дама...

Голосъ былъ молодой и пріятный, но его обладательница имѣла уже блеклый видъ въ той мѣрѣ, въ какой онъ нравится совсѣмъ неопытнымъ юношамъ. На мой нѣмой вопросъ она объяснила:

— Я къ вамъ по дѣлу... Позвольте представиться: сестра Анны Петровны. Зовутъ меня Аграфеной... Вы, вѣроятно догадываетесь о цѣли моего посѣщенія?

— Ахъ, да... почти... Садитесь, пожалуйста.

Я только теперь разсмотрѣлъ ее хорошенько: шатенка, средняго роста, въ коричневомъ платьѣ не первой молодости, которое не скрывало очень солидныхъ формъ. Сѣрые глаза, чуть-чуть подведенные, смотрѣли съ веселой дерзостью. Меня поразили густые волосы, сложенные на затылкѣ тяжелымъ узломъ. Она медленно оглядѣла комнату, оглядѣла ветхій стулъ, который ей я подалъ, а потомъ сѣла и спокойно перевела глаза на меня.

— Послушайте, молодой человѣкъ...

— Меня зовутъ Василіемъ Ивановичемъ...

— Виновата, Василій Иванычъ... Скажите, пожалуйста, вамъ не совѣстно? Нисколько?

— Странный вопросъ...

— Вы понимаете, о чемъ я говорю. По крайней мѣрѣ, вы должны испытывать неловкость, что заставили замужнюю женщину притти къ вамъ съ объясненіями

довольно интимнаго характера. Это не по-джентльменски...

— Я могу только удивляться, Аграфена Петровна,— именно, что вамъ за охота вмѣшиваться въ чужія дѣла?..

— Какъ чужія? Вѣдь Анна Петровна—моя сестра, родная сестра. Положимъ, мы видимся очень рѣдко, но все-таки сестра... У васъ нѣтъ сестры-дѣвушки? О, это очень отвѣтственный постъ... Она дѣлаетъ глупость,—я это сказала ей въ глаза. Да... Она васъ оскорбила давеча совершенно напрасно,—я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, значитъ, вамъ нужно итти къ ней и извиниться.

— ?

— Вы забываете, что сестра моя женщина, больше дѣвушка, и мужчина виноватъ всегда, особенно если выведетъ ее изъ себя.

Это была оригинальная логика, и сѣрые глаза весело улыбнулась. Сдѣлавъ небольшую паузу, она проговорила съ разстановкой:

— Агаѳонъ Павлычъ вашъ другъ? Моя бѣдная сестра имѣла несчастіе его полюбить, а въ этомъ состояніи женщина дѣлается эгоисткой до жестокости. Я знаю исторію этой несчастной Любочки и, представьте себѣ, жалѣю ее отъ души... Да, жалѣю, вѣрнѣе сказать—жалѣла. Но сейчасъ мнѣ ей нисколько не жаль... Можетъ-быть я несправедлива, можетъ-быть я ошибаюсь, но... но... Однимъ словомъ, что она можетъ сдѣлать, если онъ ея не любитъ, т. е. Любочку?

Я засмѣялся. Развѣ Пепко могъ кого-нибудь любить? Этотъ отвѣтъ видимо обидѣлъ моего парламентера.

— Аграфена Петровна, я все-таки не понимаю, что вамъ нужно отъ меня.

— Я уже сказала вамъ... А затѣмъ моя сестра надѣется исправить вашего друга. Я подозрѣваю, что эта миссія именно и увлекаетъ ее. Что дѣлать, мы, женщины, всѣ страдаемъ неизлѣчимой довѣрчивостью. Многое она приписываетъ вашему дурному вліянію...

Это уже было слишкомъ, и я расхохотался. Моя собесѣдница закусила губы и вызывающе посмотрѣла на меня. Потомъ она точно передумала и опять улыбнулась.

— Все-таки вы сдѣлаете по-моему, пойдете и извинитесь... да. Это вы сдѣлаете для меня... Скажу больше,—вы меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, конечно, потому что избавляетесь отъ меня..

— Хорошо. Я согласеиъ... Но только извиняюсь не сегодня.

— О, это рѣшительно все равно...

У нея явилось усталое выраженіе, и она съ трудомъ сдержала зѣвоту.

Я отправился ея провожать. Стояла холодная зимняя ночь, но она отказалась отъ извозчика и пошла пѣшкомъ. Нужно было итти на Выборгскую сторону, куда-то на Сампсоніевскій проспектъ. Она сама взяла меня подъ руку и дорогой разсказала, что у нея есть мужъ, который постоянно ее обманываетъ (какъ всѣ мужчины), что, кромѣ того, есть дочь, дѣвочка лѣтъ восьми, что ей вообще скучно и что она, наконецъ, презираетъ всѣхъ мужчинъ.

— Не стоитъ жить,—закончила она свою исповѣдь. А сегодня у меня какая-то особенная тоска... Къ сестрѣ

я попала совершенно случайно—и вдругъ попадаю на эту глупую исторію. Я серьозно противъ ея увлеченія...

Мы остановились у подъѣзда. Внутренно я былъ радъ, что и моя миссія закончилась. Моя дама что-то медлила и устало проговорила:

— Мужъ возвращается только въ два часа ночи... дѣвочка давно спитъ...

Она съ тоской посмотрѣла на меня, крѣпко пожала мою руку и молодымъ движеніемъ скрылась въ дверяхъ. Я стоялъ на тротуарѣ и думалъ: какая странная дама, по крайней мѣрѣ для первой встрѣчи. Тогда еще не было изобрѣтено всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спалъ на своей кровати невиннымъ сномъ грудного младенца. Меня это даже не возмутило... Что же, счастливъ тотъ, кто можетъ спать такъ крѣпко.

XXVIII.

Первая книжка новаго журнала «Кошница» должна была выйти перваго января, но этому благочестивому намѣренію помѣшали разныя непредвидѣнныя обстоятельства, и книжка вышла только въ концѣ января. Понятно, что я ждалъ съ нетерпѣніемъ этого событія: это былъ первый опытъ моего журнальнаго «тисненія»...

Объявленіе о выходѣ «Кошницы» я прочелъ въ газетѣ. Первое, что мнѣ бросилось въ глаза, это то, что у моего романа было измѣнено заглавіе—вмѣсто «Больной совѣсти» получились «Удары судьбы». Въ новомъ названіи чувствовалось какое-то роковое пророчество. Мало этого, романъ былъ подписанъ просто иниціалами,

а неизвѣстная рука мнѣ придѣлала псевдонимъ «Запорожецъ», что выходило и крикливо и помпезно. Пепко, прочитавъ объявленіе, расхохотался и проговорилъ.

— «Для начала не дурно», какъ сказалъ турокъ, посаженный на колъ... Да, не вредно, г. Запорожецъ, а удары судьбы были провиденціальнымъ назначеніемъ каждаго добраго запорожца... На всякій случай поздравляю «съ полемъ», какъ говорятъ охотники, когда убита первая дичь.

Мнѣ была совершенно понятна затаенная ревность Пепки: онъ печатался только въ газетахъ, а тутъ настоящій журналъ, хотя и «Кошница». Собственно и къ названію и къ псевдониму Пепко былъ совершенно равнодушенъ, но кромѣ начинающейся славы, онъ провидѣлъ и другую сторону—полученіе гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по приблизительному расчету мнѣ получить около ста рублей. У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цыфра точно жгла мой мозгъ, и мнѣ дѣлалось даже совѣстно, что я изъ богемы дѣлаю скачокъ прямо въ заколдованный кругъ Ротшильдовъ.

— Невинные восторги перваго авторства погибаютъ въ неравной борьбѣ съ томящей жаждой получить первый гонораръ,— резюмировалъ Пепко мое настроеніе:—тутъ тебѣ и святое искусство, и служеніе истинѣ, добру и красотѣ, и призваніе, и лучшія идеи вѣка, и вкладъ во всемірную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и тутъ же душевный вопль: «Подайте мнѣ мой двугривенный!» Я увѣренъ, что литература упала—это фактъ, не требующій доказательствъ—отъ двухъ причинъ: перевелись на бѣломъ свѣтѣ меценаты, которые авторамъ давали случай понюхать, чѣмъ пахнетъ жареное, а съ другой—авторы нынѣшніе не нюхаютъ табака. Ты не

смѣйся,—это гораздо серьезнѣе, чѣмъ ты думаешь, и упадокъ современной поэзіи находится въ прямой зависимости отъ брошенной привычки набивать себѣ носъ табакомъ. Вотъ прекрасная тэма для диссертаціи...

— А какъ же классическіе поэты?

— О, я убѣжденъ, что и они нюхали табакъ, а потомъ человѣчество на цѣлую тысячу лѣтъ забыло объ этомъ, пока Колумбъ снова не открылъ табакъ уже въ Америкѣ. Да, такъ что было бы въ доброе старое время? Ты написалъ свои «Удары судьбы», несёшь ихъ меценату... Меценатъ даетъ ихъ читать своему любимому арапу, а потомъ жертвуетъ тебѣ золотую табакерку, кафтанъ съ своего меценатскаго плеча, сапоги, штанишки и отпускаетъ кормъ съ своей кухни. По торжественнымъ днямъ ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду не за обычай. Но ты уже получаешь извѣстность... Выступаетъ женщина—чудная женщина добраго стараго времени, богомольная безбожница, суевѣрная, ласковая, красивая—да, всегда красивая. Она уже замѣтила тебя, пролила слезу и вытащитъ тебя за ушко въ люди. А теперь что: отправишься ты въ свою «Кошницу», получишь свой двугривенный,—и все тутъ. Публика совсѣмъ не интересуется тобой, какъ не интересуется клоуномъ, который на ея благосклонныхъ глазахъ сорвался съ трапеціи и проломилъ себѣ башку.

— Это, кажется, относится ближе къ твоимъ «Пѣснямъ смерти», чѣмъ къ моей скромной прозѣ.

— Ты правъ, противъ собственнаго желанія... Да, теперь время скверной прозы, а священный огонь поэзіи обрекаетъ на самую подлую нищету. Живой примѣръ у тебя на глазахъ... Я не виноватъ, что родился слишкомъ поздно. Представь себѣ, лежитъ этакій восточный

деспотище, который даже не можетъ ничего желать,—до того онъ пресыщенъ всѣмъ... Сегодня онъ отрубилъ уши тридцати тысячамъ человѣкъ, которые имѣли дерзость защищать свое отечество, вчера онъ превратилъ въ пепелъ цвѣтущую страну, третьяго дня избилъ младенцевъ въ собственномъ государствѣ; у него дремлетъ въ смертельной истомѣ цѣлый садъ красавицъ, ожидающихъ его ласки, какъ трава въ зной ждетъ капли дождя, а деспотище уже ничего не можетъ и для развлеченія кромсаетъ придворную челядь. И вдругъ является посланникъ боговъ—поэтъ, т. е. я... Да, это я вхожу къ деспотищу въ своемъ вретищѣ и подношу ему нѣсколько чудныхъ газелей, гдѣ воспѣвается любовь, молодость, красота... Я—сладчайшій Фирдуси, я—Гафизъ. У деспотища отъ моихъ стиховъ защипало въ носу, деспотище проливаетъ слезу... И посланникъ боговъ получаетъ мзду въ видѣ цѣлаго стада верблюдовъ, другого стада гаремныхъ красавицъ, достигшихъ предѣльнаго возраста, и еще и еще. Или: Луишка Каторзъ заскучалъ... Ликъ короля-солнца покрытъ зловѣщими морщинами, и вдругъ опять я съ напудреннымъ, вспѣненнымъ и наркотизированнымъ стихомъ—и морщины на челѣ Луишки Каторза разглаживаются, а глаза дѣлаютъ безмолвно знакъ какому-нибудь маршалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно цѣлую руку у послѣдней королевской метрессы, дѣлаю реверансъ и удаляюсь къ благополучію. Или: русскій вельможа... Онъ все съѣлъ, все выпилъ и страдаетъ одышкой. У него тяжелыя ночи, какъ у страсбургскаго гуся, у котораго вся жизнь сосредоточивается въ одной печенкѣ. И вдругъ является поэтъ, который пишетъ оду на смерть россійскаго Цинцинната. Да, вотъ что я такое... А сейчасъ я долженъ

питаться всего тремя буквами, да и тѣ вынужденъ тащить на улицу, въ кабакъ.

— Да, ты потерялъ много времени совершенно напрасно...

— И мнѣ ничего не остается, какъ купить табакерку на свой собственный счетъ и открыть новую эру въ поэзіи. Dixi.

Дѣйствительность не оправдала тѣхъ надеждъ, съ какими я шелъ въ первый разъ въ редакцію «Кошницы». Во-первыхъ, издателя не оказалось дома, и «человѣкъ» не могъ сказать, когда онъ бываетъ дома.

— Да, вѣдь, бываетъ же онъ когда-нибудь дома?— приставалъ я, охваченный первой тѣнью сомнѣнія.

— Сегодня были-съ...

— А завтра?

— Не могу знать-съ... Иногда они уѣзжаютъ изъ дому дня на три.

Я чувствовалъ, что издатель дома и что меня просто-напросто «не принимаютъ». Кстати, я въ первый разъ даже не замѣтилъ фамилій издателя и прочиталъ ее въ первый разъ на оберткѣ журнала: С. Я. Райскій. Пепко видѣлъ въ ней залогъ несомнѣннаго блаженства, что для перваго раза не оправдалось.

Пришлось уйти, несолоно хлѣбавши. Признаюсь, меня охватило мрачное предчувствіе, что дѣло какъ будто не ладно. Вдобавокъ, въ надеждѣ на полученіе гонорара, я издержалъ послѣдніе гроши и сейчасъ не имѣлъ денегъ даже на конку. Пришлось шагать пѣшкомъ къ Таврическому саду. «Только редакторъ» оказался дома и принялъ меня съ изысканной любезностью.

— Поздравляю... Это вашъ первый опытъ, кажется?

— Да, первый...

— Вы, конечно, понимаете, что онъ могъ быть бы и лучше, но первому блину многое прощается...

Эта развязность «только редактора» немного кольнула меня, и я безъ предисловій перешелъ къ вопросу о гонорарѣ.

— Я уже васъ предупреждалъ, что я только редакторъ и въ хозяйственную часть журнала не вмѣшиваюсь. Я такой же сотрудникъ, какъ и вы...

— Послушайте, отъ кого же я могу получить свѣдѣнія о срокѣ полученія гонорара? Для меня это очень важный вопросъ... При редакціи полагается, обыкновенно, контора.

— Да, да... Но у насъ дѣло новое, и пока никакой конторы не существуетъ, а ее совмѣщаетъ въ себѣ Райскій. Онъ немножко легкомысленный человѣкъ и не признаетъ никакихъ сроковъ...

Однимъ словомъ, я вернулся ни съ чѣмъ, кромѣ тяжелаго предчувствія, что мой первый блинъ выйдетъ комомъ. Мое положеніе было до того скверное, что я даже не могъ ничего говорить, когда въ трактирѣ Агапыча встрѣтилъ «академію». Пепко такъ и сверлилъ меня глазами, изнемогая отъ любопытства. Онъ даже заглядывалъ мнѣ въ карманы, точно я, по меньшей мѣрѣ, спряталъ Голконду. Меня это взорвало, и я его обругалъ.

— Ты глупъ до святости, мой другъ.

— Послушай, это не по-товарищески скрывать сокровище.

— Убирайся къ чорту!..

Пепко почувствовалъ, что стряслась какая-то бѣда, и въ качествѣ истиннаго друга тайно торжествовалъ. Фрей хмурился и старался не смотрѣть на меня. Это

было сквернымъ знакомъ... Наконецъ онъ отвелъ меня въ сторону и конфиденціально сообщилъ:

— А знаете, этотъ Райскій просто мазурикъ, изъ мелкихъ клубныхъ шулеровъ. Я слишкомъ поздно узналъ... Необходимо дѣйствовать энергично.

Я разсказалъ свой первый «опытъ», и брови Фрея приняли угрожающее положеніе, а трубочка захрипѣла.

На слѣдующій день я, конечно, опять не засталъ Райскаго; то же было и еще на слѣдующій день. Отворявшій дверь лакей смотрѣлъ на меня съ полнымъ равнодушіемъ человѣка, привыкшаго и не къ такимъ видамъ. Эта скотина съ каждымъ разомъ пріобрѣтала все болѣе и болѣе замороженный видъ. Я оставилъ издателю письмо и въ теченіе цѣлой недѣли мучился ожиданіемъ отвѣта, но его не послѣдовало.

— Возьмите рукопись, и ну ихъ къ чорту!—совѣтовалъ Фрей.

— Это неудобно: можетъ-быть и заплатятъ.

Брови Фрея сильно сомнѣвались въ возможности такого исхода, а мнѣ въ утѣшеніе оставалась только вѣра,— не хотѣлось разстаться съ блестящей иллюзіей.

«Тольсо редакторъ» былъ постоянно дома и вѣчно что-то такое строчилъ. Онъ старался успокоить меня разными остроумными предположеніями, не забывая выгораживать свою личную неприкосновенность.

— Да, мы раздѣляемъ общую участь, — повторялъ онъ. — Вы видите, что я постоянно работаю... Однѣхъ рукописей, сколько приходится перечитывать, а потомъ поправлять ихъ.

— А какъ вы думаете, Райскій заплатитъ что-нибудь?

Этотъ вопросъ заставилъ руки «только редактора»

раскинуться въ такой формѣ, точно я пригвождалъ его ко кресту.

— Могу сказать только про себя и о себѣ, что я... Знаете французскую поговорку: la plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.

Поговорку я слышалъ въ первый разъ, и она стоила мнѣ около пятисотъ рублей.

«Только редакторъ» для меня лично навсегда остался неразрѣшимой загадкой, какъ шестой палецъ. Онъ имѣлъ спеціальное образованіе, зналъ три языка, гдѣ-то служилъ и кончилъ тѣмъ, что сдѣлался редакторомъ сомнительнаго журнала «Кошница». Можно прослѣдить даже періоды появленія такихъ никому ненужныхъ журналовъ, которые раздѣляютъ печальную участь писемъ, отправленныхъ безъ адреса. Какими путями зарождается мысль о такихъ журналахъ, какъ они осуществляются, и какъ находятся люди, которые рѣшаются отдавать имъ и деньги, и трудъ, и энергію? Впослѣдствіи я встрѣчалъ много такихъ людей, которые какъ-то бочкомъ всю жизнь проведутъ «около литературы». Замѣчательно то, что именно эти люди съ особенной беззавѣтностью преданы литературѣ и для нея готовы пожертвовать всѣмъ. Впрочемъ, есть цѣлая категорія такъ называемыхъ «друзей артистовъ» и къ ней примыкаютъ «друзья литературы». Въ этой пестрой и оригинальной средѣ много лишняго, и подчасъ сюда вторгаются даже совсѣмъ нежелательные элементы, какъ издатель Райскій.

Опытъ съ «Кошницей» имѣлъ для меня только то значеніе, что послужилъ предостереженіемъ не дѣлать такихъ опытовъ въ другой разъ.

XXIX.

Сгоряча я было махнулъ рукой на свои «Удары судьбы», но Фрей смотрѣлъ на дѣло иначе.

— Нѣтъ, такъ нельзя,—упрямо повторялъ онъ.—Съ какой стати какимъ-то прохвостамъ бросать пятьсотъ рублей? Мы испортимъ имъ характеръ...

— Что же дѣлать?

— А къ мировому!

— Знаете, какъ-то неудобно начинать литературную дѣятельность съ прошенія къ мировому.

— Вздоръ! Я самъ пойду за васъ... Такъ нельзя, государь мой! Это грабежъ на большой дорогѣ...

Мнѣ было тяжело и обидно даже думать о такомъ оборотѣ дѣла, и я употреблялъ всѣ усилія, чтобы кончить дѣло миромъ. Опять начались безплодныя хожденія къ «только редактору», который ударялъ себя въ грудь и говорилъ:

— Посмотрите на меня: я работаю больше васъ и тоже ничего не получаю.

— Это, во-первыхъ, дѣло вкуса, а во-вторыхъ — плохое утѣшеніе для меня.

— Нѣтъ, извините, чужія несчастія — наше лучшее утѣшеніе. Мы—друзья по несчастію.

Когда я намекнулъ относительно вчиненія иска законнымъ порядкомъ, «только редакторъ» видимо струсилъ и вручилъ мнѣ двадцать-пять рублей.

— Ага, я говорилъ!..—торжествовалъ Фрей. — Впрочемъ, первая ласточка еще не дѣлаетъ весны... И мы все-таки вчинимъ искъ, чортъ меня побери!..

Мнѣ дорого обошлась эта «первая ласточка». Если бы я слушалъ Фрея и вчинилъ искъ немедленно, то получилъ бы деньги, какъ это было съ другими сотрудниками, о чемъ я узналъ позже; но я надѣялся на увѣренія «только редактора» и затянулъ дѣло. Потомъ я получилъ еще двадцать-пять рублей — итого, пятьдесятъ. Кстати, это—все, что я получилъ за романъ въ семнадцать печатныхъ листовъ, изданный вдобавокъ отдѣльно безъ моего согласія.

А жизнь шла своимъ чередомъ, загромождая путь къ славѣ безплоднымъ каменіемъ и евангельскими терніями. Въ неудачѣ съ первымъ романомъ я начиналъ видѣть достойную кару за сдѣлку съ совѣстью. А не пиши романовъ для сомнительныхъ изданій, не имѣй дѣла съ сомнительными людьми... Человѣкъ, надѣлавшій ошибокъ и глупостей, съ трогательной настойчивостью предается отыскиванію истиннаго виновника, а въ данномъ случаѣ онъ былъ на лицо, — это я самъ. Слѣдующимъ моментомъ этой философіи впавшаго въ ошибку человѣка является скромное желаніе искупить ее дѣяніемъ противоположнаго характера, покрывающаго содѣянное прегрѣшеніе. Да, нужно было искупленіе, нужна очистительная жертва... А она была тутъ, на лицо. Я добылъ заброшенныя рукописи и принялся ихъ перечитывать съ жадностью. Да, въ нихъ было и чистое и хорошее, то, для чего стоитъ жить, а главное — нѣтъ принижающаго подлаживанья къ кому-то и чему-то. Много незрѣлаго, вымученнаго, придуманнаго и все-таки хорошаго. Я съ какой-то жадностью перечитывалъ свой первый романъ, потерпѣвшій фіаско уже въ двухъ редакціяхъ, и невольно пришелъ къ заключенію, что ко мнѣ тамъ были несправедливы. Одинъ редакторъ «толстаго журнала»

говорилъ, что слишкомъ много описаній и мало сценъ, а другой—что описаній мало. Гдѣ же правда? Кстати, я припомнилъ Пепку, который серьезно вѣрилъ въ мой талантъ и предсказывалъ даже литературную будущность. Милый Пепко... Онъ пока одинъ цѣнилъ меня. Что же, другіе потомъ убѣдятся, какъ они ошибались, т. е. даже не ошибались, а просто не замѣчали, какой умный человѣкъ замѣшался среди нихъ. И умный, и талантливый... Да, работать, работать, работать! Къ чорту всѣ сомнѣнія!.. Хотя, съ другой стороны, если подумать, что въ Россіи сто милліоновъ населенія, что интеллигенціи наберется около милліона, что изъ этого милліона въ теченіе десяти лѣтъ выдвинется всего одно или много два литературныхъ дарованія,—нѣтъ, эта комбинація приводила меня въ отчаяніе, потому что приходилось самому себя считать избранникомъ, солью земли, тѣмъ счастливымъ номеромъ, на который падаетъ выигрышъ въ двѣсти тысячъ. Нѣтъ, выигрышъ двѣсти тысячъ даже легче (два раза въ годъ можно выиграть), чѣмъ сдѣлаться писателемъ. А сколько тысячъ неудачниковъ, ожесточенныхъ самолюбій, озлобленныхъ умовъ и неудовлетворенныхъ самомнѣній на этомъ тернистомъ пути—настоящій дремучій лѣсъ! А какая масса растрачивается никому ненужнаго труда, энергіи, лучшихъ чувствъ, просто физической силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!

Эти предварительныя родовыя схватки творческихъ мукъ доводили меня до отчаянія. Я хватался за перо и начиналъ писать, чтобы потомъ уничтожить написанное. Выступала другая сторона дѣла: существуетъ русская литература, нѣмецкая, французская, италіанская, англійская, классическая, цѣлый рядъ восточныхъ,— о чемъ

не было писано, какіе вопросы не были затронуты, какіе изгибы души и самыя сокровенныя движенія чувства не были трактованы на всѣ лады! Я перебиралъ классическія произведенія и приходилъ къ печальному заключенію, что все уже написано и что я родился немного поздно. Что можно было сказать новаго на этомъ пирѣ избранниковъ? Какое новое слово можно принести въ этотъ міръ князей мысли? Наконецъ, каждый человѣкъ является продуктомъ своего времени, своихъ обстоятельствъ, условій своей жизни... Да, хорошо писать заграничному автору, когда тамъ жизнь бьетъ ключомъ, когда онъ родится на свѣтъ уже культурнымъ, когда въ самомъ воздухѣ виситъ эта культурная тонкость пониманія,—однимъ словомъ, этотъ заграничный авторъ несетъ въ себѣ громадное культурное наслѣдство, а мы рядомъ съ нимъ нищіе, тѣ жалкіе нищіе, которые прячутъ въ тряпки собранные по грошикамъ чужіе двугривенные. Много ли у насъ своего? Вѣдь лучшія наши произведенія—только подражанія, болѣе или менѣе удачныя, лучшимъ заграничнымъ образцамъ... Да иначе и не могло быть, потому что у насъ собственно и жизни нѣтъ. Авторъ долженъ ее придумывать, прикрашивать, сдабривать вотъ эту несуществующую жизнь... Я прикинулъ свое собственное «поле зрѣнія» и пришелъ въ ужасъ. Да развѣ можно быть авторомъ, заживо похоронивъ себя въ какихъ-нибудь «Ѳедосьиныхъ покровахъ»? Здѣсь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется въ эту проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, какъ атрофируются глаза рыбъ, попавшихъ въ подземныя озера.

Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими русскими людьми, сказано талантливо, убѣдительно, кра-

сиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конекъ всѣхъ русскихъ авторовъ, но вѣдь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Гдѣ эта жизнь? Гдѣ эти таинственные родники, изъ которыхъ сочилась многострадальная русская исторія? Гдѣ тѣ пути-дороженьки и роковыя розстани (направо поѣдешь—самъ сытъ, конь голоденъ, налѣво—конь сытъ, самъ голоденъ, а прямо поѣдешь—не видать ни коня ни головы), по которымъ ѣздили могучіе родные богатыри? Нѣтъ, жизнь есть, она должна быть...

Я писалъ, перечитывалъ написанное и рвалъ.

Дѣйствительность выражалась въ рѣдкомъ хожденіи на лекціи и въ репортерствѣ. Тутъ еще ярче выступала печальная истина, что мы плетемся въ хвостѣ Европы и питаемся отъ крохъ, падающихъ со стола европейской науки. Наши ученыя имена не шли дальше добросовѣстныхъ компиляцій, связанныхъ съ грѣхомъ пополамъ собственной отсебятиной. Исключеній было такъ мало, а остальное подавляющее большинство представляло ту жалкую посредственность, которая заклеймена въ Вагнерѣ у Гете. Мое репортерство открывало мнѣ изнанку этой русской науки и тѣхъ лиллипутовъ, которые присосались къ ней съ незапамятныхъ временъ. По своимъ обязанностямъ репортера я попалъ на самые боевые пункты этой ученой траги-комедіи и былъ au courant русской доброй науки. Свои отчеты я попрежнему приносилъ въ трактиръ Агапыча, гдѣ попрежнему священнодѣйствовалъ Фрей. Я искренно полюбилъ этого фанатика газетнаго дѣла,—только такими людьми и держится

міръ. Кромѣ газеты для него ничего не существовало, и онъ всегда былъ на своемъ посту.

— А, чортъ...--ругался однажды Фрей, просматривая телеграммы.

— Что такое случилось?

— А вотъ полюбуйтесь...

Фрей ткнулъ пальцемъ на телеграммы о герцеговинскомъ возстаніи. Я не понялъ его негодованія.

-- Что же тутъ дурного, полковникъ? Люди хотятъ освободиться отъ ига... Турецкія звѣрства, наконецъ...

— Э, батенька, стара штука... А скверно то, что вотъ изъ такихъ пустяковъ загораются большія событія. Да... Тамъ этихъ братушекъ сколько угодно: сербы, болгары, Македонія. Ну, мы заступимся за нихъ, загорится война—вотъ вамъ, т. е. намъ репортерамъ, и матъ. Кто будетъ читать наши ученыя общества и разныя извѣстія о пожарахъ, убійствахъ, банковыхъ крахахъ и юбилеяхъ? Ложись и умирай... Публику хлѣбомъ не корми, а только подавай войну. Вотъ на этомъ самомъ теперь всѣ газетчики и наигрываютъ, кромѣ «Нашей газеты». Однимъ словомъ, дрянь дѣло. Порохомъ пахнетъ...

Фрей предсказалъ войну, хотя зналъ объ истинномъ положеніи дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ не больше другихъ, т. е. ровно ничего. Русско-турецкая война открыла намъ и Сербію и Болгарію, о которыхъ мы знали столько же, сколько о китайскихъ дѣлахъ. Русское общество ухватилось за славянъ съ особеннымъ азартомъ, потому что нуженъ же былъ какой-нибудь интересъ. Сразу выплыли какіе-то никому неизвѣстные дѣятели, ораторы, радѣтели и просто жалобные люди, взасосъ читавшіе послѣднія извѣстія о новыхъ турецкихъ звѣрствахъ.

Фрей находился въ какомъ-то ожесточенномъ настроеніи и съ особеннымъ удовольствіемъ ухватился за мое дѣло, какъ я ни уговаривалъ его бросить.

— Нѣтъ, постой, такъ нельзя... — мрачно говорилъ онъ, запрятывая въ карманъ полученную отъ меня довѣренность.—Этакъ съ живого человѣка будутъ кожу драть, а онъ будетъ «покорно благодарю» говорить.

Подано было прошеніе мировому судьѣ, и къ дѣлу пріобщены три книжки «Кошницы», въ которыхъ печатался мой романъ. Я былъ въ камерѣ только публикой. Со стороны Райскаго никто не явился, и мировой судья присудилъ Василію Попову четыреста пятьдесятъ шесть рублей. Это рѣшеніе было обжаловано Райскимъ, и дѣло перешло въ съѣздъ мировыхъ судей. Дальше мнѣ было совѣстно безпокоить Фрея; черезъ двѣ недѣли я выступилъ въ съѣздъ уже лично. Съѣздъ утвердилъ рѣшеніе мирового судьи, потому что противная сторона опять не явилась, и я получилъ исполнительный листъ.

— Такъ-то будетъ лучше,—торжествовалъ Фрей, перечитывая этотъ цѣнный документъ. — Мы имъ покажемъ...

Однако, намъ такъ и не удалось «имъ показать», потому что Райскій скрылся изъ Петербурга неизвѣстно куда, а имущество журнала находилось въ типографіи. Судебный приставъ отказалъ производить взысканіе, такъ какъ не было ни редакціи, ни конторы, ни склада изданій... Въ теченіе восьми недѣль я ходилъ въ съѣздъ съ своимъ исполнительнымъ листомъ, чтобы разрѣшить вопросъ, но непремѣнные члены только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконецъ нашелся одинъ добрый человѣкъ, который вошелъ въ мое положеніе.

— Вы давно ходите къ намъ съ этимъ исполнительнымъ листомъ?

— Да вотъ уже два мѣсяца...

— Да? Знаете, что я вамъ посовѣтую: бросьте это дѣло... Все равно, ничего не выйдетъ.

— Я самъ начинаю объ этомъ догадываться...

— Да, да...

Фрей даже зарычалъ, когда я предложилъ свой исполнительный листъ ему на память. Онъ хотѣлъ еще куда-то жаловаться, искать мѣстожительство Райскаго и т. д., но я его уговорилъ бросить всю эту комедію.

-- Послушайте, я считалъ васъ умнѣе, Поповъ...

— Что дѣлать: таковъ уродился.

Пепко, узнавшій объ исходѣ дѣла, осталая совершенно равнодушенъ и даже, по своему коварству, кажется, тайно торжествовалъ. У насъ, вообще, установились крайне неловкія отношенія, выходъ изъ которыхъ былъ одинъ— разойтись. Мы не говорили между собой по цѣлымъ недѣлямъ. Очевидно, Пепко находился подъ вліяніемъ Анны Петровны, продолжавшей меня ненавидѣть съ женской послѣдовательностью. Нѣтъ ничего хуже такихъ отношеній, особенно когда связанъ необходимостью прозябать въ одной конурѣ.

— Послушай, ты долженъ быть мнѣ благодаренъ,— замѣтилъ Пепко, принимая какой-то великодушный видъ.— Да, благодаренъ. Вѣдь я могъ бы тебѣ сказать, что все это можно бы предвидѣть, и что именно я это предвидѣлъ и такъ далѣе. Но я этого не дѣлаю, и ты чувствуй.

XXX.

Всѣ эти треволненія, усиленная работа и не менѣе усиленное пьянство привели меня къ естественному концу. Кстати, о пьянствѣ. Можетъ быть, я началъ именно съ того, чѣмъ долженъ кончить русскій писатель. Я уже говорилъ выше объ условіяхъ работы и образѣ нашей жизни. Съ семи часовъ вечера я обыкновенно уходилъ на работу, т. е. въ засѣданіе какого-нибудь общества. Домой возвращаться приходилось уже поздно, въ полночь. Затѣмъ, Өедосья будила меня въ шесть часовъ утра. Нужно было написать отчетъ къ восьми часамъ и немедленно снести въ редакцію, т. е. въ трактиръ Агапыча. Въ своей спеціальности я уже набилъ руку и вполнѣ усвоилъ репортерскую привычку писать о совершенно незнакомыхъ вещахъ съ развязностью завзятаго спеціалиста. Обвинять же репортерское незнаніе, пожалуй, несправедливо, потому что поневолѣ приходится репортеру писать обо всемъ, а маленькая газетная кляча не обязана быть Гумбольдтомъ.

Итакъ мы работали, работали и пили. Приходишь къ Агапычу, Фрей на своемъ посту и кто-нибудь изъ членовъ «академіи». Такое дѣловое утро начиналось обыкновенно съ водки. Трактирный «человѣкъ» даже не спрашивалъ, что нужно, а безъ предупрежденія подавалъ графинчикъ водки. Фрей методически выпивалъ двѣ рюмки, закусывалъ водку соленымъ огурцомъ, нюхалъ корочку чернаго хлѣба и дѣлался нормальнымъ Фреемъ. Я водки съ утра не могъ пить, а спрашивалъ себѣ бутылку пива. Это быстро вошло въ привычку. Начиналъ сосать пьяный червячокъ, если не выпьешь своей пор-

ціи. Выпитое натощакъ пиво быстро дурманило, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалось какое-то облегченіе,—совершенно особенное чувство, какое испытывается при прекращеніи зубной боли. Въ первый моментъ не вѣрится, что эта боль утихла, и какъ-то повторяешь ее про себя и только потомъ привыкнешь быть по прежнему здоровымъ. Такъ и при пьянствѣ: количество выпитаго не играетъ здѣсь особенной роли, потому что большая или меньшая «пріемность» слишкомъ субъективна. Выпивъ свою бутылку пива, я всегда испытывалъ пріятное возбужденіе, точно снималъ съ себя какую-то тяжесть. Затѣмъ, этого заряда энергіи начало не доставать, и пришлось пить другую бутылку. Итакъ изо дня въ день. Мысль о выпивкѣ являлась съ ранняго утра. Я сознавалъ, что это нехорошо, что это вредно, глупо и все-таки повторялъ свои порціи. Молодой организмъ быстро поддается излишествамъ. Вечеромъ являлась выпивка уже не въ счетъ и въ неопредѣленныхъ размѣрахъ. Если не было засѣданія, я все чаще и чаще возвращался домой сильно подъ хмелькомъ.

Настоящей многолѣтней привычки еще не могло быть, но пьянство было. Про себя я утѣшался разсужденіемъ каждаго пьяницы, что вотъ возьму и брошу, а сегодня это только такъ, пока. Сколько людей на Руси гибнетъ отъ жестокаго пьянства, а между тѣмъ чего, кажется, проще отказаться отъ *одной* рюмки, всего отъ одной. Я быстро пошелъ по избитой дорожкѣ и усвоилъ эту пьяную логику. Къ моему счастію, явился протестъ со стороны организма, что меня и спасло отъ окончательнаго паденія. Началось съ простого недомоганья, безсонницы, плохого аппетита и лихорадки. Я не обращалъ на такіе пустяки вниманія и старался избавиться отъ нихъ уси-

ленной дозой напитковъ. Наконецъ все завершилось кризисомъ, и въ одно прекрасное утро я почувствовалъ, что серьезно боленъ и что продолжать прежній образъ жизни невозможно. Это было органическое темное чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатію и неспособность къ какой бы то ни было работѣ.

Странная вещь болѣзни вообще, и у нихъ есть своя философія. По крайней мѣрѣ, это было вѣрно лично для меня. Сколько передумаешь, перечувствуешь и переживешь въ теченіе какого-нибудь одного дня. Первымъ ощущеніемъ у меня являлось то, какъ будто какая-то невидимая рука взяла тебя и вывела изъ круга здоровыхъ людей. Съ каждымъ ударомъ сердца эта отчужденность усиливалась, и съ роковой быстротой увеличивалось разстояніе, отдѣлявшее тебя отъ жизни. Теперь все сосредоточивалось гдѣ-то тамъ, внутри, гдѣ незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще вчера былъ здоровъ и не думалъ о здоровьи, а сегодня уже пронеслась въ воздухѣ грозная мысль объ уничтоженіи, о смерти, о собственной ничтожности. Все, что дѣлалъ, къ чему стремился, о чемъ заботился,—все это теперь являлось въ совершенно другомъ свѣтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какое ничтожество каждый отдѣльный человѣкъ, взятый только самъ по себѣ, и какъ мало дѣла всѣмъ остальнымъ ничтожествамъ, если однимъ ничтожествомъ сдѣлается меньше. Отъ больныхъ не сторонятся только изъ вѣжливости, изъ вѣжливости выслушиваютъ ихъ жалобы и очень рады, когда могутъ опять вернуться въ общество своихъ здоровыхъ людей. Все это я съ особенной яркостью видѣлъ на моемъ другѣ Пепкѣ и не обвинялъ его, потому что самъ, вѣроятно, сдѣлалъ бы тоже самое.

Да, я лежалъ на своей кушеткѣ, считалъ лихорадоч-

ный пульсъ, обливался холоднымъ потомъ и думалъ о смерти. Кажется, Некрасовъ сказалъ, что хорошо молодымъ умереть. Я съ этимъ не могъ согласиться и какъ-то весь затаился, какъ прячется подстрѣленная птица. Да и къ кому было итти съ своей болью, когда всякому только до себя! А какъ страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе подвигаетъ тебя къ роковой развязкѣ, къ тому огромному неизвѣстному, о которомъ здоровые люди думаютъ меньше всего.

Но я ошибался. За мной слѣдила смѣшная и нелѣпая по существу женщина Ѳедосья. Мы съ ней періодически враждовали и ссорились, но сейчасъ она видѣла во мнѣ больного и отнеслась съ чисто женскимъ участіемъ. Получалась трогательная картина, когда она приносила то чашку бульона, то какіе-то сухари, то кусокъ жареной говядины.

— Что вы все лежите, Поповъ?..—ворчала она.—Пошли бы прогуляться, а то одурь возьметъ... Вонъ ночью какъ сегодня кашляли!

— Ничего, пройдетъ...

— А отчего вы въ клинику не хотите сходить?

— Незачѣмъ...

Къ клиникѣ Ѳедосья возвращалась съ особенной настойчивостью, и это меня начинало злить.

— Вамъ хочется избавиться отъ меня, — замѣтилъ я ей довольно грубымъ тономъ.—Боитесь, что я умру у васъ...

Ѳедосья что-то прибирала въ нашей комнаткѣ, остановилась и съ удивленіемъ посмотрѣла на меня. Она не обидѣлась, а только удивилась. Я ей платилъ черной неблагодарностью за ея женскую доброту. Въ другое время она отвѣтила бы соотвѣтствующей же грубостью, но сей-

часъ только посмотрѣла на меня такими жалѣющими добрыми глазами. Мнѣ сдѣлалось совѣстно, и я въ первый разъ подумалъ, что вотъ живу у Ѳедосьи скоро два года, а ни разу даже не подумалъ, что это и хорошая, и, главное, добрая женщина. Да... А когда я умру, она, можетъ-быть, одна проводитъ меня на кладбище, искренно поплачетъ надъ могилой и будетъ по-женски хорошо жалѣть. Она и сейчасъ жалѣла, хотя и надоѣдала своей клиникой. Да, мнѣ сдѣлалось совѣстно, и я посмотрѣлъ на эту смѣшную Ѳедосью совсѣмъ другими глазами.

Убѣдившись, что съ клиникой ничего не подѣлаешь, Ѳедосья обратилась къ другимъ средствамъ. Она недолюбливала жиличку Анну Петровну, въ которой ревновала женщину, но для меня примирилась съ ней. Я это сразу понялъ, когда въ одно непрекрасное февральское утро Анна Петровна постучала въ дверь моей комнаты и попросила позволенія войти.

— Пожалуйста...

Дѣвушка вошла съ немного сконфуженнымъ видомъ, вѣроятно припоминая нашу ссору изъ-за Любочки.

— Вы больны, Поповъ?

— Да, что-то нездоровится... Такъ, пустяки.

— Какіе же пустяки... Вы ничего не будете имѣть, если я васъ выслушаю?

— Вы, кажется, начинаете смотрѣть на меня какъ на медицинскій препаратъ?

Медичка строго сложила губы и сдѣлала видъ, что не разслышала моего отвѣта.

— Впрочемъ, какъ хотите... — поправился я.—Вамъ полезно поупражняться въ перкуссіи.

— Да, да, именно, полезно...

Я отдался въ ея распоряженіе и сталъ вслушиваться въ постукиванье молотка, который разыгрывалъ на моей груди оригинальную мелодію. Лѣвое легкое было благополучно, нижняя часть праваго тоже, а въ верхушкѣ его послышался характерный тупой звукъ, точно тамъ не было хозяина дома и все было заперто. Анна Петровна припала ухомъ къ пойманному очагу и не выдержала, вскрикнувъ съ какой-то радостью:

— *Взвизгиваетъ...* да, совершенно ясно *взвизгиваетъ*!..

Она радовалась какъ охотникъ, выслѣдившій интересную дичь, и совершенно забыла обо мнѣ. Я отлично понималъ, что означаетъ этотъ медицинскій терминъ, и почувствовалъ, какъ у меня передъ глазами заходили темные круги, и «Ѳедосьины покровы» точно пошатнулись. Я очнулся отъ легкаго обморока, только благодаря холодной водѣ, которой меня отпаивала Анна Петровна.

— Ничего... это бываетъ...—бормотала она смущенно. —Если уѣхать въ Крымъ и взять тамъ весну...

— Еще лучше, если уѣхать въ Ментону... да. У меня притупленіе праваго легкаго?

— Да...

— Пріятное открытіе...

— Проклятый петербургскій климатъ...

— И многое другое... Впрочемъ, очень благодаренъ вамъ.

— Необходимо урегулировать питаніе... хорошее вино... легкій моціонъ..,

— Послушайте, не будемъ говорить объ этомъ, Анна Петровна... У меня въ карманѣ ровно двугривенный, а работать сейчасъ я не могу. Впрочемъ, все это пустяки...

Притупленіе легкаго—это начало форменной чахотки. Изъ ста случаевъ одинъ шансъ остаться въ живыхъ,

особенно, когда въ карманѣ двугривенный. Вотъ когда пригодились бы пропавшія за Райскимъ деньги. Да, это былъ почти смертный приговоръ, а остальное все придетъ въ свое время. И время стоя стояло проклятое: конецъ февраля. До петербургской кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполнѣ понятное отчаяніе... Благодаря занятіямъ въ медицинской академіи, я отлично зналъ, какъ систематически пойдетъ весь процессъ, пока изъ живого человѣка не получится cadaver. Неужели все кончено и нѣтъ спасенія? Я носилъ уже смерть въ собственной груди, и будущее заключалось только въ постепенномъ разложеніи живого тѣла. Молодой неокрѣпшій организмъ такъ быстро реагируетъ въ такихъ случаяхъ, и пламя жизни потухаетъ, какъ тѣ свѣтильники, въ которые евангельскія дѣвы позабыли налить масла.

О, какъ я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сдѣланнаго и мукъ за несдѣланное, непережитое, неосуществленное. Прежде всего больная мысль унесла меня на родной благодатный югъ, подъ родную кровлю. Да, тамъ еще ничего не знаютъ да и не должны ничего знать, пока все не разрѣшится въ ту или другую сторону. Бѣдная мать... Какъ она будетъ плакать и убиваться, какъ убивались и плакали тѣ матери, дѣтьми которыхъ вымощены петербургскія кладбища. Пріѣхать домой больнымъ и отравить себѣ послѣдніе дни видомъ чужихъ страданій—нѣтъ, это невозможно. Тѣмъ болѣе, что во всемъ виноватъ я самъ и только я самъ. Моя болѣзнь—только результатъ безпутной, нехорошей жизни, а я не имѣю права огорчать другихъ, получая достойную кару за свое недостойное поведеніе.

Да, я по косточкамъ разобралъ всю свою недолгую жизнь и пришелъ къ убѣжденію, что еще разъ виноватъ

самъ. Одно пьянство чего стоило и другія излишества! Если бы можно было начать жить снова... Неужели нѣтъ спасенья, и со мной умретъ все будущее? По скрытой ассоціаціи идей я припомнилъ Александру Васильевну, какой я видѣлъ ее на балу. Вѣдь это было такъ недавно, чуть не на-дняхъ. Да, она такая молодая, свѣжая, полная силъ... На меня смотрѣли эти чудные дѣвичьи глаза, а въ нихъ смотрѣло счастье, любовь и цѣлый рядъ дѣтскихъ глазъ — да, глаза тѣхъ нашихъ дѣтей, въ которыхъ мы должны были продолжиться и которыхъ мы никогда-никогда не увидимъ. Мнѣ безумно захотѣлось видѣть ее и сказать, какъ я ее любилъ, какъ мы были бы счастливы, какъ прошли бы всю жизнь рука объ руку... Развѣ написать ей? Можетъ-быть, она пріѣдетъ...

А кругомъ стояла нѣмая ночь. Въ коридорѣ почикивали дешевенькіе стѣнные часы. Кругомъ темнота. Такая же ночь и на душѣ, а вмѣсто дешевенькихъ часовъ отбиваетъ тактъ измученное сердце. Я садился на своей кушеткѣ и смотрѣлъ въ темное пространство, изъ котораго выступалъ цѣлый рядъ картинъ. Голыя ноги повѣсившагося канатчика, пьяная улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любочки... Меня охватывала мучительная жажда жизни, именно—жажда. Я не хочу умирать... слышите?.. Я хочу жить, любить, работать, дававать жизнь другимъ. Не правда ли, я вѣдь еще такъ молодъ, и это было бы величайшей несправедливостью умереть на разсвѣтѣ жизни. Я, наконецъ, не настолько испорченный человѣкъ, чтобы не могъ исправиться. Вѣдь живутъ же никому ненужные старики и старухи, калѣки и нищіе, разбойники и просто негодяи, безнадежные пьяницы и совсѣмъ лишніе люди? Зачѣмъ именно я долженъ умереть?..

XXXI.

Болѣзнь съ неудержимой быстротой шла впередъ. Я уже рѣшилъ, что все кончено. Что же, другіе умираютъ, а теперь моя очередь,—и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конечно, жаль, но все равно, ничего не подѣлаешь. Человѣкъ, который, провожая знакомыхъ, случайно остался въ вагонѣ и ѣдетъ совсѣмъ не туда, куда ему нужно,—вотъ то ощущеніе, которое меня преслѣдовало неотступно.

Но я не былъ одинъ. Өедосья зорко слѣдила за мной и не оставляла своими заботами. Мнѣ пришлось тяжелымъ личнымъ опытомъ убѣдиться, сколько настоящей хорошей доброты заложила природа въ это неуклюжее и ворчливое существо. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, а такъ, просто, потому что другой она не умѣла и не могла быть.

— А я вамъ парного молока добыла...—какъ-то конфузливо-сурово сообщала Өедосья, глядя куда-нибудь въ сторону.—У дворника есть курицы, такъ тоже скоро нестись будутъ. Свѣжее яичко хорошо скушать. Вотъ если бы краснаго вина добыть...

На послѣднемъ пунктѣ политическая экономія Өедосьи дѣлала остановку. Бутылка вина на худой конецъ стоила рубль, а гдѣ его взять... Мои рессурсы были плохи. Оставалась надежда на родныхъ,—какъ было ни тяжело, но мнѣ пришлось просить у нихъ денегъ. За послѣдніе полтора года я не получалъ «изъ дома» ни гроша и рѣшился просить помощи, только вынужденный крайностью. Отецъ и мать, конечно, догадаются, что случилась

какая-то бѣда, но обойти этотъ роковой вопросъ не было никакой возможности.

Кромѣ физической стороны Өедосью занимала и психологія болѣзни. Она рѣшила про себя, что мнѣ вредно оставаться одному, съ неотвязной мыслью о своей болѣзни, и старалась развлекать меня, что оказалось труднѣе вопросовъ питанія. По вечерамъ Өедосья приходила въ мою комнату, становилась у двери и разсказывала какой-нибудь интересный случай изъ своей жизни: какъ ее три раза обкрадывали, какъ она лежала больная въ клиникѣ, какъ ее ударилъ на улицѣ пьяный мастеровой, какъ она чуть не утонула въ Невѣ, какъ за нее сватался пьянчуга-чиновникъ и т. д. О себѣ она говорила какъ о постороннемъ человѣкѣ, и всѣ эти воспоминанія сводились обязательно на что-нибудь непріятное. Вся жизнь Өедосьи составляла одну сплошную непріятность. Когда этотъ личный матеріалъ исчерпался, Өедосья перешла къ жильцамъ, и я могъ только удивляться ея наблюдательности. Она, какъ оказалось, отлично понимала бѣдствовавшую въ ея конурахъ молодость и дѣлала мѣткія характеристики. Впрочемъ, чужія злоключенія и ошибки Өедосья понимала по личному горькому опыту.

Разъ Өедосья заявилась съ бутылкой дешевенькаго краснаго вина. Замѣтивъ мой недовольный взглядъ, она поспѣшила оправдаться:

— Не мое вино-то... И бутылка почата... Это мужъ у Аграфены Петровны былъ имениникъ, такъ вино-то и осталось. Все равно, такъ же бы слопали... Я какъ-то забѣжала къ ней, ну, разговорились, ну, она мнѣ сама и суетъ бутылку. А я не просила... Ей Богу, не просила. Она добрая...

Мнѣ было совѣстно пользоваться любезностью почти

совсѣмъ незнакомой женщины, тѣмъ болѣе что у меня явилось подозрѣніе относительно правдивости Ѳедосьи. Навѣрно, она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.

— Не хочу я вина...—рѣшительно заявилъ я.—Не хочу,—и все тутъ.

Ѳедосья отличалась большимъ упрямствомъ и повела дѣло другимъ путемъ. Въ этотъ же день явилась ко мнѣ сама Аграфена Петровна.

— Вы это что капризничаете?—напустилась она на меня безъ всякихъ предисловій.—Это я *сама* послала вамъ вино... Все равно, испортилось бы. Я не пью, а мужу вредно пить. Однимъ словомъ, вздоръ...

Она осмотрѣла комнату и только покачала головой. На окнѣ не было шторы, по угламъ пыль, мебель жалкая,—однимъ словомъ, одна мерзость. Мое дѣвственное ложе тоже возбудило негодованіе Аграфены Петровны. Результатомъ этой ревизіи явилось совершенно неожиданное заключеніе:

— Мы съ вами будемъ играть въ карты...

— Я не умѣю.

— А я научу. Будемъ играть въ рамсъ... Я ужасно люблю. А вамъ необходимо развлечься немного, чтобы не думать о болѣзни. Сегодня у насъ что? Да, равноденствіе... Скоро весна, на дачу поѣдемъ, а пока въ картишки поиграемъ. Мнѣ одной-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьметъ. Бабъ я терпѣть не могу, а одной скучно... Я васъ живо выучу. Какъ жаль, что сегодня картъ не захватила съ собой, а еще думала... Этакая тетеря...

Аграфена Петровна была немного странная женщина и поражала неожиданными фантазіями. Одна изъ та-

ких фантазій — ухаживать за «больнымъ студентомъ». Хорошо было то, что она все дѣлала какъ-то заразительно-просто, съ вѣчной улыбкой. На меня дѣйствовала больше всего именно эта простота. Такъ и пахнуло какимъ-то домашнимъ тепломъ, уютнымъ спокойствіемъ и улыбающейся добротой. Каждое появленіе Аграфены Петровны сопровождалось какой-нибудь реформой: одинъ разъ переставленъ былъ письменный столъ, въ другой — моя кушетка, въ третій — стулья. Свою ненависть къ Пепкѣ она переносила и на его вещи и говорила: «ну, этотъ и такъ живетъ»...

Вечера за картами проходили, дѣйствительно, веселые. Аграфена Петровна ужасно волновалась и доходила до обвиненія меня въ подтасовкѣ. Кажется, въ репертуаръ развлеченія больного входили и карточныя ссоры. Въ антракты Аграфена Петровна прилаживалась къ столу, по-бабьи подпирала щеку одной рукой и говорила:

— Ну, разсказывайте что-нибудь... Вы вѣдь были влюблены въ эту пухлявку Наденьку. Не отпирайтесь, пожалуйста, я все знаю... Разсказывайте. Я люблю, когда разсказываютъ про любовь... Вѣдь вы были влюблены? да?

— Да, но только не въ Наденьку.

— А въ кого? Хотите, я сама съѣзжу къ ней съ письмомъ?.. Она, навѣрно, не знаетъ, что вы больны. О, какъ это хорошо—любить!.. Особенно когда весна, цвѣты, ссловей... Вы любите луну? Когда я смотрю на луну, мнѣ почему-то хочется плакать.

Эти разговоры вызвали во мнѣ желаніе подѣлиться своей тайной. Все равно умру, и никто не узнаетъ. Аграфена Петровна выслушала мою исповѣдь съ широко раскрытыми глазами и въ тактъ разсказа качала головой.

— И только?—удивилась она, когда я кончилъ.

— Что же вамъ еще нужно?

— Какъ что? Даже ни разу не поцѣловать хорошенькой дѣвушки? Да вы, просто, мямля и тюфякъ... Васъ никогда женщины не будутъ любить. Не можетъ же дѣвушка первая броситься на шею къ мужчинѣ... Первый шагъ долженъ сдѣлать онъ.

— Я не хотѣлъ повторять исторію съ Любочкой...

— Что же, она сама виновата, если позволила себѣ слишкомъ много. Есть извѣстная граница... да. Не забывайте, что жизнь такъ и пройдетъ, межъ пальцевъ, а спохватитесь—уже поздно. Я вашему Пепку презираю, но онъ не теряетъ напрасно времени. Онъ—настоящій мужчина.

— Извините меня, но я васъ не понимаю...

— А вы—мямля... Что же будетъ, если молодые люди не будутъ цѣловать дѣвушекъ?.. Все книжки да книжки, а когда же жить... Хотите, я съѣзжу къ этой Александрѣ Васильевнѣ и привезу ее сюда? Адресъ узнаю въ адресномъ столѣ или у Наденьки.

— Нѣтъ, нѣтъ...

— Ну, это другое дѣло: значитъ, вы ея не любили по-настоящему. Если она любитъ, то пріѣдетъ... Пѣшкомъ придетъ и меня еще благодарить будетъ.

Мое здоровье ухудшалось съ каждымъ днемъ. Особенно донималъ холодный потъ. Сидишь—и вдругъ всего точно обольетъ холодной водой, а потомъ сейчасъ же наступало страшное безсиліе. Я чувствовалъ, какъ жизнь выходила всѣми порами, и уничтоженіе близилось. Особенно тяжелы были безсонныя ночи... Чего-чего не передумаешь въ такую ночь! Обидно было то, что наступала весна, всѣ готовились къ ней, въ газетахъ появи-

лись объявленія о дачахъ... А тамъ, на югѣ, уже совсѣмъ хорошо. Скоро тронутся рѣки, высыплетъ первая зеленая травка, весело запестрѣютъ первые цвѣты. Мысль о домѣ все чаще и чаще посѣщала меня, подрывая нежеланіе огорчать родную семью своей смертью на глазахъ у нихъ. Кажется, я рѣшился бы уѣхать на югъ, если бы не Аграфена Петровна.

Она явилась разъ съ извѣстіемъ, что наняла дачу.

— Будемъ вмѣстѣ жить,—рѣшила она за меня. — Я буду ухаживать за вами... У васъ будетъ своя комната; я сама готовлю обѣдъ и откормлю васъ. Все зависитъ отъ ѣды, а лѣкарства—пустяки...

— А гдѣ вы наняли дачу?

— Въ Третьемъ Парголовѣ...Тамъ отлично. Одинъ Шуваловскій паркъ чего стоитъ... Кстати, у васъ тамъ есть свои пріятныя воспоминанія. Однимъ словомъ, все отлично...

Мнѣ оставалось только благодарить за вниманіе. Оставалась надежда на чистый воздухъ начинавшейся финляндской возвышенности. Да, тамъ хорошо...

Я плохо помню, какъ время дотянулось до конца апрѣля. Взглянувъ на себя въ зеркало, я даже испугался: это былъ какой-то живой скелетъ.

Мой другъ Пепко совершенно забылъ обо мнѣ, предоставивъ меня своей участи. Это было жестоко, но молодость склонна думать только о самой себѣ,—вѣдь міръ существуетъ только для нея и принадлежитъ ей. Мы почти не говорили. Пепко изрѣдка справлялся о моемъ здоровьи и издавалъ неопредѣленный носовой звукъ, выражавшій его неудовольствіе.

— Да... гм...

Онъ почти все время проводилъ въ комнатѣ у Анны Петровны и былъ счастливъ.

Наканунѣ отъѣзда Аграфена Петровна пришла собрать мои вещи и уложила все въ чемоданъ. Вещей было такъ немного, а мѣсто еще оставалось. Она такъ посмотрѣла кругомъ, что мнѣ показалось, что она и меня съ удовольствіемъ тоже уложила бы въ чемоданъ. Я невольно засмѣялся.

— Вы это чему смѣетесь, мямля?

Она присѣла ко мнѣ на кушетку, пощупала мой лобъ, покачала головой, а потомъ быстро наклонилась и поцѣловала прямо въ губы съ энергіей, излишней для больныхъ. Черезъ ея плечо я видѣлъ, какъ въ дверяхъ показалась фигура Пепки и благочестиво скрылась.

XXXII.

Передъ самымъ отъѣздомъ на дачу ко мнѣ завернула Любочка. Она имѣла самый несчастный видъ: исхудала, пожелтѣла и не обращала даже вниманія на свой костюмъ,—послѣдняя степень женскаго отчаянія. Она даже не знала, зачѣмъ пришла, что ей нужно было сказать и что дѣлать. Это была тѣнь живого человѣка. У меня сжалось сердце при видѣ убитой дѣвушки. Всѣ что-то дѣлали, куда-то стремились, чего-то желали и на что-то надѣялись; одна она была выкинута изъ этого живого круга, обреченная на спеціально женскую муку мученическую. Зашла въ мою комнату, оглядѣлась кругомъ съ какимъ-то дѣтскимъ удивленіемъ и присѣла на стулъ, позабывъ даже поздороваться съ хозяиномъ.

— Какъ поживаете, Любочка?

— Я? Не стоитъ говорить...

Она даже улыбнулась какой-то больной улыбкой. Я не зналъ, что говорить и что дѣлать съ ней. Ея безмолв-

ное присутствіе начинало меня тяготить. Есть извѣстная граница, до которой чужое горе насъ трогаетъ, а дальше этой границы оно начинаетъ раздражать, какъ плачъ или крикъ. Именно такъ и я посмотрѣлъ на Любочку. Что же, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нельзя же заставить человѣка полюбить насильно! Я не оправдывалъ Пепку, но, съ другой стороны, и Любочка разыгрывала трагедію не по нашему сѣренькому времени. Что такое любовь? Развѣ можетъ быть любовь безъ взаимности? Представленіе объ этомъ чувствѣ у меня, признаюсь, было довольно смутное, и я не могъ понять, какъ это люди теряютъ голову и всякое самообладаніе. Опять является вопросъ о границахъ... Потомъ мнѣ было какъ-то совѣстно за Анну Петровну, являвшуюся въ роли злой разлучницы. Какъ будто и не хорошо... Возникалъ неразрѣшимый вопросъ о женскомъ соперничествѣ, не предусмотрѣнный никакими кодексами и сводами законовъ. Для меня ясно было одно,—именно, что Анна Петровна, охваченная эгоизмомъ собственнаго чувства, устраняла Любочку безъ всякаго сожалѣнія, и поэтому я смотрѣлъ на настоящую живую Любочку, сидѣвшую передо мной, съ тѣмъ сожалѣніемъ, на какое она имѣла право разсчитывать.

— Вамъ что-нибудь нужно, Любочка?

— Мнѣ? Нѣтъ, ничего не нужно... Ахъ, нѣтъ, очень, очень нужно...

Любочка поднялась и кинулась мнѣ въ ноги.

— Уговорите Агаѳона Павлыча... Онъ васъ послушаетъ... — шептала она, заливаясь слезами. — Вы все знаете... Скажите ему...

— Любочка, встаньте...

— Не встану, если вы не пообѣщаете. Умру вотъ

здѣсь.. у васъ... Ну, что вамъ стоитъ? Вы мнѣ дайте честное слово, самое честное слово...

Несчастная ничего не понимала и ничего не желала понимать. Я ее насильно поднялъ, усадилъ и далъ воды. У меня отъ слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затѣмъ я, по логикѣ всякой слабости, возненавидѣлъ Любочку. Что она ко мнѣ-то пристаетъ, когда я самъ едва дышу? Довольно этой комедіи. Ничего знать не хочу. До свиданія... Любочка смотрѣла на меня широко раскрытыми глазами и только теперь замѣтила, какъ я хорошъ—краше въ гробъ кладутъ.

— Я больше не буду, Василій Иванычъ... какъ-то по-дѣтски покорно проговорила она, поднимаясь со стула.—Я уйду сейчасъ... Вы больны.

— Да, да, боленъ, чортъ возьми! Умираю, а вы ко мнѣ лѣзете съ вашими пустяками... Какое мнѣ дѣло до васъ? Зачѣмъ вы пришли ко мнѣ?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня начался пароксизмъ жестокой лихорадки. И опять этотъ потъ... Въ послѣднее время начали появляться признаки апатіи. Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоитъ ли жить вообще, когда столько гадостей кругомъ, и когда въ самомъ тебѣ эти же гадости таятся въ зачаточномъ состояніи, потому что не выпало еще подходящаго случая имъ реализироваться. И что такое смерть сама по себѣ? Во-первыхъ, абсолютный покой, во-вторыхъ—вопросъ моей личной хронологіи. Вѣдь все равно, умирать когда-нибудь придется, сколько ни живи, и только одна иллюзія—что мнѣ не нужно умирать и не нужно умирать именно сейчасъ, въ данный моментъ. Въ болѣзняхъ есть своя философія.

На дачу я готовился переѣзжать въ очень дурномъ

настроеніи. Мнѣ все казалось, что этого не слѣдовало дѣлать. Къ чему тревожить и себя и другихъ, когда все уже рѣшено. Мнѣ казалось, что ѣду не я, а только тѣнь того, что составляло мое *я*. Будетъ обидно видѣть столько здоровыхъ, цвѣтущихъ людей, которые ѣхали на дачу не умирать, а жить. У нихъ счастливые номера, а мой вышелъ въ погашеніе.

Мой добрый геній Аграфена Петровна сама уложила мои вещи, покачивая головой надъ ихъ скуднымъ репертуаромъ. Она, вообще, относилась ко мнѣ какъ къ ребенку, что подавало поводъ къ довольно забавнымъ сценамъ. Мнѣ даже нравилось подчиняться чужой волѣ, чтобы только самому ничего не рѣшать и ни о чемъ не думать. Это былъ эгоизмъ безнадежно больного человѣка. Ухаживая за мной, Аграфена Петровна постоянно повторяла:

— Андрей Иванычъ всегда такъ дѣлаетъ... Андрей Иванычъ это любитъ... Андрей Иванычъ терпѣть не можетъ, чтобы кто-нибудь подходилъ къ его письменному столу.

Однимъ словомъ, этотъ неизвѣстный мнѣ Андрей Иванычъ, казалось, наполнялъ всю вселенную и для Аграфены Петровны являлся чѣмъ-то въ родѣ той атмосферы, которая окружаетъ земной шаръ. Выражаясь фигурально, можно было подумать, что она дышала имъ. Я понималъ только одно, что дома этотъ всеобъемлющій и всенаполняющій Андрей Иванычъ являлся только дорогимъ гостемъ, а дѣлала всю «домашность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и все укладывала, и перевозила на дачу весь скарбъ, и тамъ все приводила въ новый порядокъ, и дѣлала все такъ, чтобы Андрею Иванычу было и удобно, и беззаботно, и хо-

рошо. Развѣ Андрей Иванычъ понимаетъ что-нибудь въ этихъ домашнихъ дрязгахъ? Онъ лампы не умѣетъ зажечь. Я почему-то впередъ возненавидѣлъ этого трутня, который потерялъ всякій обликъ мужчины, какъ главы дома. Да, мужчина долженъ строить свое гнѣздо, оберегать и защищать его, а не сваливать всю работу на женскія плечи. Меня возмущало это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понялъ, что въ медичкѣ Аннѣ Петровнѣ есть родственныя черты: она точно такъ же ухаживала за своимъ Пепкой и такъ же его баловала. Однимъ словомъ, обѣ сестры принадлежали къ типу тѣхъ женщинъ, которыя создаютъ культъ мужчины и всю жизнь служатъ кому-нибудь. Несчастная Любочка принадлежала къ этому же типу, хотя ей и выпалъ дурной номеръ...

Пепку я видѣлъ совсѣмъ мало. Между нами установились какія-то глупыя, натянутыя отношенія. Я чувствовалъ, что онъ меня ненавидитъ, и понималъ, что единственнымъ основаніемъ этой ненависти было только то, что я все-таки оставался живымъ свидѣтелемъ его исторіи съ Любочкой. Онъ видѣлъ во мнѣ какой-то упрекъ себѣ и помѣху своему счастью, и я увѣренъ, что былъ бы радъ моей смерти. О, Пепко былъ величайшій эгоистъ, который думалъ, что міръ скромно существуетъ только для него! Передъ моимъ отъѣздомъ онъ соблаговолилъ сказать мнѣ нѣсколько теплыхъ словъ:

— Всего лучшаго, collega... Надѣюсь, что ты не будешь терять даромъ своего маленькаго дачнаго времени. Аграфена Петровна такая добрая... Желаю успѣха.

Это былъ намекъ на тотъ поцѣлуй, свидѣтелемъ котораго невольно сдѣлался Пепко. Онъ по своей испор-

ченности самыя чистыя движенія женской души объяснялъ какой-нибудь гнустностью, и я жалѣлъ только объ одномъ, что былъ настолько слабъ, что не имѣлъ силы проломить Пепкину башку. Я могъ только краснѣть остатками крови и молча скрежеталъ зубами.

— А ты куда помѣщаешь свою особу на лѣто?—спросилъ я, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю еще хорошенько: въ Павловскъ или въ Ораніенбаумъ.

У Пепки были совершенно необъяснимыя движенія души, какъ въ данномъ случаѣ. Для чего онъ важничалъ и вралъ прямо въ глаза? Павловскъ и Ораніенбаумъ были также далеки отъ Пепки, какъ Голконда и тѣ бѣлые медвѣди, которые должны были превратиться въ ковры для Пепкиныхъ ногъ. По-моему, Пепко былъ просто маніакъ. Разъ онъ мнѣ совершенно серьезно сказалъ:

— Ты обратилъ вниманіе на мой профиль? Это профиль человѣка, который ѣздитъ на резинѣ, имѣетъ свои собственные дома, дачу въ Крыму, лакея, который докладываетъ каждый день о состояніи погоды,—однимъ словомъ, живетъ порядочнымъ человѣкомъ. По-моему все зависитъ отъ профиля... Возьми исторію Греціи и Рима—вся сила заключалась только въ профилѣ.

Забавнѣе всего было то, что профиль Пепки требовалъ серьезныхъ поправокъ и даже снисхожденія, но онъ серьезно гордился имъ и при разговорѣ часто поворачивалъ голову въ три четверти, какъ настоящій актеръ.

Аграфена Петровна уѣхала на дачу раньше, чтобы окончательно все тамъ приготовить. Я долженъ былъ тронуться съ мѣста только черезъ два дня. Помню, какъ

свѣжій весенній воздухъ пьянилъ меня, и какъ моя голова кружилась въ смертельной истомѣ. Я едва доѣхалъ до финляндскаго вокзала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суета раздражала меня. Куда они всѣ торопятся, о чемъ хлопочутъ, чему радуются, когда нужно только одно—чтобы не кружилась голова и не ныла зловѣще грудь? Мнѣ казалось, что вокзалъ—это моя собственная голова, и что въ этой собственной головѣ торопятся, бѣгутъ и кружатся всѣ эти пассажиры. Я чувствовалъ, какъ все куда-то плыветъ, сливаясь въ одну мутную полосу. Изъ этого забытья меня выводилъ какой-то неугомонный пассажиръ, жужжавшій около меня, какъ осенняя муха. Это былъ мужчина въ критическомъ возрастѣ, въ котелкѣ и золотомъ пенснэ. Сначала онъ потерялъ свои вещи, потомъ свою даму въ синей вуали, потомъ еще что-то—вообще, онъ ужасно суетился, представляя своей особой типичный образчикъ дачнаго мужа. Дама въ синей вуали видимо капризничала и говорила несчастному очень обидныя и ядовитыя вещи, потому что онъ дѣлалъ умоляющее лицо и начиналъ виновато улыбаться, какъ только-что наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрѣшенія, онъ пускался на отчаянное средство: навѣшивалъ на себя всѣ картонки, узелки, пакеты и свертки, бралъ въ руки саквояжи, подъ мышки два дамскихъ зонтика и превращался въ одного изъ тѣхъ фокусниковъ, которые вытаскиваютъ всѣ эти веши изъ собственнаго носа и съ торжествомъ удаляются со сцены, нагруженные какъ верблюды. Этотъ маневръ бѣднягѣ удавался, и дама въ синей вуали кисло улыбалась. Мнѣ эта нѣмая сцена семейнаго дачнаго счастья порядочно надоѣла, и я хотѣлъ перемѣнить мѣсто, чтобы избавиться отъ дачнаго

мужа, начинавшаго уже поглядывать на меня съ заискивающей улыбкой человѣка, который вотъ-вотъ любезно заговоритъ съ вами о погодѣ. Но мой маневръ не удался. Я только-что поднялся, какъ дачный мужъ остановилъ меня.

— Извините, пожалуйста...—бормоталъ онъ.—Если я не ошибаюсь, вы Василій Иванычъ Поповъ?

— Къ вашимъ услугамъ...

— Представьте себѣ, я узналъ васъ по описанію жены... Вѣдь вы ѣдете въ Третье Парголово? Ваши вещи отправлены раньше? Видите, какъ я все знаю...

Мнѣ оставалось только удивляться догадливости дачнаго мужа, который взялъ меня подъ локоть, таинственно отвелъ меня въ сторону и проговорилъ шопотомъ:

— Имѣю честь представиться: Андрей Иванычъ... Слышали?.. Хе-хе... До нѣкоторой степени вашъ хозяинъ, т. е. я-то тутъ не при чемъ, а все Агриппина... да. Такъ вотъ видите ли... гмъ... да... Я провожаю въ Шувалово одну даму... да... моя дальняя родственница.. да... Такъ вы того... Въ случаѣ, зайдетъ разговоръ, ради Бога не проболтайтесь Агриппинѣ... Она такая нервная... Однимъ словомъ, вы понимаете мое положеніе.

— О, совершенно понимаю...

Дачный мужъ схватилъ меня за руку и крѣпко пожалъ ее, точно давалъ взятку.

— Мнѣ сорокъ лѣтъ, и въ эти года показаться смѣшнымъ—смерть...—бормоталъ онъ, заискивающе улыбаясь.—Вы меня понимаете, однимъ словомъ...

Дама въ синей вуали сдѣлала демонстративное движеніе, и Андрей Иванычъ бросился къ ней съ такой

поспѣшностью, какъ бѣгутъ вытаскивать изъ воды утопающаго.

Для начала встрѣча вышла недурная. Знаменитый Андрей Иванычъ, не умѣвшій зажечь лампы, проявлялъ настоящій талантъ вьючнаго животнаго. Эта чета повторяла съ небольшими варіаціями моихъ первыхъ квартирныхъ хозяевъ.

XXXIII.

Я опять въ Третьемъ Парголовѣ. У насъ исправляетъ обязанность дачи простая деревенская изба, окленная внутри дешевенькими дачными обоями... Мое помѣщеніе вверху, на чердакѣ,—лѣтняя комната,—ужасно напоминаетъ большой гробъ, потому что потолокъ сдѣланъ именно гробовой крышкой. Ничего, скверно, особенно въ холодные дни. Вся жизнь семьи Андрея Иваныча выяснилась до мельчайшихъ подробностей въ нѣсколько дней, какъ жизнь большинства петербургскихъ чиновничьихъ семей. Дома Андрей Иванычъ изображалъ изъ себя божка-мужчину и пользовался всѣми привилегіями своего божественнаго состоянія. Доходило до того, что «Агриппина» знала всѣ его похожденія и снисходила. Это униженіе меня возмущало.

— Да вѣдь онъ мужчина?—удивлялась въ свою очередь Агриппина.—У него каждый годъ новая привязанность... Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что онъ никуда отъ меня не уйдетъ...

— Дѣйствительно, счастье большое,—иронически соглашался я.

— А какъ бы вы думали? О, вы совсѣмъ не знаете жизни... Потомъ, онъ ни одной ночи не провелъ внѣ

дома. Гдѣ бы ни былъ, а домой всетаки вернется... Это много значитъ. Теперь онъ ухаживаетъ за этой старой дѣвой... Не дѣлаетъ чести его вкусу — и только.

Самъ Андрей Иванычъ въ шутливомъ тонѣ очень любилъ поговорить о своей новой привязанности и даже требовалъ вниманія Агриппины къ ней. Въ одно прекрасное утро незнакомка въ синей вуали сидѣла у насъ на балконѣ и кисло улыбалась. Я только теперь хорошенько разсмотрѣлъ ее. Блондинка, съ грязноватымъ цвѣтомъ волосъ, лицо маленькое, покрытое веснушками, дѣтская картавость и претензіи на манеры женщины «изъ общества». Звали ее Анжеликой Карловной. Меня лично она возмущала, какъ живое воплощеніе всевозможной кислоты. Очевидно, желаніе познакомиться съ Агриппиной было ея капризомъ, и Андрей Иванычъ крутился какъ береста на огнѣ. Терпимость Аграфены Петровны меня тоже возмущала.

— О, у Агриппины своя политика!—объяснилъ мнѣ конфиденціально Андрей Иванычъ.—Ей нравится, что я нравлюсь женщинамъ... А это главное. Хе-хе... Анжелика въ меня влюблена, какъ кошка.

Это было повтореніемъ маніи Пепки, что всѣ женщины влюблены въ него. Но за Пепкой была молодость и острый умъ, а тутъ ровно ничего. Мнѣ лично было жаль дочери Андрея Иваныча, семилѣтней Любочки, которая должна быть свидѣтельницей мамашина терпѣнія и папашиныхъ успѣховъ. Дѣтскіе глаза смотрѣли такъ чисто и такъ довѣрчиво, и мнѣ вчужѣ дѣлалось совѣстно за безсовѣстнаго петербургскаго чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было

настоящее чудо, которому я былъ обязанъ только начинавшемуся финляндскому предгорію. Цѣлые дни я проводилъ въ Шуваловскомъ паркѣ, гдѣ дышалъ озонированнымъ воздухомъ финляндскаго лѣса. Можетъ-быть, молодость брала свое, но я свое исцѣленіе приписываю только парку. Да, я пріѣхалъ сюда умирающимъ, а черезъ двѣ недѣли почувствовалъ уже облегченіе и первый приливъ силъ: пораженная верхушка легкаго начала рубцоваться. Я не вѣрилъ, что спокойно начинаю спать, что у меня явился аппетитъ, что весь міръ точно измѣнился сразу, а главное—на душѣ было такъ хорошо и радостно. Нужно имѣть свою привычку даже къ здоровью, какъ я убѣдился по личному опыту. Просыпаясь утромъ, я задавалъ себѣ цѣлый экзаменъ и упорно подыскивалъ какіе-нибудь признаки болѣзни. Но ихъ не было, кромѣ слабости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, какъ мать, и торжествовала. Я чувствовалъ постоянно на себѣ ея пристальный взглядъ, и это вниманіе доставляло мнѣ удовольствіе. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться и производила мнѣ свой собственный экзаменъ: на первомъ планѣ аппетитъ, потомъ сонъ, потомъ настроеніе духа.

— Всѣ болѣзни бываютъ отъ огорченій,—увѣряла она совершенно серьезно.—Ужъ это вѣрно... Какъ у человѣка непріятность, такъ онъ и заболѣваетъ. Я это знаю по себѣ...

Утромъ, напившись парного молока, я уходилъ въ Шуваловскій паркъ и гулялъ здѣсь часа три, вспоминая прошлое лѣто и отдаваясь тѣмъ юношескимъ мечтамъ, которыя несутся въ головѣ, какъ весеннія облачка. И жутко, и хорошо, и какая-то смутная тоска охватываетъ... Я вспоминалъ Александру Васильевну,—гдѣ-то

она теперь, бѣдная?—мнѣ именно казалось, что она бѣдная, и что я почему-то долженъ ее жалѣть. Потомъ мнѣ хотѣлось ее отъ чего-то защищать, утѣшить, приласкать—просто унести въ какой-то невѣдомый край, гдѣ и свѣтло, и хорошо, и цвѣтутъ сказочные цвѣты, и поютъ удивительныя птицы, и поэтически журчатъ фонтаны, и гуляетъ «дѣвушка въ бѣломъ платьѣ», такая чудная и свѣжая, какъ только-что распустившійся цвѣтокъ. Нѣтъ, хорошо жить! Мысль о смерти, какъ грозовая туча, унеслась далеко-далеко. Да, мы будемъ жить, дѣвушка въ бѣломъ платьѣ, и вы живите, и всѣ пусть живутъ, и пусть всѣ любятъ другъ друга. Не нужно слезъ, горя, нужды, неправды... Это радостное и восторженное настроеніе нарушалось только воспоминаніемъ о бѣдномъ Порфирѣ Порфирычѣ,—я именно теперь почему-то часто думалъ о немъ и тоже жалѣлъ бѣднаго старика, какъ Александру Васильевну. Вотъ онъ уже не увидитъ больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни зелени, ни цвѣтовъ... Мысль о смерти теперь придавала особенно интенсивную окраску всему живому. Какъ коротка жизнь, какъ мало у каждаго осталось впереди дней, и какъ нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даромъ. Я мечталъ съ открытыми глазами, подавленный этой жаждой жизни. Повторялись прошлогоднія муки творчества, и мнѣ иногда казалось, что я начинаю сходить съ ума. Меня окружала уже цѣлая толпа моихъ будущихъ героевъ и героинь, которымъ я дамъ жизнь. Я ихъ уже чувствовалъ и почти видѣлъ, т. е. видѣлъ опять самого себя въ разныхъ положеніяхъ. Я любилъ всѣхъ этихъ женщинъ, я имъ всѣмъ говорилъ такія хорошія слова, я объяснялъ имъ самихъ себя, и онѣ отвѣчали мнѣ такими благодарными улыбками, влюбленными взглядами,—да, онѣ будутъ лю-

бить меня, ловить каждое мое слово и будутъ счастливы.

Переложить этотъ бредъ на бумагу, конечно, не было никакой физической возможности, и я ограничивался тѣмъ, что заносилъ отдѣльныя сцены, характеристики и описанія въ свою записную книжку. Можетъ-быть, все это было смѣшно, но мнѣ доставляло громадное наслажденіе быть такимъ смѣшнымъ мечтателемъ. Я идеализировалъ встрѣчавшихся въ паркѣ дачниковъ и въ нихъ продолжалъ свои мечты. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нѣтъ, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердецъ—вотъ гдѣ настоящая жизнь и настоящее счастье! Въ порывѣ такого отождествленія я разъ машинально забрелъ на чужую дачу и очень сконфузился, увидѣвъ реальныхъ людей.

Это возвышенное настроеніе совпадало съ твердымъ намѣреніемъ начать новую жизнь. Да, все старое кончено и никогда больше не повторится. Прощай, милая академія, прощай, о! ты, коварный другъ Пепко... Я съ ужасомъ припоминалъ послѣдніе два года, проведенные въ этомъ миломъ обществѣ. Взять хоть прошлое пьяное лѣто съ кутежами въ «Розѣ» и разными дурацкими похожденіями до пьянаго безобразія включительно. Кончено, все кончено... Будемъ жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошелъ мимо своей прошлогодней избушки, не заглянулъ въ «Розу», не полюбопытствовалъ, какъ живетъ во Второмъ Парголовѣ «дѣвушка въ бѣломъ платьѣ».

Разъ я гулялъ въ паркѣ, занятый планомъ какой-то фантастической легенды,—мнѣ было уже тѣсно въ рамкахъ обыкновеннаго существованія обыкновенныхъ смертныхъ,—какъ меня окликнулъ знакомый голосъ. Я огля-

нулся и остолбенѣлъ: меня догонялъ Пепко. Онъ былъ въ лѣтнемъ порванномъ пальто и съ газетой въ рукахъ,—признакъ недурной.

— Вася, постой...

— Пепко, ты ли это? Вѣдь ты живешь въ Павловскѣ?

— Какъ ты легкомысленъ, мой другъ... Кто живетъ въ Павловскѣ? Разжирѣвшая буржуазія, гнусные аристократы, бюрократы, гвардейцы, а я—мыслящій пролетаріатъ. Представь себѣ, что я живу въ двухъ шагахъ отъ тебя—знаешь Заманиловку? Это по дорогѣ къ доброй феѣ... Я, братъ, нынче шабашъ: ни-ни. Запрещено все.

Пепко тревожно посмотрѣлъ въ сосѣднюю аллею, гдѣ на скамейкѣ виднѣлась женская фигура, и сбавилъ шагу.

— Я тоже шабашъ,—признался я.

— Ты-то съ какой стати? — укоризненно замѣтилъ Пепко и сдѣлалъ неодобрительное движеніе головой. — Впрочемъ, всякій дуракъ по-своему съ ума сходитъ.

Потомъ онъ остановился, трагическимъ жестомъ указалъ на скамью съ женской фигурой и трагически проговорилъ:

— Видишь — скамья? Кажется, просто... На скамьѣ сидитъ дама—кажется, еще проще? Да... А между тѣмъ, это не скамья и не дама, а мое несчастіе, моя погибель, моя могила. Да, да, да... Она, т. е. дама, а не скамья, довела меня до того, что я разорвалъ самыя священныя узы дружбы, я готовъ былъ отречься даже отъ своей одной доброй матери... Она стоитъ надъ моей душой и сторожитъ каждую мысль,—однимъ словомъ, это самое ужасное изъ всѣхъ рабствъ... Вотъ сейчасъ я разговариваю съ тобой, а самъ трепещу... А чего боюсь? Боюсь, голубчикъ, этихъ слезъ, этихъ нѣмыхъ упрековъ,

этого вѣчнаго домашняго сыска... Я больше не принадлежу себѣ, какъ не принадлежитъ самой себѣ какая-нибудь вещь домашняго обихода. Боже мой, какъ я завидую тебѣ, т. е. твоей свободѣ! Я когда увидѣлъ тебя, первой мыслью было броситься, догнать и сказать: «милый, родной, бѣги отъ женщины»... О, я знаю, что такое женщина! И знаешь, что въ женщинахъ самое ужасное: онѣ всѣ напоминаютъ другъ друга какъ дождевыя капли. Образованная Анна Петровна дѣлаетъ то же самое, что дѣлала глупенькая Любочка... Она меня ревнуетъ даже къ неодушевленнымъ предметамъ, къ моимъ тайнымъ мыслямъ. А самое скверное то, мой другъ, что Анна Петровна—умная, развитая, хорошая женщина... О, отъ этой, братъ, никуда не уйдешь! Она, братъ, все видитъ... Она создастъ изъ жизни такую пытку, что позавидовалъ бы самъ святой отецъ Игнатій Лойола. Знаешь, иногда я мечтаю,—потихоньку отъ нея мечтаю,—отчего я не женился на Ѳедосьѣ? Чтобы она, Ѳедосья, была старая и рябая, и чтобы у нея былъ любовникъ, скверный солдатъ, и чтобы этотъ скверный солдатъ меня билъ...

— Пепко, ты по своей привычкѣ преувеличиваешь... Вѣроятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная ссоришка.

Пепко захохоталъ, а потомъ спохватился, закрылъ ротъ рукой и даже спрятался за меня. Потомъ онъ взялъ меня за руку и повелъ назадъ.

— Пусть *она* тамъ злится, а я хочу быть свободнымъ хоть на одинъ мигъ... Да, всего на одинъ мигъ. Кажется, самое скромное желаніе? Ты думаешь, она насъ не видитъ?.. О, все видитъ! Потомъ будетъ проникать мнѣ въ душу — понимаешь, прямо въ душу. Ну, все равно... Сядемъ вотъ здѣсь. Я хочу себя чувствовать тѣмъ Пепкой, какимъ ты меня зналъ тогда...

Мы сѣли. Пепко развернулъ свою газету, поискалъ что-то глазами и расхохотался, какъ это съ нимъ случалось,—расхохотался безъ всякой видимой причины.

-- На̀, чѝтай... — ткнулъ онъ мнѣ газету, отмѣчая ногтемъ столбецъ.

Газета трактовала о герцеговинскомъ возстаніи и что-то такое о Сербіи. Я за время своей болѣзни отсталъ отъ печатной бумаги и никакъ не могъ понять, что могло интересовать Пепку.

— Ты не понимаешь?—удивлялся Пепко.

— Ровно ничего не понимаю...

— А независимость Сербіи? Звѣрства турокъ? Первые добровольцы? И теперь не понимаешь? Ха-ха!.. Такъ я тебѣ скажу: это мое спасеніе, мой послѣдній ходъ... Ты видишь, вонъ тамъ сидитъ на скамейкѣ дама и злится, а человѣкъ, на котораго она злится, возьметъ да и уйдетъ добровольцемъ освобождать братьевъ-славянъ отъ турецкаго звѣрства. Вѣдь это, голубчикъ, цѣлая идеища... Я даже во снѣ вижу этихъ турокъ. Во мнѣ просыпается наша славянская стихійная тяга на Востокъ...

— Ну, это будетъ не совсѣмъ на Востокъ.

— Э, не все ли равно!..

— Анна Петровна знаетъ твои намѣренія?

— Въ томъ-то и дѣло, что ничего не знаетъ... ха-ха!.. Хочу умереть за братьевъ и хоть этимъ искупить свои прегрѣшенія. Да... Серьезно тебѣ говорю... У меня это клиномъ засѣло въ башку. Ты только представь себѣ картину: порабощенная страна съ одной стороны, а съ другой — нашъ историческій врагъ... Сколько тамъ пролито русской крови, сколько положено головъ, а идея все-таки не достигнута. Умереть со знаменемъ въ рукахъ,

умереть за святое дѣло—да развѣ можетъ быть счастье выше?

— Однако, Анна Петровна...

— Вотъ, вотъ... Что мнѣ можетъ сказать Анна Петровна, когда я въ одно прекрасное утро объявлюсь предъ ней добровольцемъ? Вѣдь умныя-то книжки всѣ за меня, а тутъ я еще поѣду корреспондентомъ отъ «Нашей газеты». Ха-ха... Ради Бога, все это между нами. Величайшій секретъ... Я хотѣлъ сказать тебѣ... хотѣлъ..

Пепко какъ-то сразу сорвался съ мѣста и, не простившись со мной, бросился догонять уходившую Анну Петровну. Пепко былъ неисправимъ...

XXXIV.

Славянскій патріотизмъ Пепки мнѣ показался для перваго раза просто мальчишеской выходкой, одной изъ тѣхъ смѣшныхъ штукъ, какія онъ любилъ выдѣлывать время отъ времени. Но вышло гораздо серьезнѣе. Онъ дня черезъ два послѣ нашей встрѣчи зашелъ ко мнѣ и потащилъ въ «Розу».

— Зачѣмъ итти въ трактиръ? — слабо протестовалъ я.—Напились бы чаю у меня и потолковали...

— Нѣтъ, не могу, Вася. Мнѣ нуженъ этотъ трактирный воздухъ... И чтобы трактиръ былъ такой, съ грязцой: салфетки коробомъ, заржавленныя, у лакеевъ фраки въ пятнахъ, посуда разномастная, у буфетчика красный носъ,—однимъ словомъ, полное великолѣпіе. Да... Я вѣдь кромѣ чая ни-ни.

Послѣднему я позволилъ себѣ не повѣрить.

— Стаканъ чаю,—приказалъ Пепко грязному лакею и посмотрѣлъ на него такимъ вызывающимъ взглядомъ, точно спросилъ яду.

Мнѣ докторъ совѣтовалъ для возстановленія силъ пить пиво, и стоицизмъ Пепки подвергался серьезному искусу. Но онъ выдержалъ свое «отчаяніе» съ полной бодростью духа, потому что страдалъ жаждой высказаться и подѣлиться своимъ настроеніемъ. На него нападала временемъ неудержимая общительность. Прихлебывая чай, Пепко началъ говорить съ торопливостью человѣка, за которымъ кто-то гонится и вотъ-вотъ сейчасъ схватитъ.

— Видишь ли, Вася... я много думалъ... Ночи даже не сплю. Въ самомъ дѣлѣ, если разобрать: какая наша жизнь? Одно сплошное свинство... Мы даже любить не умѣемъ, а только тянемъ одинъ изъ другого жилы. Да... Мнѣ просто опротивѣло жить, ѣсть, дышать, смотрѣть. Понимаешь: не хочу. Для чего я сейчасъ хлебаю вотъ это пойло? Неизвѣстно, а пойло негодное и ненужное. И все такъ... Мы всю жизнь именно дѣлаемъ то, что намъ не нужно. Я дошелъ до того, что эту ложь вижу даже въ неодушевленныхъ предметахъ: вотъ возьми хоть этотъ трактирный садишко—вѣдь деревья только притворяются деревьями, а въ сущности это зеленые лакеи, которые должны прикрывать своей тѣнью пьяницъ, влюбленныя парочки и всякую остальную трактирную гадость. Понимаешь, я не вѣрю вотъ этимъ зеленымъ листьямъ—они тоже лгутъ, потому что въ сущности не листья, а чортъ знаетъ что. Развѣ услужающій, буфетчикъ, таперъ—люди? Мнѣ кажется, что и стулья притворяются стульями, столы столами, салфетки салфетками, и что больше всѣхъ притворяюсь я, сидящій на этихъ стульяхъ и утирающій свою морду этими салфетками. Ты меня понимаешь?

— Порывъ раскаянія въ національномъ стилѣ. Остается только выйти куда-нибудь на Красную площадь, под-

няться на высокое мѣсто лобное и оттуда раскланяться на всѣ четыре стороны: «Прости, народъ православный».

— Да, да, именно. Такъ дѣлалъ Иванъ Грозный, Стенька Разинъ, Емелька Пугачовъ... Это наше. Ни Марія Антуанета, ни Луишка Сезъ такъ не дѣлали, когда ихъ привели къ гильотинѣ. Да, это наше... И за этимъ, знаешь, что стоитъ: мучительнѣйшая жажда подвига, искупленія. Вѣдь въ каждомъ русскомъ человѣкѣ сидитъ именно такой подвижникъ. Я нынче читаю житія русскихъ угодниковъ и вижу, что они въ себѣ воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижническую черту. Это стихійная сила, съ которой даже невозможно считаться. Они, подвижники, тоже ушли отъ окружавшаго ихъ свинства и мучительнымъ подвигомъ достигли желаемаго просвѣтлѣнія, т. е. настоящаго, того, для чего только и стоитъ жить. И мнѣ надоѣло жить, и я тоже мучительно ищу подвига, искупленія...

— Однимъ словомъ, желаешь быть добровольцемъ?

— Да, да... Ты представь себѣ, что и другіе тоже мучатся, какъ я, и тоже ищутъ подвига. Мы не знаемъ другъ друга, но уже впередъ дѣлаемся братьями по душѣ.

— Извини, я сдѣлаю одно замѣчаніе: большую роль въ данномъ случаѣ играетъ декоративная сторона. Каждый впередъ воображаетъ себя уже героемъ, который жертвуетъ собой за любовь къ ближнему — эта мысль красиво окутывается пороховымъ дымомъ, освѣщается блескомъ выстрѣловъ, а ухо слышитъ мольбы угнетенныхъ братьевъ, стоны раненыхъ, рыданія женщинъ и дѣтей. Ты, вѣроятно, встрѣчалъ охотниковъ бѣгать на пожары? Тоже декоративная слабость...

— Ну, ужъ извини, пожалуйста. Тоже русская черта: по всякому поводу предаваться дешевенькому скепти-

цизму. Ничего ты не понимаешь, Вася, и мнѣ просто жаль, этакъ просто, по-хорошему жаль... Да, я могу ошибиться, я преувеличиваю, идеализирую,—все, что хочешь, но все-таки я переживаю извѣстный подъемъ духа и дѣлаюсь лучше.

Въ доказательство Пепко досталъ изъ кармана цѣлую пачку вырѣзокъ изъ газетъ, въ которыхъ описывались всевозможныя турецкія звѣрства надъ беззащитными. По свойственному Пепкѣ деспотизму онъ заставилъ меня выслушать весь этотъ матеріалъ, разсортированный съ величайшей аккуратностью: звѣрства надъ мужчинами, звѣрства надъ женщинами, звѣрства надъ дѣтьми и звѣрства вообще. Въ нужныхъ мѣстахъ Пепко дѣлалъ трагическія паузы и вызывающе смотрѣлъ на меня, точно я только-что приготовился къ совершенію какого-нибудь турецкаго звѣрства.

— Вася, пойдемъ вмѣстѣ,—закончилъ Пепко, бережно укладывая драгоцѣнные матеріалы.—Ей Богу... А то вѣдь исподличаешься, очерствѣешь, заржавѣешь.

— Ты забываешь, что я только-что началъ поправляться. Кстати, что Анна Петровна?

— Пока она ничего не знаетъ... Я ей который день читаю о звѣрствахъ. Знаешь, нужно подготовить постепенно. Только, кажется, она не изъ тѣхъ, которыя способны признавать чужія горести. Она эгоистка, какъ ты и какъ всѣ вы. Она во всякомъ случаѣ не понимаетъ моего настроенія, а настроеніе—все.

— Еще одинъ нескромный вопросъ: что Любочка? Она предъ отъѣздомъ на дачу приходила ко мнѣ...

— Она, конечно, разыскала меня въ Заманиловкѣ и устраиваетъ мнѣ скандалы. Придетъ къ дачѣ, сядетъ на лавочку и сидитъ цѣлый день... Знаешь, это хуже всего. Моя Анна Петровна пилитъ-пилитъ меня... А при чемъ

же я тутъ?.. Могу сказать, что женщины въ нравственномъ отношеніи слишкомъ специализируются. Да и какая это нравственность...

— И вдругъ ты уѣзжаешь добровольцемъ, избавляясь разомъ отъ двухъ бѣдъ: не будетъ сидѣть Любочка противъ дачи, и не будетъ пилить Анна Петровна... Это недурно.

— Къ сожалѣнію, ты правъ... Подводная часть мужской храбрости всегда заготовляется у себя дома. Эти милыя женщины кого угодно доведутъ до геройства, которому человѣчество потомъ удивляется, разиня ротъ. О, какъ я теперь ненавижу всѣхъ женщинъ!.. Представь себѣ, что у тебя жестоко болитъ зубъ,—вотъ что такое женщина, съ той разницей, что отъ зубной боли есть лѣкарство, больной зубъ, наконецъ, можно выдернуть.

Пепко началъ просто одолѣвать меня своимъ добровольскимъ настроеніемъ, и не проходило двухъ дней, чтобъ онъ не тащилъ меня въ «Розу» подѣлиться новыми звѣрствами. Дома Андрей Ивановичъ тоже читалъ женѣ о звѣрствахъ, такъ что я самъ готовъ былъ превратиться въ башибузука. Дѣло дошло до того, что Пепко и Андрей Ивановичъ соединились и принялись вмѣстѣ устраивать въ Шуваловѣ какіе-то герцоговинскіе вечера. Нужно замѣтить, что Аграфена Петровна относилась къ Пепкѣ какъ-то подозрительно и до сихъ поръ не могла примириться съ его ролью зятя. Для меня это было задачей. Въ послѣднее время Пепко началъ приходить къ намъ, но старался не попадать Аграфенѣ Петровнѣ на глаза.

— Ты ея боишься?—спросилъ я его однажды.

— Агриппины? О, да... Недостаетъ, чтобы еще она бросилась мнѣ на шею. Будетъ. Довольно... Я презираю всѣхъ женщинъ.

Относительно герцеговинскихъ вечеровъ Аграфена Петровна составила себѣ сейчасъ же свое собственное мнѣніе.

— Два дурака сошлись,—коротко объяснила она.— Еще мой-то Андрей Ивановичъ поумнѣе будетъ... Онъ хлопочетъ для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетершей или благотворительной продавщицей. А Пепко самъ не знаетъ, чего хочетъ. Удивляюсь я сестрѣ Анютѣ...

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще, это была странная женщина. Какъ-то ни съ того ни съ сего развеселится, потомъ же ни съ того ни сего по-бабьи пригорюнится. Къ Андрею Иванычу она относилась какъ къ младенцу и даже входила въ его любовныя горести, когда Андрей Иванычъ начиналъ, напримѣръ, ревновать Анжелику къ какому-то офицеру.

— Это она тебя подвинчиваетъ,—объясняла Аграфена Петровна.—Всѣ женщины такъ дѣлаютъ, когда начинаютъ сомнѣваться въ мужчинѣ... Значитъ, Анжелика дорожитъ тобой.

— Ты въ этомъ увѣрена, Агриппина?

— Спроси кого угодно... Даже Василій Иванычъ понимаетъ, а тебѣ-то стыдно не знать такихъ пустяковъ.

Относительно моей невинности Аграфена Петровна любила иногда прогуляться, и я чувствовалъ, что начинаю превращаться въ младенца номеръ второй. Въ манерѣ держать себя у нея было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и мнѣ это не нравилось. Еще больше мнѣ не нравилось любопытство Аграфены Петровны. По нѣкоторымъ намекамъ я догадался, что она читаетъ мои письма и мои рукописи. Это уже было слишкомъ, и я разъ откровенно ей замѣтилъ, что нехорошо простирать

свое любопытство такъ далеко. Она вся вспыхнула и отреклась отъ всего начисто, какъ отпираются иногда дѣти.

— За кого вы меня принимаете, Василій Иванычъ?— повторяла она, напрасно стараясь попасть въ тонъ несправедливо обиженнаго человѣка.—И, наконецъ, какое мнѣ дѣло...

— Я такъ, къ слову...

Въ концѣ концовъ я самъ увѣрился, что она права, и даже попросилъ извиненія. Этого было достаточно, чтобы Аграфена Петровна расхохоталась и заявила:

— Читала, все читала... Не могла никакъ удержаться. И даже плакала надъ одной главой... Женское любопытство одолѣло. А вы сами виноваты, зачѣмъ не прячете того, чего я не должна читать. Не могу... Пойду убирать комнату, такъ меня и потянетъ взглянуть хоть однимъ глазкомъ, что онъ такое пишетъ. Ахъ, если бы я умѣла писать...

— Сейчасъ бы Андрея Иваныча описали?

— Нѣтъ, другое...

У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она съ печальной улыбкой проговорила:

— Я написала бы, что думаетъ и чувствуетъ одинокая женщина... Вѣдь всѣ женины въ концѣ концовъ остаются одинокими. Вотъ вы этого-то, главнаго, и не понимаете, Василій Иванычъ...

Вмѣстѣ съ выздоровленіемъ у меня явилась неудержимая потребность къ творчеству. Я еще разъ перебралъ всѣ свои бумаги, еще разъ провѣрилъ написанное и еще разъ убѣдился, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пережитая болѣзнь открыла мнѣ глаза на многое, чего я раньше не понималъ и не замѣчалъ. Приходилось начинать съ новыхъ опытовъ

Это была увлекательная работа, тѣмъ болѣе, что я уже не думалъ ни о редакціяхъ, ни о публикѣ, ни о критикѣ,—не все ли равно, какъ тамъ или здѣсь отнесутся къ моей работѣ? Важно одно именно, чтобы она до извѣстной степени удовлетворяла самого автора и служила выраженіемъ его внутренняго человѣка. Въ этомъ все, а остальное пустяки. Журналы могутъ не печатать, публика не читать, критики разносить,—все это можетъ быть одной случайностью, а важно только одно, именно что у автора есть свое собственное содержаніе, свое *я*. Конечно, до извѣстной степени онъ явится подражателемъ кого-нибудь изъ своихъ любимыхъ авторовъ-предшественниковъ,—это неизбѣжно, какъ дѣтскія болѣзни,—но авторъ начинается только тамъ, гдѣ начинаетъ проявлять *свое* я, гдѣ внесетъ *свое* новое, маленькое новое, но все-таки свое. До сихъ поръ я дальше Ивана Иваныча и «Кошницы» не могъ пойти именно потому, что только безсознательно кому-то подражалъ, что писалъ о людяхъ по наслышкѣ, придумывалъ и высиживалъ жизнь.

Плодомъ этого новаго подъема моего творчества явилась небольшая повѣсть: «Межеумокъ», которую я потихоньку свезъ въ Петербургъ и передалъ въ знаменитую редакцію самаго вліятельнаго журнала. Домашняя увѣренность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился въ редакціонной пріемной. Мнѣ казалось, что здѣсь еще слышатся шаги тѣхъ знаменитостей, которые когда-то работали здѣсь, а нынѣшнія знаменитости проходятъ вотъ этой же дверью, садятся на эти стулья, дышатъ этимъ же воздухомъ. Меня еще никогда не охватывало такое сознаніе собственной ничтожности... Принималъ статьи высокій представительный старикъ съ удивительно добрыми глазами. Онъ былъ такъ

изысканно вѣжливъ, такъ предупредительно внимателенъ, что я ушелъ изъ знаменитой редакціи съ спокойнымъ сердцемъ.

Отвѣтъ по обычаю черезъ двѣ недѣли. Иду, имѣя въ виду встрѣтить того же любвеобильнаго старичка-европейца. Увы, его не оказалось въ редакціи, а его мѣсто заступилъ какой-то улыбающійся черненькій молодой человѣчекъ съ живыми темными глазами. Онъ юркнулъ въ сосѣднюю дверь, а на его мѣстѣ появился взъерошенный пожилой господинъ съ выпуклыми остановившимися глазами. Въ его рукахъ была моя рукопись. Онъ посмотрѣлъ на меня черезъ очки и хриплымъ голосомъ проговорилъ:

— Мы такихъ вещей не принимаемъ...

Я вылетѣлъ изъ редакціи бомбой, даже забылъ въ передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбленіе... И отъ кого? Я *его* узналъ по портретамъ. Это былъ громадный литературный человѣкъ, а въ его отвѣтѣ для меня заключалось еще восемь лѣтъ неудачъ.

XXXV.

Неудача «Межеумка» сильно меня обезкуражила, хотя я и готовился впередъ ко всевозможнымъ неудачамъ. Ужъ слишкомъ рѣзкій отказъ, а фраза знаменитаго человѣка нѣсколько дней стояла у меня въ ушахъ. Это почти смертный приговоръ. Вѣроятно, у меня былъ очень некрасивый видъ, потому что даже Пепко замѣтилъ и съ участіемъ спросилъ:

— Опять обзатылили?

— Да и еще какъ...

Я разсказалъ свою «дерзость» и результаты оной, до уничтожающей фразы включительно.

— Мы такихъ статей не принимаемъ? — повторилъ Пепко отвѣтъ знаменитаго человѣка, видимо ее смакуя.—Ну, а ты что же?

— Я? Кажется, я походилъ на собаку, которая хотѣла проникнуть въ кухню и вмѣсто кости получила палку... Вообще, подлое чувство. День полнаго отчаянія, день отчаянія половиннаго, день просто сомнѣнія въ самомъ себѣ и въ заключеніе такой выводъ: онъ правъ по-своему...

— Ахъ, ты мякишъ!

— Нѣтъ, не мякишъ... Я буду *тамъ* печататься и добьюсь своего. Эти неудачи меня только ободряютъ... Немного передохну—и опять за работу...

— Исторія перваго портного? Что же, не вредно... Могу только сочувствовать. Да... У насъ вонъ тоже неудача: кассирша сбѣжала. А мы съ Андреемъ Иванычемъ все-таки неунываемъ... да.

— Нашли занятіе...

— И прекрасное занятіе. Мы уже отправили триста рублей въ славянскій комитетъ. Лепта вдовицы по размѣрамъ, а все-таки лепта. Если бы каждый могъ внести столько.

Пепко, какъ извѣстно изъ предыдущаго, жилъ взрывами, переходя съ сумасшедшей быстротой отъ одного настроенія къ другому. Теперь онъ почему-то занялся мной и моими дѣлами. Этотъ приливъ дружеской нѣжности дошелъ до того, что разъ Пепко явился ко мнѣ въ часъ ночи, разбудилъ меня, усѣлся ко мнѣ на кровать и, тяжело дыша, заговорилъ:

— Знаешь, я все время думаю...

— Постой, который теперь часъ?

— Два... т. е. второй.

— Да ты съ ума сошелъ, Пепко... Что такое случилось?

— Мнѣ нужно серьезно поговорить съ тобой о «Межеумкѣ». Я прочиталъ рукопись и отправлюсь съ ней въ редакцію для нѣкоторыхъ объясненій. Видишь ли, *онъ* тебя оскорбилъ... Это нехорошо, очень нехорошо. *Онъ* слишкомъ большой человѣкъ, а ты сущая литературная ничтожность. Да... Значитъ, онъ долженъ быть вѣжливъ прежде всего. Это minimum... Допустимъ, что ты написалъ неудачную статью—это еще не бѣда и ни для кого не обидно. Даже опытный авторъ можетъ написать неудачную статью... Занятіе, во всякомъ случаѣ, скромное. Я приду къ *нему* и скажу: «Милостивый государь, я васъ очень люблю, уважаю и цѣню, и это мнѣ даетъ право притти къ вамъ и сказать, что мнѣ больно,—да, больно видѣть ваши отношенія къ начинающимъ авторамъ»... О, я ему все скажу! Я буду краснорѣчивъ... Вѣдь *онъ* нанесъ тебѣ оскорбленіе.

— Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. Съ какой стати ты полѣзешь объясняться?.. Оскорбителенъ былъ тонъ—да, но ты прими во вниманіе, сколько тысячъ рукописей ему приходится перечитывать; поневолѣ человѣкъ озлобится на нашего брата, неудачниковъ. На его мѣстѣ ты, вѣроятно, сталъ бы кусаться...

— Нѣтъ, нѣтъ, этого дѣла такъ нельзя оставлять. Я скажу *ему* нѣсколько теплыхъ словъ.

— Редакціи не обязаны мотивировать свои отказы и отвѣчать по существу дѣла: для этого не хватило бы времени. Если каждый отвергнутый авторъ полѣзетъ съ объясненіями, когда же *онъ* самъ будетъ писать?.. Нѣтъ, это дѣло нужно оставить.

Мнѣ стоило большого труда успокоить Пепку. Онъ кончилъ тѣмъ, что принялся ругать меня, колотилъ въ

стѣну кулаками и вообще проявилъ формальное бѣшенство.

— Вася, ты глупъ... о, какъ ты глупъ! Съ какимъ удовольствіемъ я сейчасъ вздулъ бы тебя...

— Ты сядь, Пепко... Странно, что твои добрыя намѣренія заканчиваются непремѣнно мордобитіемъ.

— Дерево деревянное! Ветчина.. олухъ!..

За этимъ пароксизмомъ послѣдовалъ быстрый упадокъ силъ. Пепко сѣлъ на полъ и умолкъ. Въ единственное окно моего гроба глядѣло уже лѣтнее утро. Какой-то нерѣшительный свѣтъ бродилъ по дешевенькимъ обоямъ, по расщелявшемуся деревянному полу, по гробовой крышкѣ—потолку, точно чего-то искалъ и не находилъ. Пепко сидѣлъ, презрительно моталъ головой и, взглядывая на меня, еще болѣе презрительно фыркалъ. Потомъ онъ досталъ изъ кармана нѣсколько написанныхъ листовъ и, бросивъ ихъ мнѣ въ физіономію, проворчалъ:

— Нà, чортъ тебя возьми...

— Что это такое?

— А вотъ читай... Цѣлую недѣлю корпѣлъ. Знаешь, я открылъ наконецъ секретъ сдѣлаться великимъ писателемъ. Да... И какъ видишь, это совсѣмъ не такъ трудно. Когда ты прочтешь, то сейчасъ же превратишься въ мудреца. Посмотримъ тогда, что *онъ* скажетъ... Ха-ха!.. Да, будемъ посмотрѣть...

Просматривая Пепкину работу, я нѣсколько разъ вопросительно смотрѣлъ на автора,—кажется, мой бѣдный другъ серьезно тронулся. Всѣхъ листовъ было шесть и у каждаго свое заглавіе: «Старосвѣтскіе помѣщики», «Ермолай и Валетка», «Максимъ Максимычъ» и т. д. Дальше слѣдовало что-то въ родѣ счета изъ ресторана: съ одной стороны шли рубрики, а съ другой цифры.

— Пепко, извини, это выше моего пониманія...

— Ага!.. Я взялъ у каждаго знаменитаго автора по разсказу и произвелъ самый точный химическій анализъ, вѣрнѣе—анатомическое вскрытіе. Вотъ неугодно ли: вступленіе—23 строки, вводная сцена—47 строкъ, описаніе лѣтняго утра—17 строкъ, выводъ главнаго дѣйствующаго лица—32 строки, завязка—15 строкъ, размышленія автора—59 строкъ, сцена дѣйствія—100 строкъ, описаніе природы, лирическое отступленіе, двѣ параллельныя сцены—у меня все высчитано, голубчикъ. И посмотри, что изъ этого выходитъ... Листъ шестой: сравнительный анализъ—у Гоголя столько-то строкъ занимаютъ описанія природы, столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то лирическія отступленія; у Лермонтова столько-то, у Тургенова столько-то, у Л. Толстого столько-то. Затѣмъ, сравнительный порядокъ, въ которомъ расположены эти отдѣльныя части у каждаго автора,—одинимъ словомъ, рѣшительно все. Еще ни одинъ бестія критикъ не додумался до подобнаго *точнаго* метода изслѣдованія, и въ этомъ весь секретъ упадка нашей критики, что уже не составляетъ ни для кого тайны.

— Пепко, да, вѣдь, здѣсь не достаетъ только масштаба... Ты авторовъ мѣряешь аршиномъ.

— А ты слушай: я анатомировалъ твоего «Межеумка» и убѣдился, что ты ближе всего подходишь къ Гоголю. Да... Вѣдь это цѣлое открытіе, и тебѣ только остается имъ воспользоваться. Прежде чѣмъ писать что-нибудь, сдѣлай сценарій: тутъ описаніе природы столько то строкъ. тутъ выходъ героини, тамъ любовная сцена,—однимъ словомъ, все, какъ на ладони. Знаешь, я хотѣлъ высчитать сколько каждый авторъ употребилъ именъ существительныхъ, прилагательныхъ, глаголовъ, нарѣчій, затѣмъ, сколько у него главныхъ предложеній и придаточныхъ, многоточій, знаковъ восклицанія и т. д. Не хва-

тило терпѣнія, да и сдѣлать это можетъ только какой-нибудь нѣмецъ. Нашелся такой подлецъ Карлъ Иванычъ, который высчиталъ, сколько разъ у Цицерона встрѣчается союзъ ut во всѣхъ его сочиненіяхъ.

Мнѣ показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я въ тотъ же день отправился къ нему на дачу. Это былъ мой первый визитъ. Анна Петровна, какъ всѣ молодыя жены, ревновала мужа больше всего къ его старымъ друзьямъ, служившимъ для нея олицетвореніемъ тѣхъ пороковъ, какими страдалъ мужъ; вѣдь самъ онъ, конечно, хорошій, милый, чудесный, если бы не проклятые друзья. Исторія извѣстная, и я до сихъ поръ старался не отягощать Анну Петровну своимъ присутствіемъ, да и роль олицетвореннаго порока мнѣ не нравилась. Къ моему счастью, Анны Петровны не оказалось дома, а Пепко шагалъ по дачному садику въ гимназическомъ ранцѣ. Оказалось, что ранецъ былъ набитъ камнями, и онъ впередъ пріучалъ себя къ трудностямъ предстоявшей боевой жизни.

— Я ужъ теперь могу сдѣлать пять тысячъ шаговъ безъ одышки,—обяснялъ онъ.—Впрочемъ, зависитъ отъ питанія... Вѣдь я уже цѣлый мѣсяцъ питаюсь солдатскимъ пайкомъ. Труднѣе всего перелѣзать въ рощѣ черезъ заборъ...

— Это еще что такое?

— А видишь ли, заборъ для меня замѣняетъ горы... Сначала я могъ перелѣзать всего сорокъ разъ, а сейчасъ уже достигъ до сотни. Вотъ не хочешь ли попробовать?

— Нѣтъ, благодарю. Я вѣдь не собираюсь поступать въ герои...

Пепко оглядѣлся, подмигнулъ мнѣ и шепотомъ сообщилъ:

— Я сдѣлалъ чудное открытіе, Вася... Ха-ха!.. Знаешь, я раньше очень страдалъ... ну, въ семейной жизни это случается. Серьезно страдалъ... да. А теперь, братъ, шалишь... Напримѣръ: Анюта меня оскорбитъ... понимаешь? Мнѣ обидно... Раньше я дня на два терялъ расположеніе духа, а теперь надѣну ранецъ—и въ паркъ. При легкихъ огорченіяхъ достаточно сдѣлать двѣ тысячи шаговъ, при серьезныхъ тысячи четыре—и все какъ рукой сниметъ. Дѣло въ томъ, что нужно создать физическій противовѣсъ внутренней душевной тяжести—и равновѣсіе возстановляется. Не правда ли, какъ это удобно? Анюта, напримѣръ, говоритъ: «ты—негодяй»,—это стоитъ двѣсти шаговъ; «ты испортилъ мнѣ всю жизнь»,—ну, это триста пятьдесятъ, даже всѣ четыреста; «ты—пьяница и умрешь подъ заборомъ»,—это всего пятьдесятъ шаговъ, а когда она начинаетъ плакать,—тутъ уже прямо тысяча. У меня есть таблицы, гдѣ я веду строгую отчетность и даже высчитываю тѣ ошибки, которыя у астрономовъ подводятся подъ личное уравненіе. У меня, братику, все по счету, ибо цифра составляетъ душу міра, какъ говорили еще пиѳагорейцы.

Пепко опять былъ милъ, какъ ребенокъ, и я чувствовалъ, что опять начинаю его любить. Въ немъ была эта проклятая черта русскаго характера, за которую можно простить человѣку все... Онъ меня заразилъ даже своимъ славянскимъ патріотизмомъ, особенно когда вспыхнуло сербское возстаніе. Гдѣ-то далеко-далеко рубили лѣсъ, и щепки долетали до насъ... На вокзалѣ я встрѣтилъ уже нѣсколько братушекъ въ расшитыхъ курткахъ, въ какихъ-то шапочкахъ и шароварахъ. Откуда они взялись? Въ газетахъ шелъ набатъ,—Фрей былъ правъ. Общество было охвачено движеніемъ. Всѣ радо-

вались чему-то. Чувствовался подъемъ и мысли, и чувства. Теперь, почти черезъ двадцать лѣтъ, трудно объ этомъ судить, но движеніе было и такое хорошее движеніе, заражавшее всѣхъ, отъ гимназиста до сѣдовласаго старца.

Мы разъ отправились съ Аграфеной Петровной въ Шувалово на вечеръ, устроенный Пепкой и Андреемъ Иванычемъ уже въ пользу сербовъ. Публики было много. На каждомъ шагу—возбужденныя лица. У буфета кто-то кричалъ: живіо!.. Хоръ любителей пѣлъ сербскія пѣсни, оркестръ игралъ сербскіе мотивы. Вообще, въ самомъ воздухѣ стояло что-то захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчасъ это движеніе осмѣяно и подвергнуто безпощадной критикѣ, а тогда было хорошо. Я даже начиналъ завидовать Пепкѣ, который даже въ мелочахъ проявлялъ такую кипучую дѣятельность. Одна Аграфена Петровна смотрѣла на оживленную публику грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мнѣ казалось, что она жалѣла, что не можетъ накормить всѣхъ этихъ угнетенныхъ герцеговинцевъ, сербовъ и болгаръ,—кормить кого-нибудь было ея слабостью. Она была слишкомъ женщина...

— Живіо!—кричалъ Пепко, подбѣгая къ намъ.

— Вотъ танцовать-то какъ будто нехорошо, Агаѳонъ Павлычъ,—оговорила его Аграфена Петровна.—Тамъ звѣрства, а вы танцуете...

Изъ Шувалова мы возвращались съ Аграфеной Петровной вдвоемъ;—дорога паркомъ въ лѣтнюю теплую ночь была чудная. Я находился подъ впечатлѣніемъ сербскаго вечера и еще разъ завидовалъ Пепкѣ. Мы шли пѣшкомъ и даже немного заблудились.

— Присядемте... Я устала.

Садовая скамейка была къ нашимъ услугамъ. Аграфена Петровна сѣла и долго молчала, выводя на пескѣ зонтикомъ какія-то фигуры. Чрезъ зеленую листву, точно опыленную серебристымъ луннымъ свѣтомъ, глядѣла на насъ бездонная синева ночного неба. Я замечтался и очнулся только отъ тихихъ всхлипываній моей дамы, —она плакала съ открытыми глазами, и крупныя слезы падали прямо на песокъ.

— Аграфена Петровна, что съ вами?

Заплаканные глаза смотрѣли на меня, а потомъ голова Аграфены Петровны очутилась на моемъ плечѣ.

— Милый, милый, какъ я... я счастлива.

Когда женщина первая дѣлаетъ признаніе въ любви, мужчина попадаетъ въ крайне неловкое положеніе. Я помню, что поцѣловалъ ее въ лобъ, что потомъ это горячее заплаканное лицо прижалось къ моему лицу, что... Прежніе романисты ставили на этомъ пунктѣ цѣлую страницу точекъ, а я ограничусь одной.

XXXVI.

Что можетъ быть хуже обмана, особенно обмана въ той интимной области, гдѣ все должно освѣщаться искреннимъ чувствомъ... И я шелъ по этой торной дорогѣ лжи и обмана, усыпленный первой женской лаской, первыми признаніями и поцѣлуями. Давно ли я обличалъ Пепку, а теперь дѣлалъ то же, нѣтъ—гораздо хуже. Не скрою, что мнѣ временами дѣлалось ужасно совѣстно, я начиналъ презирать себя, но ласковый женскій шопотъ тушилъ эти послѣдніе проблески. Развѣ вся исторія — не обманъ? И герой и нищій одинаковы, особенно когда дѣло касается собственности, которая сама идетъ къ своему вору съ ласками и поцѣлуями. И все-таки я прези-

ралъ себя, молча и сосредоточнно, какъ иногда презиралъ Аграфену Петровну, Андрея Иваныча, Пепку и весь родъ людской вообще, точно всѣ были виноваты моей собственной виной. Мнѣ было обидно, что такъ нелѣпо помѣстились мои первое восторги; вѣдь я даже не любилъ Аграфены Петровны, а отдавался простому физическому влеченію. Гдѣ же идеалы, гдѣ та свѣтлая и чистая, которая носилась въ туманѣ юношескихъ грезъ? Меня охватывало чувство позора и стыда.

— Вы, кажется, предаетесь угрызеніямъ совѣсти?— замѣтила однажды Аграфена Петровна съ улыбкой.— Успокойтесь, мой милый... Мы съ Андремъ Иванычемъ только играемъ въ мужа и жену, по старой памяти.

— Тѣмъ хуже... Я-то при чемъ тутъ?

Меня удивляло ея спокойствіе. Она рѣшительно ничѣмъ не выдавала себя и оставалась такой же, какой была раньше. Я былъ увѣренъ, что ее даже совѣсть не мучила. Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшнимъ днемъ, какъ это умѣютъ дѣлать женщины. Впрочемъ, долженъ сознаться, что трудно ее и винить: будь другой мужъ—и ничего бы не было. Къ самому себѣ я всегда былъ строгъ и называлъ вещи ихъ собственными именами, хотя гораздо удобнѣе ненавидѣть и прощать свои собственные пороки и недостатки, когда ихъ находишь въ другихъ людяхъ. До этого я еще не дошелъ. Да, я пилъ изъ отравленнаго источника и, какъ пьяница, хотѣлъ пить и пить безъ конца. Къ Андрею Иванычу у меня было смѣшанное чувство ненависти, презрѣнія и ревности; вѣдь никто такъ не ревнуетъ, какъ любовникъ. Меня, конечно, главнымъ образомъ волновали картины прошлаго счастья Андрея Иваныча. Въ душу закрадывалось то подлое чувство собственности, которое изъ мужчины дѣлаетъ самца.

Пепку я старался совсѣмъ не встрѣчать и даже избѣгалъ его. Впрочемъ, ему было не до меня. Событія разгорались. Уже весь Балканскій полуостровъ былъ охваченъ могучей мыслью о національной независимости.

— Представьте себѣ, этотъ сумасшедшій Пепко ѣдетъ на войну,—заявила однажды Аграфена Петровна (она говорила «сумашедчій» какъ горничная).—Анюта прибѣгала ко мнѣ...

— Неужели ѣдетъ?—удивлялся я самымъ безсовѣстнымъ образомъ.

— Да, да... Въ добровольцы поступаетъ. И Анюта тоже сумашедчая... Какъ же, помилуйте, и она туда же за нимъ!.. И что она только нашла въ немъ... Удивляюсь, удивляюсь!..

Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время избавиться отъ жены рушились самымъ позорнымъ образомъ. Жена ѣхала вмѣстѣ съ нимъ... Это уже входило въ область комедіи. То-то онъ въ послѣднее время совсѣмъ глазъ не показываетъ. Тоже есть кое-какая совѣсть. Ловко, Анна Петровна... Я про себя злорадствовалъ по адресу своего друга, точно желалъ выместить на немъ свое собственное свинство. Я даже съ нетерпѣніемъ ждалъ случая, когда, наконецъ, увижу женатаго добровольца. Какъ-то все геройство Пепки уничтожалось однимъ этимъ словомъ: жена. Получалась обидная нелѣпость: итти на войну съ женой. Однимъ словомъ, только Пепко могъ очутиться въ такомъ дурацкомъ положеніи.

— Анюта ѣдетъ фельдшерицей,—объяснила Аграфена Петровна.—Что же, оно, можетъ, и хорошо, а притомъ и мужъ все-таки на глазахъ. Мало ли что на войнѣ

можетъ случиться... Эти лупоглазыя турчанки какъ разъ изведутъ добра-молодца.

Движимая родственнымъ патріотизмомъ, Аграфена Петровна усиленно что-то шила, проявляя сестринскую любовь. Она даже раза два всплакнула надъ работой, такъ, по-бабьи всплакнула, потому что и глаза на мокромъ мѣстѣ, и война—страшное слово.

Наступилъ день отъѣзда. Пепко не завернулъ даже проститься, а написалъ коротенькую записку съ просьбой пріѣхать на варшавскій вокзалъ.

— Что же, надо проводить,—рѣшила Аграфена Петровна.—Все-таки, родственники...

Она ходила уже цѣлыхъ два дня съ заплаканными глазами, и, какъ мнѣ казалось, ей самой нравилось это родственное горе и то, что она можетъ поплакать на опредѣленную тему. Кстати, она заготовила цѣлую корзину съѣстного,—голодные они *тамъ*, такъ пусть покушаютъ.

Варшавскій вокзалъ имѣлъ необычно оживленный видъ. Зала и платформа были биткомъ набиты. Большинство составляла провожающая публика. Всѣ лица имѣли возбужденно-торжественный видъ. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое изъ будней дѣлаетъ праздникъ. И баринъ, и мужикъ, и мѣщанинъ, и купецъ—всѣ точно приподнялись. Да, совершалось что-то необычно-хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всѣхъ въ глазахъ, въ движеніяхъ, въ тонѣ голоса. Это движеніе впослѣдствіи было осмѣяно, а сами добровольцы сдѣлались притчей во языцѣхъ, но это просто несправедливо, вѣрнѣе сказать—дурная русская привычка обращать все въ позорище. Какъ сейчасъ вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцевъ, состоявшую главнымъ образомъ

изъ отставныхъ солдатъ. Какъ-то странно было видѣть самыя обыкновенныя лица, которыя сдѣлались необыкновенными. Положимъ, что въ массѣ эти кучки добровольцевъ были плодомъ газетнаго поджиганья, патріотическихъ рѣчей, такихъ же разговоровъ и, главнымъ образомъ, того, что дома ужъ очень тошно жилось. Но были и другіе сюжеты. Я невольно полюбовался двумя братьями добровольцами—старшій съ офицерской выправкой, а младшій просто хорошій юнецъ. Оба такіе славные и серьезные. Ихъ никто не провожалъ, и они держались въ сторонкѣ отъ общей волны. Трогательно было смотрѣть, какъ старшій братъ ухаживалъ за красавцемъ младшимъ. Эти знали, куда идутъ и зачѣмъ идутъ.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроеніе, которое могло испортить общій тонъ. Но онъ оказался на высотѣ задачи. Ничего театральнаго и дѣланаго. Я его еще никогда не видалъ такимъ простымъ. Немного рѣзала глазъ только зеленая вѣточка, пришпиленная, какъ у всѣхъ добровольцевъ, къ шапкѣ. Около Пепки уже юлилъ какой-то доброволецъ изъ отставныхъ солдатъ, заглядывавшій ему въ лицо и повторявшій безъ всякаго повода:

— Ахъ, ваше благородіе, мнѣ бы хучь одного турку прикончить... Неужто Господь-батюшка не приведетъ?... Ужъ я бы... ахъ, ты, братецъ ты мой...

Пепко уже успѣлъ заручиться ординарцемъ, и солдатъ таскалъ его вещи, суетился и повеличивалъ «вашимъ благородіемъ». У Пепки, вообще, было что-то привлекающее къ себѣ. Когда Пепко сконфузился немного при видѣ корзины съ съѣстнымъ, которую Аграфена Петровна привезла на вокзалъ, выручилъ солдатъ.

— Позвольте, сударыня... У насъ все уйдетъ... Какъ

же можно, ваше высокоблагородіе. Можно сказать: даръ Божій. Уйдеть... Тутъ еще, ваше высокоблагородіе, одна женщина, желающая нащетъ провіанту.

— Какая женщина?

Притиснутая толпой стояла наша Өедосья. Она протягивала молча какой-то узелокъ.

— Проводить пришла, Агаөонъ Павлычъ,—виновато повторяла она, точно оправдывалась за свою смѣлость.— Бывало, ссорились... такъ ужъ вы того...

Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключилъ въ свои объятія Өедосью и по-русски расцѣловалъ ее изъ щеки въ щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всѣхъ впечатлѣніе: Аграфена Петровна отвернулась и начала сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и моргала, стараясь подавить просившіяся слезы, у меня тоже сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. Потомъ толпа насъ разъединила, и я почувствовалъ, какъ Өедосья тянетъ меня куда-то за рукавъ. Я пошелъ за ней. Въ самомъ дальнемъ уголкѣ вокзала сидѣла Любочка, одѣтая въ черное. Она казалась дѣвочкой. Худенькое блѣдное личико совсѣмъ вытянулось и глядѣло такими трогательно-напуганными глазами.

— Въ сестры въ милосердныя записалась...—объяснила Өедосья.

— Здравствуйте, Любочка... И вы на войну?

— Не знаю... Куда повезутъ, Василій Иванычъ. Не поминайте лихомъ...

Пепкинъ солдатъ очутился опять около насъ и куда-то потащилъ Любочкинъ багажъ.

— Ты это куда поволокъ?—уцѣпилась за него Өедосья.

— А какъ же?—удивился и обидѣлся солдатъ.—Вмѣстяхъ всѣ ѣдемъ... Одна компанія. Значитъ, у ихъ бла-

городія супруга на манеръ милосердной сестры и вотъ онѣ въ томъ же родѣ... Ужъ я потрафлю, не безпокойтесь, только бы привелъ Господь сокрушить хучь въ одномъ родѣ это самое турецкое челмо... а-ахъ, Боже мой!..

Солдатъ являлся въ роли той роковой судьбы, отъ которой не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я увѣренъ, что она сейчасъ не думала о Пепкѣ. Ей просто нужно было куда-нибудь помѣстить свое изболѣвшее чувство,—она тоже искала своего бабьяго подвига и была такъ хороша своей кроткой простотой.

— И что только будетъ...—шептала Ѳедосья, покачивая головой.—Откуда взялся этотъ проклятущій солдатишко... Люба, а ты не сумлѣвайся, потому какъ теперь не объ *этомъ* слѣдоваетъ думать. Записалась въ сестры —ну, значитъ, конецъ.

Хлопотавшіе съ отправкой добровольцевъ члены Славянскаго Общества усаживали свою безпокойную публику въ вагоны. Изъ залы публика хлынула на платформу. Безучастными оставались одни буфетные человѣки и фрачные лакеи,—ихъ трудно было прошибить. Пепко розыскалъ меня, отвелъ въ сторону и торопливо заговорилъ:

— Мнѣ давно хотѣлось сказать тебѣ, Вася... да, сказать... ахъ, нехорошо, Вася!.. Мнѣ больно тебѣ это говорить...

— Да ты о чемъ?

— А ты не знаешь о чемъ? Перестань... ахъ, нехорошо!,. Можетъ-быть, неувидимся, Вася... все равно... Однимъ словомъ, мнѣ жаль тебя. Нельзя такъ... Гдѣ твои идеалы? Ты только представь себѣ, что это ктонибудь другой сдѣлалъ... Лучше бы ужь тебѣ ѣхать вмѣстѣ съ нами добровольцемъ. Вообще, скверное пре-

дисловіе къ той настоящей жизни, о которой мы когда-то вмѣстѣ мечтали.

Я чувствовалъ, какъ вся кровь хлынула мнѣ въ голову, и какъ все у меня завертѣлось предъ глазами, точно кто меня ударилъ. Было даже это ощущеніе физической боли.

—Мнѣ странно слышать это именно отъ тебя, Пепко...—бормоталъ я и неожиданно прибавилъ:—А ты видѣлъ Любочку?

— Да, она ѣдетъ вмѣстѣ съ нами... Я говорилъ съ ней. Только ты ошибаешься: это совсѣмъ другое. Тутъ была хоть тѣнь чувства и увлеченія, а не одно холодное свинство...

— Послушай, ты говоришь о томъ, чего не знаешь, и позволяешь себѣ слишкомъ много... да.

Мнѣ вдругъ захотѣлось сказать Пепкѣ что-нибудь такое обидное и несправедливое, но раздался уже второй звонокъ, и мы разстались совершенно холодно.

Помню, какъ я стоялъ въ толпѣ чужимъ человѣкомъ. Обидныя слезы душили меня, и въ то же время мнѣ хотѣлось во всемъ обвинить Пепку. Вотъ разсаженные по вагонамъ добровольцы запѣли «Спаси, Господи, люди Твоя», и толпа, какъ одинъ человѣкъ, обнажила головы. Всѣ были охвачены однимъ жуткимъ чувствомъ. Рядомъ со мной стоялъ купецъ, толстый и бородастый, и плакалъ какими-то дѣтскими слезами... У меня тоже катились слезы. А знакомый съ дѣтства церковный мотивъ разростался и широкой волной покрылъ всю платформу, —пѣлъ стоявшій рядомъ купецъ, пѣлъ офиціантъ съ салфеткой подъ мышкой, пѣла Ѳедосья... Подступала одна общая волна, которая была сильнѣе того пара, который долженъ былъ сейчасъ унести горсть добровольцевъ.

Трогательный моментъ былъ нарушенъ только Пепкинымъ солдатомъ. Онъ какъ-то кубаремъ выскочилъ безъ шапки изъ вагона и кинулся къ члену Славянскаго Общества.

— Вашескородіе, шапку украли... Что же это такое?.. Можно сказать, душу полагать готовъ, а они, подлецы, напримѣръ, шапку... Какимъ же манеромъ я, напримѣръ, въ Сербію? Всѣ въ шапкахъ, а я одинъ оглашенный...

Солдата едва успокоили и какъ-то засунули обратно въ вагонъ. Поѣздъ тронулся, а за нимъ поплылъ и торжественный церковный мотивъ...

XXXVII.

Осенью, когда я съ дачи вернулся въ гостепріимныя нѣдра «Ѳедосьиныхъ покрововъ», на мое имя было получено толстое письмо съ заграничнымъ штемпелемъ. Это было первое заграничное письмо для меня, и я сейчасъ же узналъ руку Пепки. Мое сердце невольно забилось, когда я разрывалъ конвертъ. Какъ хотите, а въ молодые годы узы дружбы составляютъ все. Мелкимъ почеркомъ Пепки было написано цѣлыхъ пять листовъ.

«Бѣлградъ, военный госпиталь (потихоньку отъ жены, которая слѣдитъ за мной какъ рыба за червякомъ, извивающимся на крючкѣ), койка № 37. Милый, дорогой другъ... Извини, что я такъ давно не писалъ тебѣ, т. е. не писалъ совсѣмъ. Главной причиной этому было то, что, уѣзжая въ Сербію, я ненавидѣлъ тебя самымъ благороднымъ манеромъ, какъ сорокъ тысячъ благородныхъ братьевъ, возведенные въ квадратъ. Да... Потомъ—это ужъ роковая черта всякой истинной дружбы—я совсѣмъ

позабылъ о твоемъ существованіи. И, такъ, я не писалъ тебѣ и сейчасъ пишу только потому, что лежу въ госпиталѣ уже второй мѣсяцъ и скучаю, какъ, вѣроятно, будутъ скучать только будущіе читатели твоихъ будущихъ произведеній. Потомъ—я ненавижу проклятыхъ братушекъ и всю эту опереточную войну... Еще потомъ—моя любезная супруга не отходитъ отъ меня, и я ненавижу ее больше того, если бы сложить Сербію и Болгарію вмѣстѣ и помножить эти прелестныя страны на Герцеговину, Боснію и Черногорію. Однимъ словомъ, ты уже предчувствуешь излитіе священной эссенціи дружбы и съ мужествомъ еще нераненнаго добровольца пускаешься въ чащу дружескихъ признаній и конфесьеновъ. Милый другъ, представь себѣ самую смѣшную картину: раненный Пепко лежитъ въ военномъ госпиталѣ въ Бѣлградѣ.. Онъ сейчасъ походитъ на одну изъ тѣхъ восковыхъ фигуръ, какія показываются на ярмарочныхъ балаганахъ,—это смѣшной, выцвѣтшій и захватанный руками дрянной манекенъ, къ которому нельзя дотронуться, чтобы не нарушить семейнаго счастья какой-нибудь добродѣтельной моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недостаетъ только твоей раненой персоны... Вдвоемъ оно все-таки веселѣе—поругались бы хоть для развлеченія. Постой, главное-то, почему я пишу тебѣ, я и забылъ сказать—пишу сіе, братику... да, пишу... Помнишь романсъ:

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей...
Не говори: близка моя могила,
А ты цвѣтка весенняго свѣжей.

Помнишь, еще провизоръ пѣлъ тогда у Наденьки? Нейдетъ онъ у меня изъ башки вторую недѣлю—ужъ и повторяю его про себя. Повторялъ, повторялъ да и

додумался: вѣдь это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь умомъ, вникни и восчувствуешь нѣкоторую подлую тоску... Я свое настроеніе скрылъ даже отъ своей любезной супруги, которая любитъ ковыряться у меня въ душѣ и, какъ кошка, выцарапываетъ самыя тайныя мысли. У женщинъ, братику, на это есть какой-то чертовскій нюхъ... Прямо носомъ чуютъ, гдѣ жаренымъ пахнетъ. Какъ-то у насъ въ лагеряхъ появилась одна сербочка-маркитантка... Мордашка у нея, я тебѣ скажу, какъ у котенка, и въ глазенкахъ этакая приглашающая пожарная тревога,—однимъ словомъ, фруктъ. Ты знаешь мое несчастіе: женщины не могутъ меня видѣть равнодушно. Ну, и тутъ альте гешихте: сколько было офицеровъ, а она въ меня влюбилась—сразу врѣзалась. Время военное, сегодня живъ, а завтра неизвѣстно,—ну, я, признаюсь, немного того... Приходитъ она ко мнѣ этакъ въ палатку, рубашечка на ней въ сборочкахъ, расшитая, курточка, а я ее этакъ за рукавъ и начинаю курточку разстегивать... Жмется, хихикаетъ, а тѣльце у нея такое смугленькое, на верхней губѣ усики... Разстегиваю я эти національныя пуговки, какъ вдругъ кто-то меня сзади бацъ: въ самое ухо. Супружница... Табло. Побѣжала сейчасъ же къ Черняеву разводъ просить,—ну, а онъ, натурально, говоритъ, что это не его дѣло и что въ наказаніе пошлетъ меня въ секретъ на линію. Однимъ словомъ, спасъ меня генералъ... И какъ же былъ я радъ, когда такъ дешево отдѣлался. Какъ видишь, политическія событія иногда зависятъ чортъ знаетъ отъ чего, отъ какихъ-то серебряныхъ пуговокъ... Кстати—увы!—сербочки моей ужъ нѣтъ—фюить! сбѣжала съ какимъ-то казачьимъ офицеромъ въ Рассею. До сихъ поръ жаль... фруктикъ былъ правильный и все въ порядкѣ. А я развѣ виноватъ, что она сама первая

мнѣ на шею бросается, да еще въ военное время?.. Тсс.. Грядетъ *сама,* и я прячу свои грѣшные конфесьены. какъ улитка рога»...

Письмо было скомкано. Пепко, вѣроятно, пряталъ его куда-нибудь подъ подушку, когда показалась *сама,* т. е. Анна Петровна. Слѣдующій листъ былъ написанъ уже другими чернилами—тоже результатъ семейной инквизиціи. Мнѣ очень понравился безпорядочный тонъ этого удивительнаго посланія,—Пепко не думалъ, а гонялся за мыслями какъ выпущенная въ первый разъ въ поле молодая собака. Милый Пепко, какъ я его опять любилъ, и онъ опять былъ весь на этихъ смятыхъ исписанныхъ листахъ. Онъ вѣжливо предоставлялъ мнѣ право возстановлять связь между отдѣльными частями его письма и отыскивать смыслъ. Слѣдующій листъ начинался такъ:

«Извини за невольный перерывъ: семейное счастье всегда идетъ скачками... Возвращаюсь къ прерванному повѣствованію. Позволь сначала отрекомендоваться: я—герой, я дѣлалъ всеобщую исторію, пролитая мною кровь послужитъ Иловайскому матеріаломъ для самоновѣйшей исторіи, я—ординарецъ при генералѣ Черняевѣ, я, т. е. моя персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили меня довольно невѣжливо, ибо я не могу даже показать публикѣ своихъ почетныхъ шрамовъ и рубцовъ), наконецъ, я въ скоромъ времени кавалеръ сербскаго ордена Такова... И вдругъ герой, т. е. я, влопался въ гроссъ шкандалъ съ сербочкой, и моя супруга сжила бы меня со свѣту, если бы не любезность милыхъ турокъ. Между нами, братику: всѣ эти братушки рѣшительно дрянь, а въ турокъ я влюбленъ. Чудный народъ... И, знаешь, я рѣшилъ, что остаюсь въ Турціи. Да остаюсь и со временемъ натурализируюсь, какъ дѣлаютъ нѣмцы. Чудный народъ, однимъ словомъ, и я влюбленъ въ каж-

даго турка. Сколько въ нихъ природнаго благородства, храбрости, вѣжливости—просто даже обидно за свое халуйство. Представь себѣ, что у нихъ нѣтъ самыхъ величайшихъ нашихъ золъ, какъ пьянство и проституція... Затѣмъ, у нихъ нѣтъ старыхъ дѣвъ. Я презираю нашу фальшивую цивилизацію и сдѣлаюсь туркомъ. Феска очень идетъ къ моей фотографіи... Разъ на рекогносцировкѣ я попалъ въ турецкую деревушку, захожу въ одинъ домъ, чтобы напиться—вижу, сидитъ на полу на коврѣ старый-старый турокъ съ сѣдой длинной бородой и читаетъ коранъ. Вся деревня бѣжала, а старикъ остался. Никогда не забуду, какъ онъ посмотрѣлъ на меня... Мнѣ вдругъ сдѣлалось стыдно. Я прочиталъ въ его глазахъ глубокое и справедливое презрѣніе къ моей персонѣ, къ моему военному мундиру, къ выраженію лица, къ торопливымъ движеніямъ. Старикъ не боялся смерти, и я походилъ на собаку, которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвостъ. Кстати, этого старика потомъ нашли убитымъ, и кто бы, ты думалъ, убилъ его? Помнишь солдата-добровольца, который при нашемъ отъѣздѣ изъ Петербурга устроилъ скандалъ съ шапкой? Онъ его и убилъ... Впослѣдствіи самъ мнѣ сознался. Впрочемъ, я забѣгаю впередъ. Начинаю съ начала. Какъ я уже писалъ выше, послѣ скандала съ сербочкой Черняевъ отправилъ меня на линію. Я давно вызывался въ охотничью команду, ну, и получилъ. Съ позиціи насъ отправили въ секретъ человѣкъ пять. Хорошо. Со мной былъ и тотъ солдатъ, который скандалилъ изъ-за шапки. Засѣли мы въ кукурузѣ на двѣ ночи. Трудно это здоровому человѣку вылежать двое сутокъ безъ признаковъ жизни, а тутъ еще и курить нельзя. Начался холодище, зубъ на зубъ не попадаетъ. Сидѣли-сидѣли, тощища... Я даже разсердился: какая это война? Такъ,

чортъ знаетъ что такое... Только тутъ я понялъ, какъ-то всѣмъ тѣломъ понялъ, какая колоссальная безсмыслица эта война. Только и развлеченья, что смотришь, какъ снаряды надъ головой летаютъ. Тррах-тррах!... Кто-то кого-то желаетъ уничтожить, однимъ словомъ. И представь себѣ какая безсмыслица: вѣдь я ихъ люблю, этихъ милыхъ турокъ, а они въ меня палятъ... Сначала я трусилъ, а потомъ надоѣло бояться—очень ужъ скучно было сидѣть въ этой проклятой кукурузѣ. И потомъ этакія жалобныя мысли въ башку лѣзутъ... А вдругъ убьютъ? Даже этакъ впередъ жалѣешь самого себя: а тамъ родина, родной уголъ, одна добрая мать—всего надумаешься. Вообще, не совѣтую тебѣ, братику, поступать въ герои, потому что это во-первыхъ, во-вторыхъ и въ третьихъ скучно... Посадятъ въ кукурузу—и сиди дуракомъ. А между тѣмъ нужно, кому-нибудь сидѣть нужно, что бы кто-то кого-то убивалъ... И какое это геройство: прячешься какъ заяцъ въ капустѣ. Меня утѣшалъ только мой солдатъ, который трусилъ еще больше меня... Вотъ онъ тутъ мнѣ и признался про турка, котораго убилъ. Было это ночью. Сидимъ и дремлемъ. Солдатъ какъ схватитъ меня за руку: «Ваше благородіе, *енъ*»...— «Кто онъ»?—спрашиваю, а у самаго морозъ по кожѣ.— «Да тотъ, сѣдой турокъ, котораго я тогда изничтожилъ... Вотъ сейчасъ провалиться: въ кукурузѣ прошелъ и этакъ меня перстомъ поманилъ. Охъ, не къ добру это, ваше благородіе»! Я его обругалъ, а потомъ оказалось, что солдатъ былъ правъ. Утромъ турецкіе аванпосты выдвинулись, началась перестрѣлка; братушки, конечно, бѣжали какъ зайцы, а мы были обойдены лѣвымъ флангомъ. Даже бѣжать было некуда... Насъ выручила разорвавшаяся надъ нашими головами шрапнель: мой солдатъ былъ убитъ наповалъ, а я очнулся только въ госпиталѣ.

Видишь, какъ скучно дѣлается всемірная исторія: не будь серебряныхъ пуговокъ у сербочки, не сидѣлъ бы я два дня героемъ въ кукурузѣ и не былъ бы раненъ шальной шрапнелью. А затѣмъ, не лежалъ бы я въ лазаретѣ и не пришелъ бы къ печальному выводу, что—увы!—молодость прошла... Меня это открытіе сильно озадачило, и я»...

Дальше слѣдовалъ перерывъ, а продолженіе написано на новой бумагѣ и новыми чернилами.

«Братику, мнѣ кажется, что я никогда не кончу своего письма—въ самый интересный моментъ ворвалась моя дражайшая... Охъ, какъ я ненавижу всѣхъ женщинъ, начиная съ праматери Евы, благодаря маленькой любезности которой появился весь родъ людской. Да, я ненавижу, потому что женщины всегда мѣшали мнѣ въ самый интересный моментъ. Милый, братику, думалъ ли ты о старости? О, она теперь сидитъ у моего изголовья и любуется новой жертвой... Братику, миленькій, мнѣ страшно, когда я думаю о старости. Гдѣ рой тѣхъ чудныхъ красавицъ, которыя должны были цѣловать меня? гдѣ тѣ виллы, въ которыхъ я долженъ былъ жить? гдѣ тѣ подвиги, которые передали бы мое имя благодарному потомству? Червь, ничтожество, эссенція праха... Я и раньше частенько задумывался надъ этимъ, говорилъ на эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то въ родѣ слабой надежды, а сейчасъ я чувствую всей своей грѣшной плотью, что ничего не будетъ и что остается только скромно тянуть до благополучнаго отбытія въ небытіе... Боже мой, гдѣ же вы, молодыя грезы? гдѣ мечты о счастьи? гдѣ ты, молодая дерзость?.. Я лежу на своей койкѣ № 37 и жалѣю себя... Да, жалѣю себя и тебя тоже жалѣю. Кто-то *другой* взялъ все лучшее въ жизни, этого *другого* любили тѣ красавицы, о которыхъ мы мечтали въ без-

сонныя ночи, *другой* пилъ полной чашей отъ радости жизни, наслаждался чудесами святого искусства,— я ненавижу этого *другого*, потому что всю молодость просидѣлъ въ кукурузѣ... У меня сейчасъ слезы на глазахъ, милый, и мнѣ стыдно ихъ, стыдно и хочется, чтобы ты пожалѣлъ меня. Я часто думалъ о тебѣ, даже тамъ, когда сидѣлъ въ кукурузѣ, составилъ новую теорію словесности. Жаль, что не было съ собой карандаша и бумаги, а то я осчастливилъ бы человѣчество. Да... И вотъ къ такому человѣку подкралась злодѣйка старость, и я чувствую ея холодное дыханіе. Отдайте мнѣ мои двадцать лѣтъ, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье... Я вѣдь еще даже не начиналъ жить и страстно хочу жить,—жить не своей одной жизнью, а тысячью другихъ жизней, любить, плакать и смѣяться. Знаешь, кто мнѣ это говорилъ? Любочка... Кстати... да... гм... Она потихоньку приходитъ ко мнѣ въ госпиталь, присядетъ на кровать и смотритъ—не глазами смотритъ, а вся смотритъ. Лицо у нея блѣдное, строгое, глубокое... И какъ она умѣетъ любить! Недавно сидѣла-сидѣла, легонько вздохнула и говоритъ: «А вы пожалѣете, Агаѳонъ Павлычъ, что *тогда* оттолкнули меня... Дѣло прошлое, я ужъ теперь перемучилась, а все-таки пожалѣете». И сказала правду, братику... Ты испыталъ чувство ненависти? Я ненавижу свою жену... Ненавижу ея голосъ, походку, самоувѣренную улыбку, порядочность—все, все, все. Хуже: я ея боюсь... Это послѣдняя степень мужского паденія. О, отдайте мнѣ мои двадцать лѣтъ... Чувствую, что никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищъ по несчастію—и твоя юность тоже сдѣлалась достояніемъ всепожирающаго времени. Твой другъ и кавалеръ ордена Такова—Пепко».

Въ постскриптумѣ стояла лаконическая фраза:

«Пріѣзжай въ Бѣлградъ, и перейдемъ въ турки—это единственный исходъ изъ нашей безшабашной жизни».

XXXVIII.

Письмо Пепки для меня было ударомъ. Да, онъ былъ правъ, милый Пепко... Не молодость прошла, а юность, и особенно скверно прошла она для меня. Пепко, по крайней мѣрѣ, утѣшался тѣмъ, что не было еще женщины, которая отнеслась бы къ нему равнодушно, могъ, наконецъ, ненавидѣть женщинъ, причинявшихъ ему столько непріятностей, а я даже не могъ сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже совсѣмъ кисло. Даже своимъ романомъ съ Аграфеной Петровной я не могъ похвастаться, потому что она во мнѣ любила не меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство. Я это отлично понималъ. Сама по себѣ она была очень хорошая женщина, съ здоровыми инстинктами и честная—не головной честностью, а по натурѣ. Въ ней была только одна порабощающая черта—это та женская покорность, которая дѣлаетъ изъ мужчины раба. Ей никогда и ничего не было нужно, она ничего не требовала и была счастлива сознаніемъ, что ее тоже любятъ—такъ, немножко, а все-таки любятъ. Меня эта покорность часто возмущала. Потомъ, у насъ не было будущаго, и мы о немъ никогда не говорили, какъ не говорятъ въ присутствіи трудно-больного о смерти. А самое ужасное—надъ нами висѣлъ длящійся обманъ. Вообще, положеніе было самое скверное, особенно принимая во вниманіе, что въ него отлилась моя юность. Письмо Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разорвалъ въ клочья, какъ собственный обвинительный актъ, и пролежалъ на своей кушеткѣ въ молчаливомъ отчаяніи цѣлый день.

— Молодость прошла — отлично... злобно повторялъ я про себя.—Значитъ, она никому не нужна; значитъ, выпалъ скверный номеръ; значитъ, вообще, наплевать. Пусть *другіе* живутъ, наслаждаются, радуются. . Чортъ съ ними, съ этими другими. Все равно и жирный король и тощій нищій въ концѣ концовъ сдѣлаются достояніемъ господъ червей, какъ сказалъ Шекспиръ, а въ томъ числѣ и *другіе*.

Мрачныя мысли Пепки отвѣтили на то настроеніе, которое я скрывалъ отъ самого себя. Мнѣ было и обидно и больно, и въ то же время я не могъ не согласиться съ Пепкой. Да, мой другъ былъ правъ, тысячу разъ правъ, хотя отъ этой правды ни ему, ни мнѣ и не было легче. Приходилось ставить крестъ на грустный опытъ первыхъ двадцати-пяти лѣтъ, вѣрнѣе—на послѣдніе семьвосемь годовъ. Вмѣсто жизни получался неясный призракъ, что-то въ родѣ тѣхъ китайскихъ тѣней, какія показываютъ дѣтямъ. Гдѣ же настоящая жизнь? когда она наступитъ? Боже мой, вѣдь ни одинъ день не вернется... Какъ отлично понималъ я обуревавшую Пепку жажду жизни—я страдалъ еще сильнѣе.

Итакъ, я лежалъ у себя на кушеткѣ и предавался самому отчаянному самоѣдству. Не хотѣлось ничего дѣлать, читать, работать, двигаться, просто смотрѣть. На улицѣ трещали экипажи, съ Невы доносились свистки пароходовъ—это *другой* торопился по своимъ счастливымъ дѣламъ, *другой* ѣхалъ куда-то мимо, одни «Ѳедосьины покровы» незыблемо оставались на мѣстѣ, а я сидѣлъ въ нихъ и точилъ самого себя, какъ могильный червь. Меня не интересовало больше, кто живетъ за перегородкой рядомъ, гдѣ жилъ «черкесъ», кто другіе жильцы— не все ли равно? Ѳедосья держалась со мной какъ-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои отношенія

къ Аграфенѣ Петровнѣ и дѣлала благочестивое лицо, когда та изрѣдка приходила навѣстить меня.

— Ну, ужъ...—говорила Ѳедосья, оставляя весь свѣтъ въ неизвѣстности, что она хотѣла сказать этими словами.

Аграфена Петровна изъ женской деликатности всегда являлась подъ какимъ-нибудь предлогомъ, однимъ изъ которыхъ были письма отъ сестры Анюты изъ Сербіи.

— А вѣдь онъ совсѣмъ порядочный, вашъ Пепко,— удивлялась Аграфена Петровна, перечитывая мнѣ вслухъ письма сестры.—Кто бы могъ ожидать... Анюта совершенно счастлива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла въ кого влюбиться... Удивляюсь я этимъ образованнымъ дѣвицамъ, какъ онѣ ничего не понимаютъ.

Къ другимъ Аграфена Петровна относилась, какъ всѣ женщины, очень строго, забывая свой собственный грустный опытъ. Меня больше всего интересовала политика Анны Петровны, не желавшей даже сестрѣ выдать свои семейныя тайны. Я, конечно, молчалъ, оставляя Аграфену Петровну въ счастливой увѣренности, что все обстоитъ благополучно. Вѣроятно, и Аграфена Петровна писала про себя сестрѣ то же самое. Въ сущности говоря, сестры обманывали другъ друга самымъ трогательнымъ образомъ. Я былъ невольнымъ свидѣтелемъ этого обмана и думалъ, что вѣдь самое счастье не есть ли обманъ? И какъ немного нужно этого обмана, чтобы человѣкъ почувствовалъ себя счастливымъ...

Для меня лично эти «счастливыя» письма Анны Петровны имѣли спеціально дурныя послѣдствія. Дѣло въ томъ, что послѣ каждаго такого письма Аграфена Петровна испытывала извѣстный упадокъ духа, потихоньку вздыхала и поднимала разныя грустныя темы.

— Удивительно это, Василій Иванычъ, отчего однимъ

счастье, а другимъ такъ, сумерки какія-то,—говорила она задумчиво.—Ну, подумайте, за что?

— Право, не знаю,—отвѣчалъ я совершенно серьезно.

— И что обидно: это ни отъ кого не зависитъ... Будь ты хоть разумница, будь раскрасавица, принцесса, королевская дочь—все равно...

— Вѣдь и мужчины то же самое.

— Нѣтъ, мужчины совсѣмъ наоборотъ... Взять вотъ хоть васъ. Вотъ сейчасъ сидимъ мы съ вами, разговариваемъ, а гдѣ-нибудь растетъ дѣвушка, которую вы полюбите, и женитесь, заведете дѣтокъ... Я это къ слову говорю, а не изъ ревности. Я даже рада буду вашему счастью... Дай Богъ всего хорошаго и вамъ и вашей дѣвушкѣ. А подъ окошечкомъ у васъ все-таки пройду...

— Аграфена Петровна, какъ это вамъ хочется говорить глупости...

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, пройду... У васъ будетъ огонекъ горѣть, а я по тротуару и пройду. Вамъ-то хорошо, а я... Что же, у всякаго своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Можетъ-быть, когда-нибудь и меня вспомните въ такой вечерокъ. Жена-то, конечно, ничего не знаетъ—молодыя ничего не понимаютъ, а у васъ свои мысли въ головѣ.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на глазахъ отъ этихъ чувствительныхъ размышленій, и она впередъ ревновала меня къ своей неизвѣстной счастливой соперницѣ.

— Ежели разобрать, такъ что я для васъ, Василій Иванычъ? Такъ, игрушка... Мало ли нашего брата, дуръ-бабъ. А оно все-таки какъ-то обидно... И ваше дѣло молодое, жить захотите... да. Оно ужъ все такъ на свѣтѣ дѣлается... Скучно вамъ со мной, вѣдь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, какъ Аграфе-

на Петровна смотрѣла на меня,—такъ смотрятъ только на дорогихъ покойниковъ. Удивительно, сколько можетъ передать такой взглядъ... И словъ никакихъ не нужно, да и словъ-то такихъ нѣтъ. Отъ такихъ чувствительныхъ разговоровъ у меня дѣлалось ужасно скверно на душѣ, до того скверно, что и не разскажешь. Да, скверно... И вмѣстѣ съ тѣмъ являлась впередъ какая-то жалость вотъ къ этой самой Аграфенѣ Петровнѣ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ она пойдетъ подъ окошечкомъ, а я буду сидѣть и думать о ней. Ко всѣмъ этимъ пріятнымъ вещамъ нужно прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который въ теченіе лѣта совсѣмъ сжился со мной и во время приступовъ откровенности блуднаго мужа повѣрялъ мнѣ свои тайны. Сначала я его презиралъ, потомъ ревновалъ и, наконецъ, началъ смотрѣть на него какъ на своего alter ego. Въ немъ жила эта неуловимая жажда разнообразія, удовлетворявшаяся маленькимъ настоящимъ. Я замѣтилъ, что онъ прежде всего идеализировалъ тѣхъ женщинъ, за которыми ухаживалъ,—вѣдь и герцогини такъ же устроены.

— Вы разсмотрите-ка подъ микроскопомъ каждую женщину и найдите разницу,—предлагалъ онъ. — Эту разницу мы любимъ только въ себѣ, въ своихъ ощущеніяхъ, и счастливы, если данный номеръ вызываетъ въ насъ эти эмоціи. Въ насъ—все, а женщины случайность, вѣрнѣе—маленькая подробность... Почему намъ нравится, когда въ нашихъ рукахъ сладко трепещетъ молодое женское тѣло, а глаза смотрятъ испуганно и довѣрчиво? Мы хотимъ пережить сами этотъ сладкій испугъ пробудившейся страсти, эти первые восторги, эту довѣрчивость къ неизвѣданной силѣ...

Мнѣ приходилось еще въ первый разъ встрѣчать развратника pur sang, и меня радовало, что я самъ не та-

кой и не буду такимъ. Ахъ, я могъ дѣлать ошибки, глупости, но никогда не дойду до того, чтобы наслаждаться «трепетомъ молодого женскаго тѣла», —одна терминологія чего стоитъ! Я еще могъ любить въ женщинѣ человѣка, а не одну самку. Откровенныя бесѣды съ этимъ откровеннымъ мужемъ поднимали меня въ собственномъ мнѣніи. Это было какое-то отребье человѣчества... Ничто живое уже не могло поднять душу. О, нѣтъ, я не такой! Съ другой стороны, являлась мысль, что вѣдь и онъ, этотъ замотавшійся петербургскій чиновникъ, родился тоже не такимъ, а дошелъ до своего настоящаго длиннымъ путемъ, и что я, повидимому, иду именно по этому пути. Вотъ тутъ и выплывалъ вопросъ объ alter ego.

Разъ мы сидѣли въ трактирѣ, и онъ задумчиво спросилъ:

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Двадцать-пять...

— О, еще успѣете все пройти...

Онъ такъ гадко засмѣялся, точно радовался, что отыскалъ во мнѣ родственныя черты. Неужели я буду когда-нибудь такимъ? Ужъ лучше тогда умереть...

Въ общемъ я проходилъ тяжелый житейскій опытъ и не пожелалъ бы его никому другому. Письмо Пепки только рельефнѣе объяснило мнѣ ту степень, до какой я дошелъ. Мое отчаяніе было вполнѣ понятно.

Теперь я выходилъ изъ дому только по вечерамъ и любилъ долго бродить по улицамъ. Обыкновенно я уходилъ съ своей ненавистной Петербургской стороны въ городъ. Сколько здѣсь было богатыхъ домовъ, какіе великолѣпные экипажи неслись мимо, и я наслаждался собственнымъ ничтожествомъ, останавливаясь передъ окнами богатыхъ магазиновъ, у ярко освѣщенныхъ подъѣздовъ, въ мѣстахъ, гдѣ скоплялась глазѣющая празд-

ная публика. Времени у меня было достаточно, и я бродилъ до мертвой усталости, а потомъ отправлялся въ трактиръ Агапыча, гдѣ засѣдали остававшіеся члены распадавшейся «академіи». Здѣсь все было по-старому. Я возненавидѣлъ трактиръ, трактирныхъ завсегдатаевъ и все, что носило на себѣ проклятую печать трактира.

— Гдѣ это вы пропадаете? — спросилъ меня разъ Фрей, остававшійся на своемъ посту.

— А такъ... Самъ не умѣю хорошенько сказать. Скучно...

Фрей издалъ неопредѣленный звукъ, засосалъ свою трубочку и не сталъ больше разспрашивать. У него было достаточно своей собственной работы. Хроника падала. Публика рвала нарасхватъ только извѣстія съ театра войны, относясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и что могла интереснаго дать наша русская жизнь? Засѣданія ученыхъ обществъ, пожары, убійства и только на закуску какой-нибудь крупный скандалъ, въ родѣ расхищенія банковской кассы. Да и самые скандалы скоро пріѣлись, потому что устраивались по общему шаблону. Однимъ словомъ, матъ... Фрей предчувствовалъ, что дѣло пойдетъ дальше и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война такъ война... Что же изъ этого? Въ сущности это была громадная комедія, въ которой стороны совершенно не понимали другъ друга. Наживался одинъ юркій газетчикъ—неужели для этого стоило воевать? Мной вообще овладѣлъ пессимизмъ и пессимизмъ нехорошій, потому что онъ развивался на подкладкѣ личныхъ неудачъ. Я думалъ только о себѣ и этой мѣркой мѣрялъ все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицамъ

меня успокоивало, и я возвращался домой съ аппетитомъ жизни,—есть желаніе жить, какъ есть желаніе питаться. Меня начинала пугать развивавшаяся старческая апатія—это уже была смерть заживо. Глядя на другихъ, я начиналъ точно приходить въ себя. Являлось то, что называется самочувствіемъ. Выздоравливающіе хорошо знаютъ этотъ переходъ отъ апатіи къ самочувствію и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своимъ чередомъ и почти совсѣмъ меня не интересовала, какъ всякое ремесло. Я уже пережилъ острый періодъ первыхъ опытовъ, когда волновала каждая печатная строчка. Точно такъ же я относился къ сотрудничеству у Ивана Иваныча: написалъ разсказъ, получилъ деньги,—и конецъ. Наше недоразумѣніе, вызванное романомъ, давно было забыто. Однимъ словомъ, я шагъ за шагомъ превращался въ настоящую газетную крысу и подъ руководствомъ такого фанатика какъ Фрей вѣроятно сдѣлался бы хроникеромъ. Я уже входилъ во вкусъ безпорядочной газетной работы и, главное, начиналъ чувствовать себя дома,—это большое чувство въ каждой профессіи.

XXXIX.

Мое стремленіе къ большой литературѣ на время какъ-то совсѣмъ заглохло. Я старался даже не думать объ этомъ больномъ мѣстѣ. Цѣлый ворохъ рукописей лежалъ одной связкой въ уголкѣ, и я не рѣшался къ нимъ прикоснуться, какъ больной боится разбередить свою рану. Получалось что-то въ родѣ литературной летаргіи. Къ прежнему репертуару заражавшихъ меня чувствъ прибавилась озлобленность неудачника. И тутъ были *другіе*, не только составлявшіе себѣ къ двадцати-пяти годамъ имя, но уже умиравшіе, свершивъ въ литерату-

рѣ все земное. Я, конечно, зналъ на перечетъ всѣхъ настоящихъ русскихъ беллетристовъ и особенно слѣдилъ за начинающей фракціей. Относительно послѣднихъ я проявлялъ положительное звѣрство, третируя ихъ какъ мальчишекъ и выскочекъ. Если бы представить схему моихъ мыслей и разговоровъ на эту тему, получалось бы слѣдующее:

Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Левъ Толстой... Левъ Толстой, Достоевскій, Гончаровъ, Тургеневъ, Гоголь, Лермонтовъ, Пушкинъ.

Этимъ синодикомъ все исчерпывалось, а остальное шло на затычку... Для окончательнаго растерзанія новаго автора я имѣлъ два самыхъ страшныхъ слова: Бѣлинскій и Добролюбовъ. Тутъ ужъ конецъ всему начинающему, и я злобно торжествовалъ. Нутка, вы, нынѣшніе, попробуйте перелѣзть черезъ этотъ заборъ? Лучше и не пробуйте, господа, потому что Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Левъ Толстой все сказали, не оставивъ вамъ даже объѣдковъ. Я злился и торжествовалъ, изливая накипѣвшій ядъ систематическаго неудачника на своихъ воображаемыхъ конкурентовъ. Впрочемъ, себя я выдѣлялъ на особую полочку и вѣрилъ, что, сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, изъ меня выработался бы настоящій авторъ. Да-съ, настоящій... Я вошелъ во вкусъ этого всеуничтожающаго настроенія и даже начиналъ подумывать, не кроется ли во мнѣ таланта литературнаго критика, просто злобнаго, а можетъ-быть даже и мертво-злобнаго. Ужъ я бы задалъ всей этой мелюзгѣ, да и изъ признанныхъ корифеевъ повыдергалъ бы красное перо. Конечно, это нужно сдѣлать складно, а не такъ, какъ дѣлалъ увлекавшійся Писаревъ. Чортъ съ ней, съ беллетристикой,

лучше самому взять палку, чѣмъ подставлять спину. Да и пріемъ готовъ впередъ: всѣ эти начинающіе мерзавцы...

Итакъ я лежалъ и злобствовалъ. Занятія въ университетѣ были брошены, да и раньше я относился къ нимъ спустя рукава. Сейчасъ я посвящалъ себя служенію родной литературѣ въ окончательной формѣ. Если не выйдетъ беллетристъ, то навѣрно ужъ получится критикъ въ достаточной мѣрѣ злобный. Въ видахъ подготовленія къ этому отвѣтственному посту я серьезно занялся пробѣлами своего образованія, при чемъ открылъ цѣлыя пропасти самаго возмутительнаго невѣдѣнія. Въ сущности, говоря между нами, я не зналъ основательно ничего, а только бросался на все, хваталъ вершки, усвоивалъ съ грѣхомъ пополамъ терминологію, кое-какія теоремы и летѣлъ дальше. Это были жалкія лохмотья знанія, а критику сіе не полагается. Я записался въ двѣ библіотеки, натащилъ самыхъ мудреныхъ книгъ и углубился въ бездну знанія. Это было что-то въ родѣ запоя. Книги читались систематически, со множествомъ выписокъ, чтобы впослѣдствіи блеснуть эрудиціей! Французы это называютъ брать быка за рога...

Разъ утромъ я былъ особенно злобно настроенъ. Начинались уже заморозки. Единственное окно моей комнаты отпотѣло. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая сквозь ветхія, прогнившія насквозь стѣны. Комната имѣла при такомъ освѣщеніи очень некрасивый видъ, и невольно являлась мысль, что вѣдь есть же въ Петербургѣ хорошія, свѣтлыя, сухія и теплыя комнаты. Да, есть, какъ есть нѣсколько милліоновъ свѣтлыхъ большихъ оконъ, за которыми сидятъ эти *другіе*... Я серьезно раздумался на эту благородную тему и даже чувствовалъ какое-то пріятное ожесточеніе: и живите въ свѣтлыхъ, высокихъ, теплыхъ и сухихъ комнатахъ,

смотрите въ большія свѣтлыя окна, а я буду отсиживаться въ своей конурѣ какъ цѣпная собака, которая когда нибудь да сорвется съ своей цѣпи.

— Поповъ, васъ спрашиваетъ какой-то жандармъ...— прервала мои размышленія Өедосья, ворвавшаяся въ комнату съ побѣлѣвшимъ лицомъ.

— Какой жандармъ?

— Какіе бываютъ жандармы: синій...

Я отворилъ дверь и пригласилъ «синяго» жандарма войти,—это былъ Пепко въ синемъ сербскомъ мундирѣ. Со страху Өедосья видѣла только одинъ синій цвѣтъ, а не разобрала, что Пепко былъ не въ мундирѣ русскаго покроя, а въ сербской куцой курточкѣ. Можно себѣ представить ея удивленіе, когда жандармъ бросился ко мнѣ на шею и принялся горячо цѣловать, а потомъ продѣлалъ то же самое съ ней.

— Охъ, Агаөонъ Павлычъ, вотъ напугалъ то... А я какъ взглянула, такъ и обомлѣла: весь синій... жандармъ...

— О, женщина, ты видишь передъ собой героя,—заявлялъ немного сконфуженный этой маленькой комедіей Пепко.—Жалѣю, что не могу тебѣ представить въ видѣ доказательства свои раны... Да, настоящій герой, хотя и синій.

Өедосья прислонилась къ косяку и заплакала. Она еще раньше оплакивала много разъ геройство Пепки, особенно когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а теперь Пепко стоялъ передъ ней цѣлъ и невредимъ. Меня, признаться, эта вступительная сцена разсмѣшила до слезъ. Злѣйшій врагъ не могъ бы придумать Пепкѣ болѣе сквернаго эффекта, какой устроила Өедосья въ простотѣ сердца. Вѣдь онъ цѣлую дорогу лелѣялъ мысль о томъ, какъ явится въ «Өедосьины по-

кровы» въ своемъ добровольческомъ мундирѣ. И вдругъ все попорчено испугавшейся глупой бабой... Онъ въ смущенія отстегнулъ свою боевую саблю и повѣсилъ на гвоздь, на которомъ раньше висѣла гитара.

— Моя старшая дочь будетъ съ гордостью указывать на нее своимъ дѣтямъ, — объяснилъ онъ совершенно серьезно.

— Le sabre de mon père?—съязвилъ я.—Кстати, развѣ у тебя въ виду имѣется приращеніе семейства?

— Ну, до этого мы еще не дошли съ Анной Петровной, но теоретически у всякаго индивидуума въ интересахъ продолженія вида должна быть старшая дочь... Я даже люблю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко разстегнулъ свою военную курточку, сѣлъ на стулъ, какъ-то особенно широко разставивъ ноги, и сдѣлалъ паузу, ожидая отъ меня знаковъ восторга. Увы! онъ ихъ не дождался, а даже, наоборотъ, почувствовалъ, что мы сейчасъ были гораздо дальше другъ отъ друга, чѣмъ до его отъѣзда въ Сербію. Достаточно сказать, что я даже не отвѣтилъ ему на его бѣлградское письмо. Видъ у него былъ прежній, съ замѣтной военной выправкой, —онъ точно постоянно хотѣлъ сдѣлать налѣво кругомъ. Подстриженные усы придавали видъ сторожа при клиникѣ.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко остался у меня. Очевидно, это было послѣдствіе какой-нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скрывали. Пепко повѣсилъ свою амуницію на стѣнку, облекся въ одинъ изъ моихъ костюмовъ и предался сладкому ничегонедѣланію. Онъ по цѣлымъ днямъ валялся на кровати и говорилъ въ пространство.

— Какъ ты глупъ, г. Василій Поповъ...—ораторствовалъ онъ, болтая ногами.—Да, глупъ, ибо не понимаешь

величайшаго счастья быть самимъ собой и только самимъ собой. Дорого бы я далъ за собственную свободу, чтобъ опять поселиться въ этой дырѣ и опять мыслить и страдать. Сладчайшій ширазскій шейхъ Саади, нѣтъ—персидскій Гейне, Гафизъ, сказалъ: «назначенъ птицѣ лѣсъ, пустыня льву, духанъ Гафизу», а намъ съ тобой «Ѳедосьины покровы». Ты не понимаешь собственнаго счастья, какъ здоровый не цѣнитъ своего здоровья, а между тѣмъ именно такая комната—идеалъ для всякаго будущаго знаменитаго человѣка... Не въ чертогахъ, не въ виллахъ и палатахъ задумывались великія мысли, а вотъ въ такихъ язвинахъ и тараканьихъ щеляхъ. Тебя давитъ потолокъ—мечтай о высокихъ палатахъ; тебѣ мало свѣту—воображай залитую солнцемъ страну; тебя пробираетъ цыганская дрожь—лети на благословенный югъ ты заключенъ въ четырехъ стѣнахъ какъ мышь въ мышеловкѣ—мечтай о свободѣ, и т. д. Только голодный мечтаетъ объ изысканныхъ кушаньяхъ, а пресыщенный богачъ отвертывается отъ нихъ въ безсильной ярости. Кажется, я выражаюсь достаточно ясно? Это, милый мой идіотъ, величайшій изъ законовъ, законъ контрастовъ; на немъ выстроенъ весь нашъ многогрѣшный міръ. а не на трехъ китахъ, какъ думаетъ достопочтенная Ѳедосья.

— Ну, а когда ты въ турка будешь превращаться?

— Это дѣло серьезное, братику... Сперва-наперво я съѣзжу въ Сибирь повидаться съ одной доброй матерью, потомъ разведусь съ женой и потомъ уже сдѣлаюсь правовѣрнымъ.

— Да вѣдь для этого нужны деньги?

— Деньги будутъ... Это вздоръ. Устрою приличный гаремецъ,—я не выношу единоженства. Гораздо приличнѣе когда четыре жены... Тамъ я буду чувствовать

себя господиномъ, а не стреноженнымъ мужемъ своей жены. Да-съ... И женщина на Востокѣ, несмотря на кажущееся рабство, въ тысячу разъ счастливѣе. Возьмемъ хоть нашу Ѳедосью... Я покупаю, напримѣръ, ее на невольничьемъ рынкѣ за нѣсколько лиръ. Хорошо. Сейчасъ полагается ей соотвѣтствующій костюмъ, харчъ и почетная должность главной надзирательницы моего гарема. Цѣлый министерскій постъ, и ея жизнь полна. Здѣсь она только прозябала, а тамъ будетъ чувствовать себя человѣкомъ. Ты, конечно, тоже пойдешь въ правовѣрные?

— Нѣтъ... я, кажется, сдѣлаюсь критикомъ.

— Э, братику, стàра штука. Ты эту мысль у меня укралъ... да.

— Ну, ужъ извини, пожалуйста... Своимъ умомъ дошелъ.

— А я раньше тебя объ этомъ думалъ и могу представить тебѣ письменныя тому доказательства. Положимъ, что я тщательно скрывалъ это...

— Ты, кажется, вообще намѣренъ скрыть отъ публики всѣ свои таланты...

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ, ей-Богу думалъ запузыривать по критикѣ. Вѣдь это очень легко... Это не то, что самому писать, а только ругай направо и налѣво. И потомъ: власть, братику, а у меня деспотическій характеръ. Авторъ-то помалчиваетъ да почесывается, а я его накаливаю, я его накаливаю...

— А если тебя самого примется накаливать другой критикъ?

— Голубчикъ, да вѣдь это и есть хлѣбъ насущный: и я ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую вселенскую смазь, что благосклонный читатель только ахнетъ. Я даже самъ буду себя ругать, конечно подъ

другимъ псевдонимомъ, а публикѣ и любопытно посмотрѣть, какъ два критика другъ друга за волосы таскаютъ и въ морду другъ другу плюютъ. Зрѣлище весьма поучительное... Да, думалъ, да раздумалъ. Не стоитъ... Хочу кончить дни своего странствія турецкимъ джентльменомъ. Теперь много англичанъ переходятъ въ турки... Ты только представь себѣ этакаго пашу, Пепко-паша, эффенди Пепко—и фамилія готова...

Меня возмущало, что Пепко говорилъ глупости серьезнымъ тономъ. А въ сущности онъ занятъ былъ со-совершенно другимъ. Отдохнувъ съ недѣлю, онъ засѣлъ готовиться на кандидата правъ. Юридическими науками онъ занимался и раньше, во время своихъ кочевокъ съ одного факультета на другой, и теперь принялся возстановлять пріобрѣтенныя когда-то знанія. У него была удивительно счастливая память, а потомъ дьявольское терпѣніе.

— Къ Рождеству я отваляю всю юриспруденцію,—коротко объяснилъ онъ мнѣ.—Я двухъ зайцевъ ловлю: во-первыхъ, получаю кандидатскій дипломъ, а во-вторыхъ—избавляюсь на цѣлыхъ три мѣсяца отъ семейной неволи... Подъ предлогомъ подготовки къ экзамену, я опять буду жить съ тобой, и да будете благословенны вы, Ѳедосьины покровы. Подъ вашей сѣнью я упьюсь сладкимъ медомъ науки...

Съ войны Пепко вывезъ цѣлый словарь пышныхъ восточныхъ сравненій и любилъ теперь употреблять ихъ къ мѣсту и не къ мѣсту. Углубившись въ права, Пепко рѣшительно позабылъ цѣлый міръ и съ утра до ночи зубрилъ, наполняя воздухъ цитатами, статьями закона, датами, ссылками, распространенными толкованіями и опредѣленіями. Получалось что-то въ родѣ мельницы,

безпощадно моловшей булыжникъ и зерно науки. Онъ приводилъ меня въ отчаяніе своимъ зубреньемъ.

Дѣйствительно, къ Рождеству все было кончено, и Пепко получилъ кандидата правъ. Вернувшись съ экзамена, онъ швырнулъ всѣ учебники и заявилъ:

— Я еще никогда не былъ въ такомъ глупомъ положеніи, какъ сейчасъ... У меня и морда сдѣлалась глупа.

Только вынесши этотъ искусъ, Пепко отправился въ трактиръ Агапыча и пьянствовалъ безъ просыпа три дня и три ночи, пока не очутился въ участкѣ. Онъ былъ послѣдователенъ... Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я развращаю ея мужа. Изъ-за этого даже возникло нѣкоторое крупное недоразумѣніе между сестрами, потому что Аграфена Петровна обвиняла Пепку какъ разъ въ томъ же по отношенію ко мнѣ.

XL.

Въ теченіе всего времени, какъ Пепко жилъ у меня по возвращеніи изъ Сербіи, у насъ не было сказано ни одного слова о его бѣлградскомъ письмѣ. Мы точно боялись заключавшейся въ немъ печальной правды, вѣрнѣе—боялись затронуть вопросъ о глупо потраченной юности. Вмѣстѣ съ тѣмъ и Пепкѣ и мнѣ очень хотѣлось поговорить на эту тему, и въ то же время оба сдерживались и откладывали день за днемъ, какъ это дѣлаютъ хроническіе больные, которые откладываютъ визитъ къ доктору, чтобы хоть немного оттянуть роковой діагнозъ.

— Какую величайшую глупость я сдѣлалъ!—въ отчаяніи заявилъ Пепко, когда проснулся послѣ трехдневнаго кутежа въ моей комнатѣ.

— Кажется, это не должно бы тебя удивлять.

— Нѣтъ, серьезно, Вася.

Пепко сѣлъ на кровати, покрутилъ головой и началъ думать вслухъ:

— Я, говоря между нами, сваляль дурака... да. На кой чортъ я сдавалъ на кандидата правъ? Ну, на что мнѣ это кандидатство?.. Всѣ юридическія науки основаны на опредѣленіи правъ сильнаго; всѣ законы написаны побѣдителями и насильниками, чтобы не затруднять себя пріисканіемъ какой-нибудь формулировки для каждой новой несправедливости. Поэтому лучшими юристами навсегда останутся римляне, какъ первостатейные хищники. Потомъ писалъ законы феодалъ, военный диктаторъ, крѣпостникъ, а впослѣдствіи будетъ писать капиталъ, въ которомъ рафинировались всѣ виды рабства. Онъ, биржевикъ, потребуетъ санкціонированія этихъ правъ, своего рода канонизаціи, и будетъ правъ, потому что всѣ остальныя права основаны на томъ же единственномъ правѣ,—правѣ сильнаго.

— Чѣмъ же, наконецъ, ты хотѣлъ бы быть?

— Профессоромъ монгольскихъ нарѣчій... Это дало бы мнѣ право ежегодно отправляться куда-нибудь въ экспедицію. Слава Богу, Азія велика, а у меня къ ней влеченье, родъ недуга... Подозрѣваю, что во мнѣ притаился тотъ самый татаринъ, о которомъ говорилъ Наполеонъ. Да... Теперь бы ужъ я дѣлалъ приготовленія къ экспедиціи, газеты трубили бы о «смѣломъ молодомъ путешественникѣ», а тамъ пустыня, тигры, опасности, голодовки и чудесныя спасенія. Потомъ возвращеніе изъ экспедиціи, доклады по ученымъ обществамъ, лекціи, статьи въ журналахъ и оваціи. Женщины бѣгали бы за мной, какъ за италіянскимъ теноромъ...

— Прибавь, что, благодаря такой славной экспедиціи,

ты удралъ бы отъ собственной жены, по крайней мѣрѣ, на годъ...

— И это имѣетъ свою тайную прелесть.

— Ну, а теперь ты какъ думаешь устраиваться?

— Да я ужъ устроился... Развѣ я тебѣ не говорилъ? Имѣю честь рекомендоваться: вольнослушатель технологическаго института. Да... Я люблю математику вообще, какъ единственную чистую науку, которая по самой природѣ не допускаетъ лѣни, а затѣмъ нашъ вѣкъ—вѣкъ, по преимуществу, техники. Не юристъ, не воинъ, не философъ перестроитъ весь строй нашей жизни, а техникъ... Да, въ этомъ задача нашего вѣка, и я хочу дѣятельно участвовать въ ея разрѣшеніи. Будущая всеобщая исторія уже приготовляется въ мастерскихъ, выковывается подъ паровымъ молотомъ, блеститъ яркой звѣздочкой въ электрическомъ фонарѣ и скоро полетитъ по воздуху. Да, здѣсь бьется главный пульсъ и здѣсь центръ жизни...

Какъ я ни привыкъ ко всевозможнымъ выходкамъ Пепки, но меня все-таки удивляли его странныя отношенія къ женѣ. Онъ изрѣдка навѣщалъ ее и возвращался въ «Ѳедосьины покровы» злой. Что за сцены происходили у этой оригинальной четы, я не зналъ и не желалъ знать. Аграфена Петровна стѣснялась теперь приходить ко мнѣ запросто, и мы видѣлись тоже рѣдко. О сестрѣ она не любила говорить.

Такъ наступила зима и прошли святки. Въ нашей жизни никакихъ особенныхъ перемѣнъ не случилось, и мы такъ же скучали. Я опять писалъ повѣсть для толстаго журнала и опять мучился. Разъ вечеромъ сижу, работаю,—вдругъ оттворяется дверь, и Пепко вводитъ какого-то низенькаго старичка съ окладистой сѣдой бородой.

- Вотъ онъ...—указалъ на меня Пепко.

Старецъ смотрѣлъ на меня темными глазами и протягивалъ руку.

Что-то знакомое было въ этомъ лицѣ, въ глазахъ, въ самой манерѣ подавать руку. Я какъ-то сконфузился и пробормоталъ:

— Извините, не имѣю честь знать...

— Не признали, Вася... т.-е. Василій Иванычъ?

Именно звукъ голоса перенесъ меня черезъ рядъ лѣтъ въ далекій край, къ раннему дѣтству, подъ родное небо. Старецъ былъ старинный знакомый нашей семьи и когда-то носилъ меня на рукахъ. Я уже окончательно сконфузился, точно воръ, пойманный съ поличнымъ.

— Никифоръ Евграфычъ...

— Онъ самый... Давненько не видались, Василій Иванычъ. А я адрецъ-то вашъ затерялъ и на память искалъ по Санктъ-Петербургу. Да вотъ, на счастье, они встрѣтились, Агаѳонъ Павлычъ...

— Представь себѣ, Вася, какая случайность,—объяснялъ Пепко.—Иду по улицѣ и вижу: идетъ предо мной старичокъ и номера у домовъ читаетъ. Я такъ сразу и подумалъ: навѣрно провинціалъ. Обогналъ его и оглянулся... А онъ ко мнѣ. «Извините, говоритъ, не знаете ли г. Попова?»—«Къ вашимъ услугамъ: Поповъ»... Вышло, что Ѳедотъ, да не тотъ... Ну, разговорились. Оказалось, что онъ тебя разыскиваетъ.

— Поистинѣ, гора съ горой только не сходится...—философствовалъ старецъ, оглядывая съ любопытствомъ провинціала нашу убогую обстановку.—А квартирка-то, Василій Иванычъ, того...

-- Не красна изба углами, а пирогами,—объяснилъ Пепко.

Пепко, вообще, почему-то ухаживалъ за старичкомъ

и всячески старался ему угодить. Появился самоваръ, полбутылка водки, колбаса въ бумажкѣ, нѣсколько пирожковъ изъ ближайшаго трактира и двѣ бутылки пива. Старичокъ сидѣлъ на кушеткѣ и разсказывалъ далекія новости.

— Анна-то Ивановна, аптекарша, померла отъ родовъ... Двое ребятишечекъ осталось. Полицеймейстеръ у насъ новый, баронъ Краусъ... Помните деревянные ряды, гдѣ о Николинѣ днѣ торжокъ былъ? Сгорѣли еще въ позапрошломъ году... Теперь церковь новую строимъ. Не знаю ужъ, какъ Господь поможетъ. Дядюшка то вашъ, Гаврило Павлычъ, ножку себѣ сломали... Очень ужъ они любили лошадей дикихъ объѣзжать, ну, а тутъ имъ и попадись не лошадь, а прямо сказать—звѣрь. Замертво принесли домой дядюшку-то... Архирея намъ новаго обѣщаютъ, а старый-то, Мисаилъ, на покой выпросился. Хорошій былъ архирей... Въ третьемъ году купца убили. Это еще до чугунки, — теперь вѣдь подъ насъ чугунку подвели.

Пепко накинулся на старца съ какой-то непонятной для меня жадностью и засыпалъ его вопросами. Ему все было нужно знать, до судьбы моихъ тетушекъ включительно.

— Хорошо у васъ тамъ, на югѣ, а?—резюмировалъ онъ свой допросъ.

— Ужъ на что лучше, Агаѳонъ Павлычъ... Такъ хорошо, что помирать не надо. Я въ первый разъ въ Питерѣ, такъ даже страшно съ непривычки. Всѣ куда-то бѣгутъ, торопятся точно на пожаръ... Тѣсненько живете. Вотъ бы Василью Иванычу домой съѣздить, стариковъ провѣдать. Т.-е. въ самый бы разъ... Давненько не бывали въ нашихъ палестинахъ.

— Конечно, Васька поѣдетъ,—рѣшилъ за меня Пепко.— Я ему давно это говорю... Всего три дня дороги.

— Вотъ, вотъ... Отдохнули бы у родителевъ. И родителямъ пріятно... Не чужіе люди.

— Я тоже домой поѣду, къ себѣ въ Сибирь,—объяснялъ Пепко.—У меня мамаша... Славная такая старушенція.

— Такъ, такъ... Родителевъ завсегда нужно уважать, Агафонъ Павлычъ.

Появленіе старичка нагнало на Пепку цѣлый строй новыхъ мыслей и чувствъ. Онъ просто бредилъ наяву и не далъ мнѣ спать цѣлую ночь.

— Въ самомъ дѣлѣ, Вася, поѣзжай домой. Право, лучше будетъ... Развѣ мы здѣсь живемъ? Такъ, призракъ какой-то, кошмаръ... Тамъ придешь въ себя и будешь работать по-настоящему. Столицы только берутъ все отъ провинціи, а сами ничего не даютъ. Это несправедливо... А провинція, братъ,—все. Помнишь былину объ Ильѣ Муромцѣ: какъ упадетъ на землю, такъ въ немъ силы и прибавится. Въ этомъ, братъ, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила изъ родной земли прётъ. Такъ то:

Дня черезъ два старичокъ опять пришелъ. Онъ былъ озабоченъ какими-то дѣлами, и Пепко въ качествѣ юриста далъ ему нѣсколько хорошихъ совѣтовъ. Это ихъ сблизило окончательно. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопоталъ больше всего о моемъ отъѣздѣ. Меня это, наконецъ, возмущало. Какая ему въ самомъ дѣлѣ забота обо мнѣ? Пусть ѣдетъ самъ, если нравится. Съ другой стороны, мысль о поѣздкѣ занимала меня все больше и больше. Потянуло на родину... Въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ я какъ-то рѣдко думалъ на эту тему и все откладывалъ. Теперь уже нечего было ждать.

— Въ самомъ дѣлѣ, Василій Иванычъ, вотъ какъ махнемъ,—соблазнялъ меня старичокъ.—Въ лучшемъ видѣ... А какъ тятенька съ маменькой обрадуются! Курса вы, положимъ, не кончили, а на службу можете поступить. Молодой человѣкъ, все впереди... А тамъ устроитесь—и о другомъ можно подумать. Разыщемъ этакую жаръ-птицу... Хе-хе!.. По человѣчеству будемъ думать...

Еще наканунѣ отъѣзда я не зналъ, уѣду или останусь. Вопросъ заключается въ Аграфенѣ Петровнѣ. Она уже знала черезъ сестру о моемъ намѣреніи и первая одобрила этотъ планъ.

— Поѣзжайте, голубчикъ...—съ твердостью уговаривала она.—Нужно все это кончить. Скучно будетъ, а все-таки лучше...

Что можетъ быть грустнѣе такихъ прощальныхъ разговоровъ? Я, кажется, еще никогда не чувствовалъ себя такъ скверно. Но нужно было рѣшиться.

— Я всего на двѣ недѣли,—говорилъ я, не знаю для чего.—Что я буду дѣлать тамъ, въ провинціи?

— Все-таки поѣзжайте... съ Богомъ.

Дебаркадеръ Николаевскаго вокзала. Паровозъ уже пускаетъ клубы чернаго дыма. Мой старичокъ ужасно хлопочетъ, какъ всѣ непривычные путешественники. Меня провожаютъ Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по случаю проводовъ сильно навеселѣ и коснѣющимъ языкомъ повторяетъ;

— «Ты, землячекъ, поскорѣе къ нашимъ полямъ возвратись... легче дышать... поклонись храмамъ селенья родного.» О, я и самъ уѣду... Все къ чорту! Фрей, ѣдемъ вмѣстѣ въ Сибирь... да...

Второй звонокъ. Пепко отвелъ меня въ сторону.

— Вотъ что Вася...—заговорилъ онъ торопливо.—

